

# WINNIE



ЮЖНЫЙ  
КАВКАЗ

ЮЖНЫЙ  
КАВКАЗ  
альманах

3

2013





**International Alert.**

*Альманах издается в рамках проекта «Медиация на Южном Кавказе» британской неправительственной организации International Alert при финансовой поддержке UK Conflict Pool и Европейского Союза.*

*International Alert, UK Conflict Pool и Европейский Союз не несут ответственности за содержание публикаций альманаха.*

*Редакторы*

Батал Кобахия (Сухум)

Гурам Одишария (Тбилиси)

*Литературный редактор*

Надежда Венедиктова (Сухум)

*Редакционная коллегия*

Арег Баяндур (Ереван)

Эльчин Гусейнбейли (Баку)

Джана Джавахишвили (Тбилиси)

Жанна Крикорова (Степанакерт)

Даур Начкебия (Сухум)

Джультет Скофилд (Лондон)

Лариса Сотиева (Лондон)

Марина Чибирова (Цхинвал)

*Дизайн, верстка ... Архип Сира Лабахуа (Сухум)*

**П**одходит к концу определенный этап общекавказского проекта «Медиа-ция на Южном Кавказе», осуществляемого британской неправительственной организацией “International Alert” в партнерстве с местными общественными организациями и деятелями культуры. В рамках этого проекта была проделана большая работа, позволившая участникам активно взаимодействовать с целью создания общекультурного пространства Южного Кавказа.

Мы надеемся, что наш альманах на культурном уровне сделал более прозрачными границы, разделяющие сегодня народы Кавказа. Альманах – одно из немногих изданий, в котором удалось собрать произведения писателей, художников и фотомастеров со всех регионов Кавказа, охватывающие различные темы: от художественного осмысления нынешней жизни людей до рефлексии современной ситуации и взгляда в будущее. Очень важной была встреча деятелей культуры в Фарнхаме (Великобритания) в июне 2012 года, и мы надеемся,

что создали площадку, на которой смогут встречаться люди, воздействующие на свои сообщества художественным творчеством. До сих пор значительный потенциал культуры не использован для достижения мира на всем Кавказе. И мы надеемся, что озвученные в Фарнхаме идеи позволят многим взглянуть более оптимистично на те возможности, которые открываются в культурном диалоге. До того, когда политики придут к согласию, наши общества имеют право знать о тех достижениях и культурных веяниях, которые есть у соседей и народов, близких по культуре и образу жизни.

В третьем номере альманаха мы пытались собрать произведения, свидетельствующие о том, что даже в военных условиях во многих людях сохраняется высокое человеческое начало, позволяющее делать добро ближнему.

Мы надеемся, что сможем продолжить издательскую деятельность в том или ином формате. Но самое главное, мы уверены, что альманах уже нашел своих читателей во всех регионах Южного Кавказа. Об этом свидетельствовали встречи во время презентаций в регионах первых двух номеров альманаха, на которые приглашались многие участники, и тот резонанс, который он имел среди читателей.

*Редакционный Совет*

# Содержание

Гулу Агсес. Инвалид войны. Стихи.....	6
Заир Азамат. Весна, по сути, тоже анекдот. Стихи.....	9
Сусанна Арутюнян. Карта без суши и воды. Повесть .....	14
Ваграм Аванесян. Год Собаки. Рассказ. ....	70
Гагик Багунц. Нанэ. Малыш. Рассказы.....	77
Тамара Бартая. Платье. Рассказ. ....	85
Ашот Бегларян. Сон. Рассказы.....	95
Катя Валиева. Жизнь в 100 словах. Стихи .....	105
Алексей Гогуа. Вкус молнии. Рассказ .....	110
Эльчин Гусейнбейли. День, когда унесло старика. Рассказ.....	131
Като Джавахишвили. И до причастия я стою скалою. Стихи.....	138
Уча Закашвили. Абианури. Рассказ.....	146
Мелитон Казиты. Мара. Рассказ.....	171
Гунда Квициния. Летнее сердце в груди у меня... Стихи.....	181
Эка Кеванишвили. Зрелище держу, как мертвую птицу. Стихи.....	187
Батал Кобахия. Лялька. Рассказ .....	193
Акоп Мовсес. Есть миг, и никто не причастен к нему. Стихи.....	210
Даур Начкебия. Дерево. И настал день. Роман и рассказ.....	217
Рафаил Таги-заде. Орехи не падают ночью с кустов. Стихи.....	233
Тамерлан Тадтаев. Русская рулетка. Рассказ.....	241
Милена Тедеева. Сапожная мастерская.....	248
Яшар. Расставание. Рассказ.....	254

<b>Х</b> удожники.....	261
Роберт Аскарян	
Нигяр Бабаева	
Мака Батиашвили	
Адгур Дзидзария	
Лаврентий Касоев	
Гор Мехакян	

<i>І</i> нтервью с деятелями культуры Южного Кавказа.....	274
<i>В</i> стреча в <i>Фарнхаме</i> .....	293
Надежда Венедиктова. Фарнхам с южно-кавказским привкусом.....	293
Жанна Крикорова. Города-мужчины.....	299



Родился в 1969 году. Президентский стипендиат. Автор сборника стихов «В песчинке каждой...», «Т.о.ч.к.и.» (на русском языке), новелл «Набрань», «Ветряная почта». Переводился на многие языки. Заместитель главного редактора литературно-художественного журнала «Улдуз». Живет в Баку.

## Инвалид войны

За Отчизну свою в беспощадном бою  
Получил инвалидную долю мою.  
И – полтела долой, и здоровье долой.  
На коляске-каталке вернулся домой  
И в слезах повстречала калеку жена,  
И поникли мальцы.  
Отгремела война.  
На прогулки жена вывозила меня,  
Да гуляла сама, свою долю кляня.  
Я молчал и терпел, ведь семья как-никак.  
Ведь детишек кормить. Ведь сидим на бобах...  
Только точит тоска: « Что же ты за боец,  
ты страну защищал, но поправил свою честь!  
Ты вернулся безногим с дорог фронтовых,  
Где «спасибо» тебе от  
Спасенных живых?»



## Перчатка

Он помнил бой, крещение боевое.  
Как грыз перчатку – страх чтоб задушить.  
Потом пришлось и голову сложить,  
Когда его вела уже отвага.  
Но вскрыли тело,  
видят ошалело:  
лежит перчатка в брюхе,  
набухшая от съеденного страха...

*Перевод С. Мамедзаде*



Родился в 1975 году. Окончил Мингечаурский Политехнический Институт. Автор сборника стихов «Граффити». С 2000-го года работает в сфере Интернет-медиа. Главный редактор интернет портала Култ.аз и ANN.Az.

Живет в Баку.

мы завоюем для вас победу  
напишите нам хоть одно письмецо  
согрейте строки теплотою сердца  
терпеливо выслушивайте бред по ночам  
наших товарищей вернувшихся искалеченными  
не отворачивайтесь когда наши дети просят милостыню  
дайте воды  
дайте хлеба!  
сигарет – нашим отцам  
матерям – надежду...

мы завоюем для вас победу  
оставьте нам утро  
не пропахшее порохом  
немного солнца  
немного моря...  
и глоток холодного пива  
лично для меня

и не любите мерзавцы  
ждущих нас женщин

## Агитка на фронт

не расстреливайте приспущенные флаги  
не растаптывайте убитых солдат  
дайте раненым воды  
пленным улыбку  
кончилось еще одно сражение – улыбнитесь  
не стройте дома на захваченных землях  
на захваченных землях не разрушайте дома  
не дразните собак оставшихся без присмотра  
носите всегда при себе фотокарточку с малышом  
и не забывайте  
войны нужны не только для того  
чтобы пережевывать пошлые марши

P.S. не убивайте людей чтобы затем  
приникнуть ухом к их груди...

в затишьях между боями  
гражданские анекдоты  
казались нам порой вкуснее  
казенной еды

ничего не поделаешь  
порой анекдот слышанный раз сто  
все еще смешит

вот тебе новый анекдот –  
вонзился в наш круг  
с осколком снаряда

смерть тоже анекдот!..

вот  
Али из Агдама  
голову оторвало от тела  
а рот кричит «Мама!»

вот  
лезгин Самед  
кричит своим ногам  
подрагивающим поодаль  
- эй, унесите меня с собой!

а вот и я...  
очнулся в госпитале спустя три дня  
закричал: пустите меня  
и вздрогнули воробьи на окне...

затем я узнал врача –  
третий сын горца Вахаба  
друг детства

хотел протянуть руку поздороваться  
прижать его к груди  
рассказать обо всем случившемся...

но снова закричал...

за окном царила весна  
а на лице врача осень...

весна, по сути, тоже анекдот  
и жизнь, по сути, тоже

*Перевод с азербайджанского Ниджата Мамедова*



Сусанна Арутюнян

Родилась в 1963 году. Автор нескольких книг прозы. Сборник «Что слышно о жизни?» получил ежегодную премию литературного фонда Гранта и Манушак Симонян, «Речь идёт об осени» – ежегодную премию имени Дереника Демирчяна Союза писателей РА, повесть «Карта без суши и воды» в 2009 году отмечена литературной премией «Армянская проза XXI века» Армянского Общенационального фонда, Министерства Диаспоры РА, Союза армян России и Союза писателей Армении.

Переводилась на русский, английский, греческий, персидский, румынский, казахский языки, пьеса «Гармония» переведена и поставлена в Иране.

Живет в Ереване.

На той неделе Марат перевидал всех своих покойных родственников. Они являлись во сне: говорили, шутили, озабоченно глядели, философствовали в соответствии со своими прижизненным обликом – в сопровождении запаха лака для волос, в безупречно отглаженных брюках, с недовольством на гнусного шефа, с мятным ароматом лепёшек, которые жевались с намерением бросить курить, с семейными конфликтами, с неврозами. Но после пробуждения подробности стирались из памяти, и он помнил только, что видел во сне такого-то родича. Предполагалось, что они что-то подсказывают или предупреждают о чём-то, но в его жизни не ожидалось никаких перемен, ради которых стоило покидать космический покой того света и навещать чей-то сон. В конце концов, он стал относиться к этим визитам как всего лишь к некоторой игре духов и субботним вечером, перед сном, постоял на балконе, перебросил через плечо три головки лука, шепча: «Вот, берите свою долю и уходите». Это была единственная ночь, когда его не навестил никто из родных.

Проснулся он с мыслью о застолье, которое должен был устроить в честь столетия грушевого дерева – хотя его ветви и зеленели, но внутри оно уже сгнило, и в вечерний час ветер похрапывал под его корой. Сидя на постели, поджав под себя ноги, потирая глаза и позёвывая, он составил меню на полях газетной страницы. В гости ожидалось исключительно мужчины, и, соответственно, меню должно было состоять исключительно из мясных блюд и алкогольных напитков. Под конец он подумал, что можно и что-нибудь прохладительное, и добавил – холодный арбуз. Поставив чёрточку против слова «арбуз», прикинул в уме число гостей и вдруг замер. Он вспомнил, что на днях легкомысленная соседка родила и упорно требует от него признать отцовство, и пиршество под грушевым деревом могут воспринять как демонстрацию радости по поводу отцовства. Он мысленно прикинул, какова вероятность, что он отец ребёнка – ровно такая же, как и у любого мужика, покидающего её дом на рассвете. Но с первым же потрескиванием шашлыка и с первыми звуками песни люди, хочешь-не хочешь, подумают об этом. Любопытно, чем он поделился в глазах этой стервы – как хороший мужик, от которого не стыдно завести ребёнка, или как придурок, который от зазрения совести может признать своим даже лягушонка? Как бы там ни было – это



бесчестье. Расстроившись, бросив на бумагу карандаш, он слез с постели. В прихожей лицом к лицу встретился с орлом.

Взгляд орла сохранял хищность. Клюв был изогнутый, безжизненно застывший. Когда на клюве орла нет крови, кажется, будто он из того же материала, что и куриный рот или ногти человека. Глядя на свои ногти, улыбнулся. Крылья птицы были широко распротёрты, внушая ужас, и обнимали огромное пространство, но этот размах больше не означал полёта. Одна бабочка, порхая в воздухе вниз и вверх, исчезла, и он подумал, что если не перенесёт чучело на солнечную сторону комнаты, то крылья запачкаются, заплесневеют и осыплются на подставку, и даже от лёгкого ветерка разлетятся, распространяя повсюду холодную хищность птицы.

Испугавшись своей мысли, Марат решил вымыть крылья птицы. С мылом или просто тёплой водой? А, может, целиком – перья с мылом, голову и кривой клюв – просто водой? Он снова провёл пальцем по клюву. Так восточные владыки держали в своих покоях чучела врагов – для доказательства своего могущества и для устрашения непокорных слуг. Кончиком пальца он ерошил перья, будто нарочно дразнил, проверял, действительно ли это чучело. Прозрачные облачка пыли, помедлив, разлетелись – непременно с мылом, подумал Марат. Теперь трудность была в том, чтобы найти лохань шириной с размах орлиных крыльев. Соседка справа – старуха, еще не пресытившаяся жизнью, которая каждое утро, стоя в дверях хлева, по одной ловила всех выбегавших кур и, засунув палец в задницу птице, проверяла – собирается ли нестись. Если палец наткнулся на яйцо, швыряла курицу обратно в хлев. Гадкая старушонка, – он потёр шею, – но большая лохань у неё есть. Ради орла... Он почесал в затылке, убрал руку. Снова почесал. На сей раз рука по пути к затылку задела что-то холодное, металлическое. Он повернул было шею, чтобы выяснить – что это.

– Руки вверх! – дуло автомата не давало повернуться.

– «Воры», – пронеслось в голове.

– У меня денег нет, – был инстинктивный ответ.

– А нам твоих денег и не надо, – говоривший ткнул оружием в его шею, – мы не воры.

– А кто вы?

– Солдаты.

– Солдаты? Чьи солдаты?

– Отчизны, – прозвучало холодно.

– Какой отчизны?  
– Нашей отчизны.  
– А которая ваша отчизна?  
– Значит, даже не знаешь...ты арестован, идиот.  
– За что? – он задохнулся.  
– Ты нарушил армяно-турецкую границу.  
– Когда?  
– Прямо сейчас и прямо здесь, – на слове «здесь» говоривший резко топнул.

– Но прямо сейчас я в своей столовой, и вы вместе со мной. Это вы нарушили... – от гнева его шейные артерии выпятились, голос пресёкся. Попробовал обернуться – может, злая шутка одного из друзей? Дуло автомата по-прежнему упорно контролировало движения его шеи, не давая обернуться. «Мать вашу...», – он решил не подчиняться. В ту же секунду тяжёлый ствол опустился на его затылок, позвоночник затрещал. Марат грохнулся на землю. Перед глазами потемнело, потом – хаотическое движение разноцветных точек, как после большого взрыва в космосе. Полузакрытыми глазами он видел, как тёмная кровь из носа побежала на зелёные листочки ковра и на ломаный жёлтый луч солнца между ними:

– Но я в своём доме, – прошептал он.  
– Это больше не твой дом. Это государственная граница.  
– Граница через три села отсюда, – оправдывался он, лёжа ничком, и думал: что изменилось в мире, пока он был занят санитарным состоянием чучела.

– Нет, мой друг, – возразил суровый голос солдата, – граница переползла, передвинулась вперёд. Теперь проходит через твой дом.

Слегка приподняв голову, Марат увидел множество ног – в солдатских сапогах, держащих его голову на прицеле множества автоматных дул... Хотел по форме и цвету одежды угадать – это армяне или турки, может, форма русских солдат. Нечего не понял: у солдат всего мира одна и та же форма, то же выражение лица, те же самые «калашниковы» и то же самое убеждение, что они служат самому святому делу – спасению отечества.

– Медленно встань, только без глупостей, – скомандовало направленное на него дуло автомата.

Марат выполнил команду.

– Теперь ноги на ширине плеч! – эту команду он тоже выполнил. Чьи-то руки ловко умело прощупали его с ног до головы, – безоружен, –

объявили руки.

– Медленно повернись, – сурово потребовал автоматный ствол. Он повернулся и увидел перед собой два здоровых стриженных солдатских затылка.

– Шагай... – крикнул недрогнувший голос, мгновенье тишины, командовавший набирал воздух в лёгкие, и вот грянула команда, – ша-а-гом марш!

Разделительные полосатые столбы, колючая проволока, зудящий электрический ток, бегущий по проволоке, охраняющие покой на границе пограничники, вышки наблюдения, прижавшие бинокли к красным от бессонницы глазам бодрствующие часовые – всё это проходило через двор. Он с болью глянул на свой сад, оставшийся по ту сторону границы. Кое-где с деревьев падали фрукты. Яблоки тряслись на дереве, ветер свёртывал им шеи, с силой сбрасывал с веток и швырял в траву. Яблоки с глухим стуком шлёпались вниз, ударялись о землю. Тонкая кожа лопалась, из трещин вытекал сок, увлажняя место падения. Солдаты, спотыкаясь о яблоки, ходили по траве. Двое-трое замечали только что упавшие сочные, зрелые яблоки, брали, вытирали о живот и, чмокая, надкусывали.

Под кустами роз был накрыт маленький столик. Один из солдат, пристроив на веточках кусочек зеркала, брился. Чуть поодаль, под сливовым деревом, стояла выцветшая и сгнившая от дождей собачья конура, возле неё валялась цепь. А собака?.. Хорошо хоть, курятник был цел, хотя в это время суток гуси уже должны были гоготать. За-резали. Есть ли для солдата лучше пища, чем гусь противника? И индюшек тоже. Птенцов есть не станут. Очень уж они дохленькие. Но и щадить не станут, изведут, попросту перебьют, и всё тут. Хорошо ещё, в этом году телёнка не купил. Для проклятых зубов противника молодая телятина была бы уж очень большой честью. Он снова оглянулся на бредущего по ту сторону от колючей проволоки солдата, так не бывает, противники должны убивать друг друга, а эти позволяют бриться. Он замер.

– Вперёд, – подтолкнул идущий сзади, – стрелять буду!

– Я понял, – рассмеялся Марат, – вы кино снимаете. Мне ничего не сказали, чтобы ужас был натуральный.

– Ну да, а ты – Ален Делон, – сзади ударили по спине, – шагай.

– А чего вы не стреляете? На расстоянии полуметра – противник, и он брется.

– Относительный покой. Перемирие до вечера, после чего война

возобновится.

– Бедный парень, – он снова оглянулся на бредущегося солдата, тот уже едва был виден издали, фактически, он бредет, чтобы цивилизованно встретить смерть.

Идущий сзади снова толкнул его:

– Я тебя предупредил?.. Ни звука...

Он снова замедлил шаг, чтобы понять хоть что-нибудь, но сзади опять подтолкнули: давай, давай, втолкнули в бронированную полицейскую машину с толстыми боками. Машина тронулась.

По густому запаху чабреца он понял, что они неподалёку от места паломничества. Выглянул из оконца. Здесь тоже была война – стрельба, кровь, слова команд, медсёстры с сочувствующими лицами. Граница переместилась и теперь проходила прямо по центру места паломничества. Гусеницы проезжающих танков так грохотали, так пережёвывали и выплёвывали сухую землю, что их мощь не вызывала сомнений. Оставалось только подождать и посмотреть, где танки остановятся и какие солдаты выскочат из их круглых пастей.

За танками шёл новенький, с ещё не покрытыми пылью бортами грузовик, в кузове которого весёлые солдаты вместо знамени демонстративно обнимали вылитый из благородного металла крест. Земля под толстыми колёсами грузовика разлеталась вправо-влево. Солдаты, толкаясь, попрыгали из кузова и, обняв крест, двинулись к месту паломничества, которое в течение веков неоднократно меняло принадлежность – было то армянской, то турецкой святыней, принадлежа то Христу, то Магомету...

Солдаты шли с обеих сторон: справа от церкви – русские танки, которые на тот момент знаменовали мощь армян и везли григорианский золотой крест, и слева – тоже русские танки, которые по существу означали могущество турок и везли серебряного цвета полумесяц. Машины сопровождали вооружённые колонны, в которых солдаты были в новой с иголки форме, так как они сопровождали святыни, и их вид должен был соответствовать моменту.

Он смотрел и пока ещё не понимал, газеты какой страны возвестят завтра о победе, поскольку то турки снимали, отбрасывали в сторону григорианский крест, ставя вместо него выплавленный из благородного металла серп луны, то армянские солдаты выбрасывали серп, и вместо него на колокольне сиял григорианский крест.

Солдаты поднимались с обеих сторон. Слышались выстрелы. Падали наземь тоже с обеих сторон. На колокольне уже были люди.

Среди людей поблескивали турецкий серп луны и армянский григорианский крест.

Серп и крест то скользили вперёд, то плыли назад, потом ныряли, появляясь в другом месте. Солдаты бились в рукопашную – один армянин убил турка на колокольне, и другой турок убил его... Шум не утихал, собрат по оружию тут же выхватывал из рук павшего крест и бросался вперёд... На миг показалось – турки победили, ещё шаг, и полумесяц окажется на куполе храма. Но армянский воин, отобрав полумесяц, отшвырнул его подальше. Турок перерезал ему горло, вернул полумесяц – борьба действительно была жестокой, потому что речь шла о святыне, и твоё поражение было поражением твоего бога. Со всех сторон шло подкрепление, всё только начиналось. Марат наблюдал бой из маленького окна: ещё много времени пройдёт, пока выяснится, газеты какой страны прославят собственную армию, пока над местом паломничества засияет какой-нибудь символ, а тем временем оно пребывало в одиночестве, не было ни одного бога, не было никого, на кого можно было бы уповать, кому можно было бы молиться. Вздыхая густую пыль из-под колёс, машина шла по жёлтой глинистой земле. Неподдалёку взорвалась бомба – разнесла в клочья, разметала в разные стороны дорогу. Клочья земли покрутились в воздухе, просвистели, затем посыпались вниз, и от них остались лишь туман и облака. Перед машиной, прямо на середине дороги, образовалась большая воронка, которая курилась тёмной пылью, как только что проснувшийся вулкан – потягивается, прокашливаясь прочищает лёгкие: казалось, глубоко в земле началось кипение, сперва выбрасывается дым, потом – потом пламя и выброс лавы. «Ух ты... – крикнул водитель, – везёт нам, пронесло». Между горбатыми холмами машина остановилась. Военные высыпали из машины, собрались в кучу, громко поговорили, обменялись мнениями о продолжении пути. Слов не было слышно. До утомлённого, заторможенного мозга Марата долетало однообразное жужжание. До тех пор пока один из них не повернулся к машине и не спросил:

– А с этим что делать?

– Пристрелить, что же ещё?

Пленного высадили из машины.

– Документы!

– Дома.

– Документы!!! – ещё резче крикнул вопрошавший. – Паспорт!

– Дома, сбегать принести?

– Не прикидывайся идиотом! Они всегда должны быть при тебе! Документы! Национальность! Говори скорее – кто ты, армянин или турок?

– ...

– Времени нет. Быстро отвечай – ты армянин или турок? – в ярости ткнули ему в грудь автомат «калашников».

Он медленно повернул голову и поглядел через плечо – знать бы, кто они – идущие по эту сторону границы и по ту, что значит эта граница из колючей проволоки, что это за война, без предупреждения ворвавшаяся в жизнь, что это за граница – армяно-турецкая, русско-грузинская, армяно-иранская. Уткнувшись себе в грудь, он тихонько спросил:

– Кем вы хотите, чтобы я был?

– Это хитрый армянин, – сказал шофёр, – а по-армянски знаешь?

– Знаю.

– Можешь по-армянски сказать: ... мать Андраника? – и грязное турецкое ругательство, – и смотри, – взглянул лукаво, – я тоже знаю по-армянски.

– ... я мать Андраника, – Марат перевёл матерщину на армянский. Солдаты растерянно посмотрели друг на друга. Марат решил, что плохо выругался, и добавил, – да ... я и мать Андраника, и отца, и дядину жену...

Один из солдат удивлённо присвистнул:

– Смотри ты, и хорошо говорит по-армянски. Убьём, да и всё тут – армянин это.

– Но я же выругал Андраника. Как я могу быть армянином? Просто я с ними торговал в Садахлу, несколько слов выучил.

– Убить, убить, – как скороговорку повторил старший, --у меня нет сомнений: ты хитрый армянин, и Андраника выругаешь, и Иисуса Христа, только бы свою шкуру спасти, а потом... Мы таких много видали. Убить.

Стоящий рядом солдат показал автоматом на высокий камень напротив них:

– Иди, стань туда.

Но тот, кто был высок и лыс, возмутился:

– Как это – убейте? Они наши деревни будут занимать, а мы будем убивать? Вот так просто? Никогда не узнаешь, где лучше – там, где нас нет, или там, где мы – его надо пытаться.

– Прибейте его, бросьте через границу, пусть знают...

Марат с испугом поглядел на толстую, в три ряда колючую проволоку, проложенную через поля их деревни, и ощутил на спине удары солдатского сапога. Его перекинули, опять раздался скрежет от позвонков, и он упал лицом вниз, стукнувшись головой о горячую землю.

\*\*\*

Солдат Айк с детства боялся темноты и теперь, обняв автомат и строго и бдительно шагая вдоль границы, молил: хоть бы какая-нибудь сова, комар, хоть бы камень покатился... согласен был даже на змею – какое-нибудь движение, чтобы темнота не была такой мёртвой. Когда он правильными уставными солдатскими шагами доходил до конца своего участка границы, носом к носу встречался с охраняющим свой участок другим солдатом, отдавал честь, поворачивался кругом и шёл к другому концу своего участка, на него нисходило чувство счастья и лёгкости. Хотя, встречая друг друга, они не разговаривали, хотя сухими резкими движениями подносили руку ко лбу, но было понятно, что в сумраке он не один, пускай в километре, но рядом с ним есть живая душа.

При очередном повороте кругом он заметил на земле движение. Подбежал и со страху выстрелил в воздух. На выстрел прибежали другие солдаты. Увидев товарищей, он осмелел и, нагнувшись, испытал удивление.

Один из подбежавших присел, округлив глаза, пощупал находку:

– На языке пиратов «трофей». – Повернул туда-сюда. – Без формы. В туфлях, а не в солдатских сапогах. Во всяком случае, это человек, несите, выясним.

– Любопытно, кто это. – Один из солдат, кряхтя, приподнял тело, взвалил другому на закорки.

– Откуда мне знать? На солдата не похож. Или враг, или заблудший, кто же ещё ночью может быть. Любимая женщина? – выдыхая из ноздрей дым самосада, проворчал другой солдат, – да кто угодно может быть, особенно – на этих пустошах.

– Было бы животное, подумали бы: испугалось звуков войны, убежало с гор, но это человек. А, может, нас посетил архангел Гавриил?

– Такой избитый?



– Да ладно, – со страху пошутил солдат Айк, – это что ж за война такая, чтобы архангела Гавриила вот так измочалили?

– Это всё ерунда, – прохрипел несущий его на закорках, – проверьте хоть, жив или нет, чтобы мне зря эту тяжесть не тащить.

Айк внимательно пощупал запястье, пульса не обнаружил.

– Во всяком случае – пока ещё тёплый. Вот загадка – откуда возник в один миг?

– Неясно разве – над нами потешаются. Позлить хотят, чтобы относительный покой нарушили.

– Ты веришь, чтобы из рук турок человек живым вырвался? – Но всё-таки проверил, ударил ногой по ноге Марата, которая волочилась вслед за солдатом, царапая землю. – Нет ни звука, мёртвый.

– А зачем бросили по эту сторону границы? Чтобы напугать?

– Уверен – это турок. Убили и бросили на нашу сторону, чтобы доказать вину армян. Какая-то причина должна быть, чтобы войну снова начать?

– Это логично, называется «турецкая политика». Но мы именно потому и армяне, что умнее турок, а евреев – ненамного, – они посмеялись. – Сейчас возьмём да и вернём их труп.

Голоса смолкли. Слышно было только дыхание кряхтящего под тяжестью. В конце концов, под колючей проволокой, по-воровски продвигая по холодной земле, ногами, прикладами ружей подталкивая тело, пропихнули его на территорию противника.

Турки обнаружили его на расстоянии пятидесяти метров от того места, где бросили его сами.

– Издеваются над нами!

– Они в бою ни перед чем не остановятся, на всё им плевать, даже – на своих.

– Ну, раз так, возьмите и бросьте назад их труп. Даже наши псы не едят мясо армян. Швырните им.

Двое тут же яростно бросились, ругаясь и плюясь, взяли тело и перебросили через проволоку.

\*\*\*

Полуоткрыв глаза, из-под век он видел лишь носок сапога. Сидящий на толстой, надёжной резиновой подошве круглый носок был крепок и груб. Это обувь торчала прямо против глаз Марата. Марат пристально глядел на окровавленный носок сапога и пытался превозмочь боль.



– Ты жив или мёртв, подай голос, – кричал избивающий его и, задыхаясь, вновь бил, – ты жив или мёртв?

– Успокойся, он жив, – сказал какой-то другой голос, – вон как ресницы дрожат.

На него плеснули воды из ведра, переждали несколько минут, пока он, корчась, вытянулся на каменном полу, хрипло простонал и замер.

– Умер?

– Такие не помирают, а подышают, – взяв Марата за ноги, его потащили.

Первое, что он увидел, открыв глаза, был плакат:

«Приказ воинам отчизны

Строго запрещается издеваться над женщинами и детьми противника, применять пытки и унижать пленных, кощунствовать по отношению к трупам.

Нарушившие данный приказ будут судимы по законам военного времени.

11. 10. 90.»

Следователь сидел в комнате, вырытой в пещере, опершись руками на пень столетнего дерева, справа – государственный флаг, слева – макет двух Масисов, на вершинах – гипсовый снег. На столе, сделанном из пня, были обсидиановые часы, папки, карты.

– Не двигаться, – Марата пригвоздили к стулу, и двое солдат застыли у внутренней стороны дверей, двое снаружи. Следователь около двадцати минут изучал карту, потом взял карандаш и сделал отметку. Потом неожиданно поглядел на сидящего перед ним пленного:

– Турок! – прокричал он кратко и конкретно. – Ты знаешь, что такое турок? Это не национальность, а определение. Например, Гитлер был турком.

– У меня нет никакой связи с Гитлером и вообще – с турками...

– Можно подумать, это меня арестовали на границе.

– Понимаете, в этих местах граница извивается, как змея, земля ползёт из-под ног, всю жизнь я прожил в одной стране, а теперь из-за оползня оказываюсь в другой... Я не виноват, что в этот момент граница решила пройти через мой дом.

– Ты турок, не обманешь, от тебя мерзко воняет.

– Воняет, правда, – простонал Марат, тяжело дыша, – потому что проклятые сильно избивали, столько били в живот, не смог мочу

сдержать...

– Ты турок, не хитри, – следовательно постучал кулаком по пню-столу, – что делать армянину по ту сторону границы? По ту сторону границы ни одного армянина не осталось. Даже могил армянских не осталось... хотя это земли наших дедов, эй ты, турок, – дыб, дыб, дыб, следовательно чем дальше, тем яростнее стучал кулаком по разбитому молнией пню.

– Да будь они прокляты, турки, – простонал Марат, – это не люди. Поверьте – я армянин.

...Полчаса он выносил-терпел побои. Когда он уже лежал неподвижно, его облили ведром ледяной воды. Кто-то наклонился и, улыбаясь, спросил:

– Ну как, ты по-прежнему армянин?

Он дрогнул одеревенелыми губами и, глядя сквозь струящуюся по лбу кровь, прошептал:

– Я больше никогда не буду рождаться армянином.

Двое солдат вошли ворча.

– Другие только придут, сразу на линию фронта, а нам что дают, – первый ткнул указательным пальцем в пол, – труд грузчиков.

– По-моему, щадят.

– Вот это и есть – щадить? – первый снова указал на размягшее, бессильное тело на полу, – что ни есть грязной работы, всё нам дают. – Ворча они подняли тело за руки-за ноги, перенесли на несколько шагов. Потом положили на пол, стоя над головой, немного покурили и, взяв за ноги, поволокли в камеру.

Каждая клеточка тела ныла, в виске жгло. Марат инстинктивно простонал.

– Вот бы глоток водки, – прошептал кто-то, – утром, когда придёт другая смена, другой охранник приличный парень, попросим.

Дверь скрипнула. Приоткрыв глаза, Марат взглянул – через деревянную, подгнившую дверь входили двое. За дверью навтыжку стоял часовой, вероятно, только что ото сна – потирая глаза, зевал. Один из вошедших, побряхтывая, присел возле Марата, потрогал веки, раны.

– Доктор, возможно, чтобы он потерял память? – спросил сопровождающий.

– Потеря памяти возможна, от побоев случается. В подобных случаях очень часто.

– А может он симулировать?

– Симулировать? Это тоже возможно.

– Теперь как: симулирует или нет? – при мысли, что врач защищает Марата, сопровождающий заорал.

– Для выяснения нужно время, а на войне время – жизнь. Дайте ему жить хоть какое-то время – и выяснится.

– Да мы и не собираемся убивать, – пренебрежительно бросил сопровождающий, – вчера генерала взяли, зачем нам этот оборванец?

Другой пленный, съёжившийся у стены, следил за движениями врача. Когда врач закончил обследование, сопровождающий солдат ударил ногой этого пленного:

– Пошли. Давай, давай...

Тот сразу же вскочил.

– Расстреливать? – Марат уставился в лицо солдата.

– Какой там расстреливать? Обменивать будем.

– Меня тоже обменяйте.

– Он турок.

– Я тоже турок.

– Сказать мало, надо доказать.

Из дверной щели виднелось лицо очередного солдата. Он был молод, почти подросток, но уже с сединой на висках. Смутная мысль промелькнула в голове Марата – он счастливее, чем солдат, потому что его могут освободить, спасти, могут убить, и он каким-то образом обретёт свободу. А этот всю жизнь должен стоять на границе, в ужасе смотреть по сторонам, непрерывно искать противника и, если найдёт, со страху стрелять в воздух.

Со двора слышались требовательный голос командира и звуки солдатского учения, проходящего под его руководством – топот, как они ложились и вставали, щёлканье разбираемого и собираемого оружия. Марат пожалел их – они тоже пленные, пленные мира. Потом его внимание привлёк ворон, чьи крылья отбрасывали большую тёмную тень. Птица потерянно кружила – словно в неведомой стране. Вероятно, ворон только что вернулся и обнаружил: Ноя нет. Пока ворон, сложив крылья по бокам, устраивался на плоской крыше, во дворе показались новые люди. Стоящий у дверей солдат вытянулся, поправил в правой руке оружие и наготове ждал, чтобы отдать честь, когда с ним поравняются.

– Кто это? – прижав рот к дверной щели, спросил Марат.

– Не ваши, успокойся. Это наблюдатели из Евросоюза.

– А зачем они прибыли?

– Неясно, что ли – наблюдают.

– Мы что – кино, чтобы нас «наблюдать»? Или динозавры? – и тут Марат вдруг понял, насколько важны прибывшие, и стал кричать, колотить ногами, руками в дверь, чтобы создать большой шум, чтобы европейский наблюдатель хорошо услышал его: «Помогите. Помогите! Меня «наблюдайте», уважаемый наблюдатель, здешняя достопримечательность – это я... Эгей, сюда, дорогие гуманисты».

Удалось. Наблюдатель остановился и спросил: кто кричит? Они подошли и приказали открыть дверь.

– Чокнутый турок, – поспешили известить наблюдателя, который быстро-быстро вытащил из-за пазухи блокнот и перелистал, как будто уточняя – поручено ли ему беспокоиться о судьбе пленных или рабочий день распланирован иначе.

- Военный?

- Вряд ли.

- А почему назад не возвращаете?

- Они не хотят, говорят: без документов как понять, кто это.

Пленный приковывал на четвереньках и начал голосить по-армянски, по-русски, по-турецки: «Любимый, дорогой, кардаш... я человек, понимаете, человек... хочу дышать воздухом... воздух, воздух... - Марат помахал руками в свою сторону, навевая воздух, чтобы наблюдатель понял как следует – постель хочу, чистую, глаженную... я тоже человек... обед хочу, обед, сваренный женщиной, чтобы из маленькой кастрюльки разливали... а то сколько можно есть из кривых вёдер полевой кухни... хочу умереть по-человечески, как положено – с гробом, с венками... Э, я столько хочу от жизни, джентльмен-наблюдатель, видите – я тоже человек... помогите, плиз, ноги ваши поцелую, – проорал Марат, дёргая себя за ворот, - я больше не могу».

Наблюдателю, наверно, не надо было объяснять, что значит быть пленным. Наверно, он уже давно наблюдал эту войну.

– Чем могу помочь? – спросил он, сделав сочувствующее лицо.

– Вы отсюда к туркам едете, правда? – тут же оживился сопровождающий. – Возьмите его с собой. Скажите, что с большими трудностями возвращаете их честного гражданина. Вам они поверят.

– Поверят, - проникся собственной значимостью наблюдатель.

– А то у нас больше нет еды, в любом случае – человек, зачем ему пропадать без толку, зачем с голоду помирать, когда на какой-ни-

будь границе родины может быть убит... кому нужна бесполезная смерть?

– Да, – покивал головой наблюдатель.

Уже больше двадцати минут, как они удалились – оставили в ответ на мольбы Марата благовоспитанное «да», прозвучавшее высокопарно и сухо, как политическое решение, и он терзался, пытаясь понять, имеет ли это для него какое-нибудь значение, когда вошёл крепкий старик.

Старик стал против него, оглядел с головы до ног:

– Теперь ты армянин или турок?

– Смотря... – проямлил Марат.

Не обращая особого внимания на ответ, старик головой показал на дверь. Вышли во двор.

– Пойдём к стене, – шамкая, старик двинулся в тень, – а то мои мозги расплавятся.

Один солдат бегом притащил стул. Старичок установил стул на земле, проверил, не качается ли, потом достал из кармана маленький осколок зеркала, пристроил в неровной кладке стены. Тот же солдат принёс разложенные на ржавом подносе ножницы, гребень и ещё какие-то изогнутые металлические предметы.

Марат с героическим пренебрежением глянул на старика:

- Ногти мне будешь дёргать или уши отрезать?

- Твои волосы, – старик указал рукой на стул, чтоб тот сел.

- Что?

- Волосы твои буду стричь.

- О-о... И о моём живописном виде печётесь?

- Лично я – нет. Мне приказали. Хотят в приличном виде тебя передать вашим.

- Приказ неплох, – Марат довольный устроился на стуле.

Парикмахер усмехнулся себе под нос:

– Мясо к свадьбе.

– Что?

– Говорю, сегодня ты мясо к свадьбе. В наших краях перед свадьбой выбирают самое лучшее животное, откармливают, каждый день купают, в день свадьбы украшают – к рогам разноцветные ленты и красные розы привязывают, на туловище – блёстки, перед ним кладут свежую зелёную траву. И когда животное, довольное жизнью и всем миром, начинает есть, раздаётся вопль зурны, и тупой удар топора опускается на коровий лоб. Скотина падает с ног – связка раз-

ноцветных лент валится на землю, со лба стекает кровь, крася землю в чёрное, зурна вопит от взлётов танцевальной мелодии... Мясник, танцуя, быстро доставляет нож с привязанными к ручке разноцветными лентами и перерезает горло корове. Зурна наигрывает бодрую и хорошую мелодию – свадьба началась.

Парикмахер достал из кармана маленькую пластиковую бутылку, попил из неё, протянул Марату.

– Я не хочу пить, – отказался Марат.

Старик опять поднёс бутылку ко рту, набрал воды и одним резким выдохом обрызгал Марату голову. Потом взял гребень. Расчесал мокрые волосы, обеими руками поправил его голову:

– Смотри прямо в зеркало. Если что-нибудь не понравится, скажи...

Пока Марат среди камней искал взглядом зеркальце, старик взял ножницы. В осколке зеркала Марат увидел, как подрагивает его парализованная правая рука. Раскрывшие свою пасть ножницы, брыкаясь, приближались и обещали срезать всё, что попадётся. Марат невольно убрал голову.

– Сиди прямо, – с угрозой сказал парикмахер и снова стал причёсывать волосы, ожидая, пока пройдёт страх Марата.

– А если уши отрежешь?

– Уши твои мне не нужны.

– Не нужны, а ножницы направляешь туда.

– Говорю же, не бойся, я уже сто лет парикмахер, – старичок снова двумя руками поправил голову пленного. – Где тебя в плен взяли? – попробовал он разговором рассеять страх Марата.

– В своём доме, – он снова увидел в осколке зеркала, как ножницы прыгают в парализованной руке и угрожающе нависают над ним.

– Давай уберём зеркало, – предложил Марат.

– Нет, клиент должен видеть своё лицо, чтобы вовремя выразить мнение. А то бывает, пострижешь, а потом начинают ныть: длинно, коротко, много, мало.

Парикмахер снова надел ножницы на большой и указательный пальцы правой, и прыгающая от тремора рука стала угрожающе приближаться.

– Слушай, дорогой, – Марат вскочил со стула, – во всей Европе мужчины с длинными волосами ходят, один раз и мы попробуем, не нужна мне твоя стрижка.

– Надоел ты мне. У меня приказ. Молодой, эй, молодой, – старик

через плечо позвал солдата охраны. – Ну-ка, подойди сюда вместе с оружием.

Солдат подошёл.

– Наведи оружие на него. Как двинется, стреляй.

Солдат улыбнулся.

– Я не шучу, – посуловел парикмахер, – этот человек не даёт выполнить приказ генерала. Как двинется, стреляй.

Услышав имя генерала, солдат стал по стойке смирно и навёл оружие на Марата.

– Уже сто лет, как я парикмахер, – оскорблённый старик, бахвалясь, опять набрал в рот воды, опять с силой выдул воду на голову клиента, расчесал... Правая рука, подпрыгивая и разрезая воздух, приблизилась, вдруг быстро и неожиданно, как змея бросается на свою жертву, старик поймал левой рукой правую. Правая перестала прыгать. И так до конца – держа левой рукой правую, бормоча себе под нос, иногда взглядывая в зеркало на плоды своих рук, старик постриг его волосы.

– Видал, каким молодцом стал, – парикмахер в последний раз с восхищением взглянул в зеркало и ласково щёлкнул Марата по шее, – какой бы ни был заваливший, что-нибудь и с тобой сделать можно, – стряхнул с одежды волосы и пошёл. Отойдя немного, оглянулся:

– Зеркало оставляю тебе, возьми со стены.

– А как же другие твои клиенты?

– Было у меня большое зеркало – три на четыре, от взрыва треснуло, валяется в углу комнаты. Так что у меня много, на всех хватит.

\*\*\*

«Я армянин, я армянин, я армянин, – яростно сотрясаясь всем телом и крича, уверял он, – братья... не убивайте, почему не верите – я армянин. Айб, бен, гим, да ... я весь алфавит наизусть знаю. Я армянин... уже ухожу... мать вашу, болваны, не бейте, я буду жаловаться наблюдателю...»

Солдаты вышвырнули его во двор. Сжавшись в комок, он покатился и рухнул на землю. Молча пролежал несколько минут. Солдаты ушли, остался один. Он присел возле пленного:

– Хочешь покурить?

– От вас мне ничего не надо.

– А я хочу, – он встал на ноги и прикурил бычок, – дым поднимался к небу, и погода была хорошая. Раздавив на земле окурочок, солдат ткнул прикладом пленного в спину, – пошли.

Они зашагали к границе.

– Я из ваших.

– Откуда нам знать? В момент ареста у тебя не было никаких документов.

– Но я говорю на вашем языке.

– Если поднатужишься и выучишь китайский, от этого станешь китайцем?

– Я жил в приграничном селе, мы торговали, я их язык выучил.

– Чего ты передо мной оправдываешься? Я вопросов не решаю. Не знаешь, что ли – в жизни всё определяется бумагами: есть бумага – ты человек, нет бумаги – тебя нет. Вот если б у тебя был какой-нибудь документ, он бы внёс в твою жизнь определённую – или армяне бы тебя убили, или турки. А так... Если сам Бог сойдёт с небес – не сможет разобраться в твоей судьбе.

– Нет, если Бог сойдёт, он разберётся. Но кто я такой, чтоб ради меня он так беспокоился...

Они молча шли по скалам, поражённым лишаем. По скользким плитам горы, как струйки, сновали ящерицы. В тех трещинах, где ветер спрятал землю и песок, выросли колючки с круглыми головками. В этих местах от солнца не было укрытия – красным-красное, оно скучилось на открытом лбу горы.

– Я устал, – Марат сел прямо на дороге.

– Ну и место нашёл, – остановился сопровождающий, – вставай, найдём прохладное место.

– Раз деревьев нет, откуда прохлада?

– И горы, как деревья, отбрасывают длинные тени.

Марат лёг на тёплую землю.

– Вставай, – стал угрожать сопровождающий, – не пачкай одежду.

В момент передачи ты должен быть чистым.

– Ух, – с наслаждением промурлыкал Марат, – приятно, косточки на спине согрелись.

Сели на траву.

– Острые как иголки, – сказал пленный.

– Трава засушливого года, чего же ты хотел?.. Встаём через две минуты.

– Устал я. Хотя бы через пять.

– А что ты делал, что устал? – сопровождающий солдат для безопасности сел напротив Марата, опирая приклад о землю, поудобнее перехватил оружие. Достал из кармана курево. Сидя на земле, молча



покурили.

– Я послушный пленный?

– Очень.

– Вовремя просыпаюсь, сплю, ем, не убегая...

– Бежать? В этих горах от человека сбежишь, а звери? Никогда шакалом не был, но говорят, вкусна человечинка.

– И я слышал.

Посмеялись.

– Ты бы хотел, чтоб я был из ваших?

– Хотел бы, но ты турок, потому что у тебя нет подтверждающих твою личность документов; ты вечно отнимаешь – чужую жизнь, чужую землю, чужое свидетельство о рождении...

«Турок... ну да. Ещё пятьдесят метров – и надо быть турком. Турок. Турок. Я турок, я турок... я горд, что я турок.»

Приближались к границе. Наблюдатель уже был здесь. Солдаты противника, увидев их, подтянулись, взяли приближающихся на прицел. Один вышел вперёд. Поверх головы пленного двое обменялись сдержанно ненавидящими взглядами.

– Встань на весы, – скомандовали пленнику.

Марат встал на весы.

– Видите, у нас он поправился на сто пятьдесят граммов, – держа палец на столбике цифр, прямо на цифре сто пятьдесят остановился весовщик.

– У него грязь на обуви, это вес грязи, – возразила другая сторона. – снимай обувь.

Пленный тихо, послушно разулся:

– Но мы его в туфлях приняли, почему должны босого сдавать?

Долгое время принимающий и сдающий спорили.

– Пусть и одежду снимет, – выразил протест принимающий.

– Но мы его в одежде приняли, почему должны голым сдавать? – выразил протест сдающий.

– Международный закон, – принял решение наблюдатель.

Марат снял одежду.

– Вот, вот, – принимающий победно направил палец на весы, – и ваши сто пятьдесят стёрлись, и двести с ними. Видали?

– Братец, – потянул за руку орущего весовщика пленный, – весы холодные, ноги мёрзнут, можно обуться?

– Парень, ну, не вмешивайся, видишь: проблему решаем, – заорал тот.

Сдающая сторона присоединилась к нему:

– Не мешай. Мы тоже люди – как это мы не мёрзнем?.. Ты же не тепличное растение?

Стоящий у дверей солдат показал пальцем на стул – садись, и, вытянувшись, встал рядом. Марат, обняв себя за плечи, съёжился на стуле.

– Одеться можно?

– Нет, до прихода комиссии нельзя.

...Перейдя через линию границы, Марат бросился вперед, простирая руки:

– Армя-я-не, – закричал, – вам конец, архангел Габриэл уже протрубил во вселенскую трубу, – на ходу он время от времени поворачивался и вопил, угрожающе махая кулаком в сторону границы, – вам конец. Конец, теперь уж никакой надежды на спасение, Габриэл уже протрубил в трубу...

\*\*\*

Турецкий генерал, сидя на тахте, играл сам с собою в орлянку: положив монетку на свой большой палец, с силой подбрасывал её, вместе с монеткой его взгляд вращался в воздухе: «Если решка, напад, если орёл – нет». Монетка покрутилась в воздухе, упала на пол, прожужжала, как букашка, и плоско легла решкой вверх. Генерал снова положил копейку на ноготь большого пальца и подбрросил – ещё разок: если решка, напад, если орёл –нет.

– Я турок, я Магомета знаю.

– А кто ж его не знает? Особенно армяне, – двусмысленно усмехнулся генерал, не отрывая взгляда от копейки, – они о-очень хорошо знают.

– Как попаду домой, сразу в Турцию поеду, – глядя в глаза генералу, сообщил Марат, – собираюсь крупный бизнес начать, – собираешь в пустынях кости погибших армян, моешь и продаёшь туристам.

– Армянин ты, армянин, – как «эврику!» воскликнул генерал, – если вспомнил об их костях и о пустынях, то сомнений нет: ты армянин.

И всё началось по новой: били, поливали водой, приводили в чувство, ещё сильнее били.

– Я турок, турок, – всхлипывал Марат.

– Грязные, грязные армяшки, – сжимая веки в горсти, рычал генерал, – захваченным никак не насытятся, ещё шпионов засылают.

На слове «армянин» удары сыпались с новой силой. Он стонал, мочился кровью, болела печень.

– Я турок, – убеждал, поскуливая.

Потом избивающие утомились. Им позволили покурить. Курили, с угрозой смотрели в сторону Марата и яростно плевали сквозь зубы. Прижимая руку к солнечному сплетению, на которое опустился железный жезл, Марат подумал, что армяне бьют более гуманно.

– Т-т...турок я, – проскулил он.

– Вы только на этого барана поглядите, – последовал новый град ударов, – мы тут ангелов засушили и в гербариях держим, а он нас одурачить хочет...

Проливаемые на его голову новые вёдра воды, пронизывающий до костей холод. Марат снова сидит на стуле, за который уцепился пальцами, чтобы вдруг не свалиться.

– Ты знаешь, что это? – генерал достал из ящика кусок вымытой кости и положил перед пленным, – это череп вашего Андраника. – Он с размаху ударил и разможил кость. Оторвал яростный, убийственный взгляд от раскрошенной кости и остановил на лице Марата. – Вот так я разможу черепа всех армян и, в первую очередь, твой.

– Я не знаю никакого Андраника. Моего деда звали... меня зовут... – он попытался вспомнить хоть одно имя... так последняя волна омывает песок, смерть стирает жизнь, война – память. И в его мозгу остались только следы тяжёлых солдатских сапог.

\*\*\*

Армяне подмели неровный, весь в колдобинах и ухабах двор метлой из ивовых прутьев. От политого двора несло землёй и сыростью. На верхушке стоящего в центре столба развевались флаги. А перед этим пленные сколачивали в центре двора доски, и к полудню уже была готова сцена.

– Сегодня международный день пленных, – с трибуны известил собравшихся русский уполномоченный.

«Всё в мире занято и захвачено: сегодня день больных СПИДом, завтра – день детей, третий – день победы... свободного дня не осталось ...все дни заняты. Всё захвачено – земли, жизнь... даже птицы и их полёт», – Марат посмотрел на горлинок, которые, усевшись в ряд на противоположной кровле, согрешившими на солнце клювами щекотали сами себя.

После выступления русского уполномоченного Марат вместе со

всеми дружно поаплодировал и, когда говоривший стал сходиться со сцены, ринулся вперёд:

– Возьмите меня отсюда, – попросил он, царапая руку русского, – не то прикончат побоями.

– Я такого не допущу – это моя миротворческая миссия. Пленных обязательно нужно вернуть, – пообещал русский уполномоченный, – это как раз первое условие перемирия. Вы слышали моё выступление? – спросил он обнадеживающе, – в переговорах достигнут большой прогресс – стороны согласны на мир, но ещё не готовы к компромиссу. Так что – скоро будете дома.

– Я не выдержу до «скорого», прямо сейчас возьмите меня с собой. – Он вплотную подошёл к наблюдателю и в ужасе прошептал: – ...Древние армяне не ваяли глазного зрачка, чтобы каждый человек туда свой взгляд поместил, а эти угрожают выколоть мне глаза.

– Как?! – воскликнул русский и с укором посмотрел на солдат, – вы угрожали выколоть глаза? Но ведь глаза – зеркало души!

– Что, мы у Вас зеркало просили? Вы, кажется, нам оружие привезли, – слышалось из строя солдат.

– Его дело немного трудное, – объяснил офицер, – его идентичность не установлена. У нас он армянином притворяется. А турки не хотят его обменять на пленных, потому что думают, что он армянин.

– А как он очутился в плену?

– Как-то раз проснулся я... – начал Марат. Кто-то, смеясь, вздохнул, офицер посмотрел на часы, другой солдат простонал «уф», – одним словом, рано утром я вышел из своей жизни и больше не вернулся, – отредактировал и сократил свои муки Марат.

– Я переговорю с турками. Точнее, сам отвезу и верну. Тем более что сегодня международный день пленных.

Наблюдатель серьёзно и внушительно посмотрел ему в глаза:

– Скажите, только честно, вы армянин или турок?

Все напряжённо смотрели на губы Марата:

– Ни армянин, ни турок. Я – ишак, уважаемый наблюдатель, я сын ишака.

– Скажите правду, – побуждал наблюдатель, – верьте, каков бы ни был Ваш ответ, я помогу Вам, обещаю в присутствии стольких людей.

– Я ничего не помню. Меня так долго били и унижали, что я утратил характерную черту людей – память.

\*\*\*

Включены были гигантские прожекторы. Подобно единственному глазу циклопа, они, наводя ужас, вертелись вокруг своей оси и освещали жизнь в диаметре сотен километров, оскверняя всё – ночь, темноту, сон, идею сна... Стоя на наблюдательных вышках, солдаты контролировали тишину. Уставшие и обессиленные от бессонницы, они всю свою ярость изливали в ночь и сразу же открывали огонь, если с неба капал сон или, нарушая тишину и не оставляя следов, вверх летела какая-либо молитва.

– В плохое ты время вернулся, – сказал знакомый пленный, – армяне взяли Шуши.

– Я тут не впервой. Здесь я всем известен, все знают, что я безвредный, лучше о себе подумай, – бормоча себе под нос, Марат обнадёжил сам себя.

– Идиот не тот, кто лишён природного страха и сомнений. Идиот тот, кто в жизни хочет логику отыскать.

Собеседник ещё не закончил говорить, когда комнату заполнили солдаты и стали дубинками, ногами, прикладами автоматов бить направо и налево.

Первым пришёл в себя его товарищ. Похлопал Марата по щекам, позвал. В конце концов, Марат застонал:

– Больше не могу.

– Да, твоё положение тяжелее. Мне чуть-чуть полегче.

– Почему это?..

– Потому что я всемирно известный учёный. Мой народ меня не бросит. Идут переговоры. Турки за меня хотят десять пленных, наши согласны. Только наши согласятся, турки требуют сорок. Мы согласны – число увеличивается: пятьдесят или сто...

– Ну?

– Сейчас речь идёт о пятистах, но в какой-то день остановятся на конкретном числе. Так что – будем молиться.

– Молись не молись, ангелы избрали других богов, другие пути: здесь можно всю жизнь умирать без рая и надежды на спасение. Так что утром я признаюсь: честно принимаю свою судьбу как вину – я армянин. Убейте меня.

Пришёл в себя – голым лежал на весах. Колючий холод проникал внутрь. Посмотрел кругом – голая, холодная комната, где было лишь ожидание страшного суда. Попробовал сесть. Ржавые веса заскре-

жетали. В дверь кто-то недоверчиво заглянул: «Ну и ну, жив».. Подошёл. Марат испугался, что сейчас начнёт бить ногами, согнулся в три погибели, обхватил голову руками и застыл в неподвижности. Но он – Красный крест - улыбнулся.

– Как Вы?

– Воды...

– Воды, – потребовал представитель Красного креста.

Солдат принёс воды в большой глиняной кружке. Вошли и другие люди. Кружку в красный горошек представитель протянул Марату. Он попил, глубоко вздохнул. Посмотрел на собравшихся. Стоящий возле весов фельдшер в белом халате подвигал гири, со стуком установил их на какой-то цифре:

– Пожалуйста, господа, прошу внимания: у нас он поправился на двести грамм.

– На двести грамм? Это как раз объём кружки. Он только что выпил столько воды.

– Между прочим, Вы напоили, - предупредил Красный крест русский наблюдатель.

– Но он был почти без сознания, попросил воды, не надо было давать?

– Дали бы, но если он без сознания добрался сюда, пусть без сознания и взвесили бы, потом бы воды дали.

Обсуждение длилось два часа – зафиксировать в документах эти двести грамм или нет.

– Голова кружится, внутри горит от боли... хоть болеутоляющее дайте, – пленный съёжился на холодных, плоских, предназначенных для взвешивания грузов весах.

– Кто осмелится, да ещё в присутствии наблюдателей, теперь померёте, скажут – от лекарства.

– Лекарство, – как бы сделав открытие, закричал русский. Все вернулись к нему.

– Лекарство, – восхищался своим открытием русский, – то есть мочегонное.

– Пусть помочится выпитой водой, увидите, что в любом случае он у нас поправился.

...Сопровождающий в сторону границы солдат был весел, рассказывал анекдоты, смеялся. Марат смотрел на него и мучился мыслью, почему птицы, оказавшись в клетке, от тоски поют, а ему даже

говорить неохота. Солдат был или чересчур добрый, или в хорошем настроении, не исключалось, что и придурковат был немного – говорил, говорил, говорил... стрекотал над ухом. Стоящая торчком гора, вобрав в себя воды и металлы, обратила к миру своё бесплодный, каменистый бок и, скрыв свои сокровища, жила. Но Марату было приятно и раскалённое солнце, и колющие через потрёпанные ботинки острые камни, ему нравился даже кровавый след, который оставляла собственная нога на полых базальтовых камнях, потому что он двигался, была свобода, что-то менялось, и наплевать – куда это приведёт.

В конце концов, добрались. Уставшие лучи, скользя, уходили, солнце уже готовилось идти домой или в какое-нибудь иное небо, которое нужно было немедленно спасти от мрака.

– Ой, – облегчённо вздохнул солдат, – как далеко оказалось. Как я возвращаться буду?

– Жаль, – вздохнул Марат, – жаль, что остановились. Как я хорошо шагал, как хорошо, – и побежал к противоположной стороне, к уже заметной колючей проволоке, где стоящие навтыжку солдаты пока что казались неживыми. Собаки пограничников от одного только чувства долга бешено залаяли... На каком-то отрезке колючая проволока расступилась, открывая вход. Марат побежал туда. Только добежал:

– Турки... – закричал, – мать вашу, вам конец... Джебраил уже протрубил во вселенскую трубу, – теперь уже всё, теперь никакого спасения. Турки, – поворачивался и угрожающе махал кулаком, – уже конец, Джебраил уже протрубил в трубу.

\*\*\*

В удушающей сырости камеры слышалось бормотание. Чей-то чёрный силуэт, стоя на коленях, падал лицом в землю и выпрямлялся – аллах, аллах, моля из глубины души. Это был мулла. В бледном свете зари стал виден его лоб. Метровый тюк чёрной ткани, из которой получалась чалма, лежал рядом, и он был похож на обезглавленного.

– Ещё веришь?

– Да. Мой Бог меня не покинет. Уже сколько месяцев идут переговоры, чтобы меня обменять. Но выяснилось: тот, кого армяне хотят, три месяца назад умер, не выдержал мучений.

– Конец, и тебя убьют.

– Нет, уже договорились – в обмен труп дадут.

Услышав брэнчание ключей и звук открывающейся двери, мулла перестал качаться вперёд-назад.

Сухие, сухие, даже суше, чем кашель чахоточного, орешки капали, стукались на пол. Из открытой двери виднелись опалённые горы, сидящее на них, как колючий венец, солнце, вылинявшее небо. Сухой и свежий воздух подсказывал, что жизнь продолжается.

– Вон, вон, живо, – ещё не открыв дверь, скомандовал солдат, – живо.

Закинув руку на шею мулле, Марат кое-как встал, как птица, заковылял на одной ноге. Сколько солдат ни кричал – живо, живо, всё-таки подождал, пока они медленно, почти, скользя, вышли.

– Смотри, смотри... сейчас на колени встанут, – солдаты лукаво подмигнули друг другу. Ждали, готовые к забаве.

– Не встали.

– Сейчас встанут – час их намаза.

Мулла демонстративно выбрал центр двора, встал на колени и, касаясь ртом земли, сгорбился, опуская голову и потом глядя вверх – аллах, аллах, выводя и вздыхая.

– Нет, вы на молитву этого скота посмотрите, как курица, воду пьющая. Дошёл, дошёл твой аллах, – злорадствовали они, издеваясь, – сейчас сойдёт с коня и спасёт тебя.

Мулла, игнорируя их, добросовестно пел свой мугам, взывая – аллах, аллах.

– Слышал, учёные опыт проделали, мышей заставили жить под музыку: одну группу – под мугам, другую – под классическую. Те, что мугам слушали, передохли от депрессии.

Загоготали. Вдруг заметили Марата, едва державшегося на ногах, опираясь на стену.

– Ты чего это на колени не становишься? На колени, ты...

– Я армянин.

– На колени, говорю, ты даже на собаку армянскую не тянешь, на колени.

– Я армянин.

– На колени, говорю, – угрожающе надвинулся солдат, ударил прикладом по коленям, – на колени и тысячу раз целуй землю, чтобы твой аллах остался доволен. Живее!

Марат вроде бы качнулся вперёд, попытался наклониться.

– Я сказал, целуй землю, – солдат подошёл и пригнул его голову к



земле, – вот так, касаясь губами земли, тысячу раз.

Стоя на коленях на земле, Марат стал наклоняться вперед и подыматься.

– Я сказал, целуй землю. Вот так, касаясь губами земли...

Издали позвали – «Карапетян!»

– Иду, – солдат побежал и прикрикнул на Марата, – продолжай, пока я не вернусь.

Он бессильно наклонялся-выпрямлялся, касаясь лбом земли, и перед глазами у него качался застывший между небом и землёй горизонт.

\*\*\*

– Грязные, грязные армяшки, – бурчал в чёрные усы ведший допрос офицер, – всё никак не насытятся тем, что захватили - им ещё мало, шпионов засылают, чтоб тебя, – бил он пленного, – ты меня хочешь убедить, идиот, что из рук армян турок может уйти целым и невредимым и ещё быть в состоянии говорить?! Дурак, – он бил по голове, – ты когда-нибудь армянского солдата видал? Не видал, потому что они, кто видали, больше не состоянии говорить. Жаль, что ты есть в списках Красного креста, не то убил бы. Говори же, говори правду: армянин ты или турок? Говори, где они, какие у них цели, какие секреты?

Марату очень хотелось быть солдатом, чтобы иметь перед собой оправдание этим мукам, чтобы сказать правду, чтобы сдать карты, указать дороги, имеющие стратегическое значение. Или, напротив, - со злорадством глядя в лицо врагу, показывая, что всё знает, но не скажет, героически пойти навстречу гибели... Тогда жизнь была бы борьбой, а теперь – ничем не оправданная нелепость. До чего же счастливы те, кого нет в списках Красного креста!

После нечеловеческих побоев, которые называются допросом, с привычным равнодушием его протащили по полу, открыли дверь, швырнули, заперли за ним дверь и, насвистывая, ушли. Плиточный пол был прохладен, притуплял боль.

– Добро пожаловать, – слышался из полутьмы знакомый голос.

– Я не пожаловал, и не с добром. У меня возвращение, и довольно грустное.

– Как бы там ни было, – пробормотал собеседник, – я рад.

– В таких местах не бывают рады, даже если является сам Господь Бог.

– Если ты не утратил чувство юмора, значит, ещё не умер, – армянский учёный обследовал его взглядом, потом встал, стал дёргать за руки-за ноги, сгибать-разгибать, поднимать-опускать.

– Дыши глубже.

Марат глубоко вздохнул, и от тёплого воздуха его затошнило.

– Тебе повезло, переломов нет.

Марат перевёл взгляд в полутьме: тюремная камера не изменилась – тот же сумрак, тот же тяжёлый воздух, тот же обитатель.

– Да, кстати, ты почему всё ещё здесь? А как же твой могучий ум, стоящая за твоей спиной нация?

– Действуют, – шёпотом заверил учёный, – всё ещё уточняют число подлежащих обмену пленных.

– А теперь какое число называют?

– В последний раз потребовали две тысячи.

– И что?..

– Конечно, я стою много больше, но у наших нет такого количества турок в плену.

– Тебе конец.

– Нет, уже договорились, чтобы эти немного подождали, пока дойдёт до требуемого числа. Как только уйду, за тебя попрошу.

\*\*\*

...Турецкий солдат был простужен, надсадно кашлял и, бормоча под нос, бранил свою болезнь. Марат, волоча ноги, тащился впереди него.

– Шагай по-человечески, здесь почвы глинистые, пыль душит, и без того лёгкие мои не в порядке, уже месяц, как я кашляю, – задыхаясь, частями прокричал турок. – хы... хы... хы... – пробулькал горлом и, собрав мокроту, сплюнул, – уже мне всё горло забила.

Остановившись, Марат глубоко погрузил ногу в землю и стал водить ею туда-сюда, восторгаясь поднявшейся по колено рыжей пылью.

– В детстве я из неё разные предметы лепил.

– Нет, вы на его дерзость полюбуйтесь, – набросился солдат, – говорю же, не делай вид, ты что глухой, баран несчастный!

– Тоныр, кувшины, даже бюст соседской коровы, – останавливаясь, мечтательно пробормотал Марат. Стал на колени в пыли и, заводя руки с боков, стал собирать сухую глину.

– Не делай, задушил уже, – отвернув лицо в сторону от пыли, со-

проводящий ткнул его прикладом «калашникова» в спину, – вставай.

– Одну минуточку, – он продолжал собирать тёплую землю.

– Встань, – кашляя и сплёвывая на землю, солдат навёл на него оружие, – стрелять буду.

– Одну минуточку, пожалуйста... Ну, пожалуйста, будь человеком, дай насладиться свободой.

– Валяясь в пыли?

– Сейчас что-нибудь слеплю из неё.

– Её надо смешать с водой.

Марат быстро вскочил с земли, выпрямился в полный рост, гордо взглянул на собранную у его ног глину, расстегнул пуговицу на брюках и обильно помочился в пыль. Потом опять стал на колени и стал месить.

– Ты не станешь стрелять, – сказал он самодовольно, будто говорил с глиной, – я внесён в документы Красного креста.

Сопровождающий его турок громко выругался, отошёл подальше от пыли и сел на землю.

– Зачем мне стрелять-то? Вот отправишься к армянам, тогда меня вспомнишь, – погрозил он. – Только давай живее, мы должны в определённый момент явиться, не то начнут с собаками искать.

– Здорово, правда? Смотри, какая славная штука вышла.

Солдат со снисходительной усмешкой на лице прищурил один глаз, другим изучил изделие.

– Ну и что это теперь?

– Дворец.

– Дворец? – удивился солдат, вставая на ноги, и подумал, если скажет, что плохо, тот разобьёт и начнёт новое, – неплохо. Вставай. Если каждый будет после себя такой дворец оставлять...

Увидев армянских пограничников, Марат самозабвенно побежал вперёд:

– Турки, – закричал он, – вам конец, Джебраил уже протрубил во вселенскую трубу. Конец, теперь уж никакой надежды на спасение, – и махая кулаком, стал скандировать, – Ка-ра-бах наш, Ка-ра-бах наш.

\*\*\*

Сначала хозяин был впереди осла. Поравнялись. Хозяин обошёл осла. Ну вот, теперь осёл. Потом – хозяин. Потом – осёл... То осёл, то хозяин. Чем круче заворачивал подъём, тем больше отставал хозяин.

Нагрузил скотину хворостом из лесу, да как нагрузил – до неба достаёт, пошёл, пошёл, мать твою так, пошёл – бежал за ним, и кричал, и хворостиной по ногам осла – тяни же, осёл разэтакий...

Хворостина свистела - шипела в воздухе, обжигая спину животного. От боли осёл вытягивал вперёд голову, тело – нет. Позвоночник трещит, но сделать ничего не можешь – превыше сил. «Тяни, чтоб тебя...», - потеряв надежду, хозяин сел на землю. Перевёл дух. Посмотрел на нагруженную до небес телегу, враскорячку на стоящего под ношей осла. Поднялся. Вытянул со дна телеги ещё одну верёвку, привязал к телеге, другой конец накиннул себе на шею. Раз, два, три... На счёт «три» ударил рукой животное по спине, и оба одновременно, вытянув шеи, двинулись вперёд. Воз хвороста дрогнул, из-под колёс покатались камешки. Горячий пот хлынул из-под светлых корней волос хозяина, омывая лоб, как ручей, побежал по морщинкам, ... закапал на грудь. У осла пот тёк по ногам, от рёбер поднимался горячий пар, на крупе испарялся, стекал каплями, увлажняя копыта и землю.

Когда они достигли места, хозяин сбросил с шеи верёвку: «Мать твою... – выбранил животное, – теперь кто их нас лучший осёл – я или ты?»

Солдаты смотрели на них с удивлением, немного – со страхом, и, если бы человек был один, подумали бы – привидение. Но осёл для сверхъестественного был чересчур груб. Прежде всего – делающей из него настоящего осла толстой головой, мохнатыми ногами, к тому же одного копыта не было, вместо него был надет большой круглый кусок каучука, а на хвосте висит нагруженный воз. «А, может, в момент полёта нагадил на них какой-нибудь ангел?» - подумал солдат, подошёл, посмотрел на осла и его отсутствующее копыто и с поддельным восхищением присвистнул.

– А вот был бы ты на его месте, – встал на сторону осла хозяин, – думаешь, легко хромоту взбираться в горы да ещё такой груз тащить?

– Ну, значит, общество неблагодарное, – не унимался солдат, – даже Вам здорового осла не полагается.

– Во время войны здоровый осёл – бронетехника, кто же его в моих руках оставит? – хозяин осла вытер ладонью пот со лба и кинул недовольный взгляд на стену глинобитной времянки охотников, на которой теперь красными буквами было написано – штаб.

– Не забывайте, что Иисус на нём въехал в Иерусалим, – видя, что его осёл с каучуковой подошвой заинтересовал солдат, хозяин попы-

тался избавить осла от насмешек.

– Но от этого осёл лошадьё не станет.

Из штаба вышли двое солдат, подбежали:

– Святой отец?

– Да разве ж это жизнь, да я бы такую жизнь, – святой отец рубашкой вытер себе лицо и шею, затем рёбра ослу.

Солдаты глянули удивлённо, потому что мужчина был в обычной одежде, а не в рясе, потом, посмеиваясь, стали шептаться:

– Браток, этот поп – панк.

– Ну и поп: наравне с ослом хворост тащит.

– А что, разве поп не мёрзнет или обеда не варит?

– А разве его доля не с неба сваливается?

– Сколько всяких заваливающих людей на иждивении у неба, если на небо надеяться...

– Да ещё и ругается.

– Ну, будет вам... он поп, пусть придёт помолится, уйдёт, не говорим же: пусть горы свернёт, – приструнил их штабной дежурный и повернулся к священнику:

– Что мы просили, привезли?

– А зачем ещё мне так мучиться? – он потрепал осла по взмокшим рёбрам и стал обирать колючки на своих брюках...

Святому отцу они напоминали птичек, сидевших на телеграфных проводах, – выстроились в линию, все похожи друг на друга – в одинаковой форме, одинакового возраста, одинаково преданные... Он на секунду оторвался мыслью от выстроившихся на зелени в линейку солдат и хотел вспомнить, намотал ли сын на голову чучелу извивающуюся, как змея, проволоку, чтобы ненасытные сороки со страху забыли, где их дом. Потом вернулся мыслью от сада и с гордостью посмотрел на палку в руках дежурного, которая, как воинская команда, резко вздымалась и резко падала на спину осла. Осёл вровень с дежурным делал шаг, не получая второго удара, останавливался. Двигая вперёд дежурный осла, осёл – телегу, они проходили перед строем, останавливались перед солдатом, он выкрикивал свои имя и фамилию и размер обуви. Дежурный залезал в телегу, выискивал соответствующий размер, протягивал солдату. Палка вздымалась, снова опускалась на спину осла – они проходили дальше. Равнялись со следующим. Этот выкрикивал свои имя и фамилию и размер обуви. Дежурный с готовностью нагибался над телегой, как роющая землю собака, лапами разгребал пахнущие кожей и краской сапоги.

И так далее – пока строй закончился. Поп с гордостью смотрел на дисциплинированного, как и дежурный, и понимающего важность момента осла и убеждался в том, что его домашняя скотина тоже имеет большой вклад в деле защиты родины. У последнего солдата телега опустела.

Рядовой был недоволен: он повертел в руках полученные сапоги, поглядел на собственные ноги, что-то проворчал себе под нос. Вероятно, обувь была ему велика или мала. Дежурный палкой указал на уже опустевшую телегу, вздёрнул плечи, и последний удар опустил-ся на спину осла. Осёл сделал шаг и встал. Дежурный посмотрел на осла, бросил палку в телегу, сделал священнику в воздухе жест благодарности и вошёл в штаб. Солдаты расселись там и сям, примерили сапоги и побежали к клетушкам пленных – проверять, насколько новая обувь удобна как рабочий инструмент.

Устроившийся на камнях у стены солдат, поглядывая туда-сюда, вёл наблюдение за двором и беседовал с сидящим рядом с ним пленным в лохмотьях.

– Слушай, – говорил он, – парень Марат. Давай, включи мозги, я на твоей стороне, скажи-ка мне – ты армянин или турок.

– Я разве помню?

– Послушай, дружок, – убеждал рядовой, – не стесняйся, турок тоже вещь неплохая, турок тоже человек.

– Поверь – не помню.

– Ничего не помнишь? Слушай, ты же не курица!

– Нет, почему? Кое-что я помню. Например, у меня был орёл.

– Настоящий? С острыми-преострыми когтями? Вчера один прилетел, уселся на крыше штаба. У тебя орлица была или орёл?

– А-а, почём я знаю? У меня чучело было, но большое, красивое.

– Сам застрелил?

– Нет, браток, оружия я никогда не носил. На базаре купил, обменял.... – крики внутри усилились. Марат забыл про орла и его чучело.

– Почему вы меня не избиваете, – спросил он расстроено, – чем я хуже других?

– Э, сколько лет мы будем одного и того же избивать? В нашем деле, как в сексе, новый человек – это новое тело, новое тело – новые чувства и ощущения... одним словом – перемена.

– Или решили убить?

– Нет. Во-первых, мы взяли генерала. Согласись, что рядом с гене-

ралом ты никто, самое большое твоё геройство – это чучело орла, и то – не ты застрелил, на базаре купил. А генерал три деревни с землёй сравнял, жителей четвертовал. Равны вы? Конечно, нет. Так что конкретно для меня избить генерал почётнее, чем тебя.

– Ладно, не прикидывайся... почётнее... скажи, к вам в руки генерал попал, вы и обнаглели, на меня свысока смотрите. А если откровенно – я и не верю: кто хочет выпендриться, говорит «я генерала поймал», как те крутые ребята, что треплются, будто с самой красивой девушкой своего квартала переспали.

– Не верь – очень нужно... ну, в конечном счёте, ты ведь тоже чувствуешь: в последнее время тебя избиваем, когда нет других пленных, ведь ты столько раз уходил и приходил – своим стал, тебя на чёрный день держим.

– Ладно, не утешай – убить решили.

– Мы не можем тебя убить. Тобой интересуется «Красный крест». От «Красного креста» человек должен прибыть, с ним вместе тебя отправим к вашим.

– К нашим? ...но я...

– Документы – год, число, печать, подпись. Есть? Нету.

– Дома оставил.

– Ну, вот потому и посылаем тебя с «Красным крестом». Сначала – в Европу поедешь, потом...

– Послушай, – с мольбой в голосе он по-дружески взял рядового за руку, – ты этой Европе особенно не верь. Уж такие они пройды, забирают наши мозги и с достижениями их мысли приезжают нас поработать, как турки армянских сирот собирали, делали из них янычаров и отправляли против собственной нации. А вообще-то в жизни у всех есть нужда в рабах: Бог нуждается в верующих, родители в детях, Запад – в Востоке... Что хочу сказать: теперь, если ты... как бы... говорю, как бы, не по-настоящему. Ты... как бы... на минутку, не на много. Верь, не обману – ровно одну минуту, можешь проверить по часам. Как бы на минутку заснёшь. Да нет, что я говорю, не спать – просто закроешь глаза. Задремлешь, ну. Ровно одну минутку давай подумаем, начхать нам на Европу, свои вопросы сами будем решать – ты на минуточку глаза закрой, я убегу.

Рядовой рассмеялся. Похлопал его по колену:

– Про янычар мне понравилось, – он встал со своего места и стал быстро-быстро, как птица в поисках корма, ходить по двору туда-сюда, нагибаясь вперёд и выпрямляясь, склоняя голову то вправо, то



влево, словно заметил кого-то и тут же потерял из поля зрения и теперь разыскивал.

Изнутри по-прежнему раздавались крики – в соответствии с силой ударов. Марат затосковал – всё-всё в мире перевернулось. Где они, где вооружённые копьями воины, внушавшие уважение, которые годами боролись, закаляли своё тело и душу, чтобы удостоиться чести носить оружие? А эти? Всё утратило ценность, изменилось время, изменилось орудие труда солдата, кого попало в сапоги обувают. Доставка смерти утратила всякое обаяние и таинство.

Прислонившись к стене с осыпавшейся местами кладкой и известкой и выросшими там же сорняками, священник курил дешёвые папиросы, ожидая, пока кто-нибудь выйдет, даст конверт, чтобы он, повернувшись лицом к стене, спиной к людям, спрятал его за пазухой и мог уйти. Он с наслаждением задерживал дым в горле, медленно выдувал из ноздрей и смотрел на стоящего во дворе своего ослика, на военный быт, на гордых солдат, на гонявшегося за овцой повара в большом грязном фартуке. Овца, свесив толстый курдюк, раскачивая им вправо-влево, носилась по двору. «Держите, держите!» – странно худой повар, крича, бегал за животным, и священник подумал, что с его собственной стороны это весьма разумное решение – притащить овцу солдатам, ещё месяц, и тяжёлый запах самца пристал бы к мясу, и есть было бы невозможно. Осел, преданный, выносливый, махал хвостом, хотел достать хвостом до глаз и ударить налетевших мух. Священник смотрел на уставшего осла, на стоявший за ним воз, который героически перевёз овцу, оружие, дрова и одежду, и медленно выдувал дым через мохнатые усы, клубы вылетали из его бороды и усов, разлетаясь в стороны.

– Мой осёл, – вдруг закричал он и побежал вперёд, – осла моего уводят. Эй, оставь осла. Что тебе скотина сделала? Зачем ты его держашь?

Пока священник – с раскинутыми руками, с криками – бежал к ослу, без сожаления бросив только что раскуренную папиросу, солдаты со смехом смотрели.

– Эй, братец, оставь осла в покое, – разволновался хозяин.

– Да я глажу его, ласкаю, – оправдывался пленный.

В конце концов, подошёл один из солдат.

– Ну-ка, живо, целуй батюшке руку, – крикнул он, потом повернулся к священнику, – святой отец, погляди на этого турка.

Священник с жалостью взглянул на пленного. Солдат с силой



схватил его руку и, ударив Марата по голове, крикнул:

– Живо, целуй батюшке правую руку.

Тот испуганно поцеловал.

– Перекрестись, – продолжал солдат, – перекрестись, турок, не то застрелю.

– Оставь его в покое, и без того жалко – он уже в плену, – успокаивал солдата священник.

– Все мы пленники, святой отец, – продолжал кричать солдат, – все мы. Заветы Божьи и есть мандат плена, данного каждому. Перекрестись...

На голоса из штаба вышел офицер:

– Строиться, строиться, – хлопая в ладоши, как школьный учитель, он позвал солдат, – уже поздно, святой отец должен провести ритуал.

Толкая, пиная пленного, солдаты повели его, бросили в открытую дверь похожего на хлев помещения и, глядя на офицера, ждали похвалы.

– Живее, живее, – снова хлопнул в ладоши офицер.

Со всех сторон солдаты побежали на середину двора:

– Его можно понять, – офицер пытался оправдать своего подчинённого в глазах священника, пока солдаты строились, – два дня назад у него брата убили.

...Рыжий священник с жёлтой бородой. Высокий, голова вровень с солнцем. «Аллилуйя», – голос летел на километры, струился, пока не поглощался невидимой далью. От тёплого дыма горького ладана небо размякло, свесило хвост. «Аллилуйя», – сладким голосом звал священник. «Господь, будь милостив к рабу твоему...», – увещевал голос и читал русские фамилии: Иванов, Васильев, Александров, Синицын. Поодаль лежали в ряд незнакомые трупы, незнакомые жизни, погибшие за чужую родину, хоронимые под молитву чужого священника. Тянулась молитва, запах ладана – с нею...

Стоя в строю, солдаты, склонив головы, мысленно молились вместе со священником. Один прошептал:

– Как Господь его терпит? Сложил ругань, положил в один карман, из другого достал Библию...

– Разговорчики в строю! – угроза офицера прорвалась сквозь молитву священника.

Из штаба прибежал солдат, вручил конверт. Священник спрятал его за пазуху, вспрыгнул на воз и, обиженный, ожёг кнутом спину

осла.

- Чош, чош, - разволновавшись, он яростно взмахивал рукой в воздухе, чтобы с новой силой опустить на спину животного.

Марат его видел и прежде и заметил в нём Божью отметину – доброту.

- Помогите мне, помогите уйти отсюда, – он выскочил перед возом, умоляя. – Дайте мне Библию.

Священник резко натянул поводья готового бежать осла, отложил кнут, вынул из-за пазухи и с готовностью протянул благоухающее ладаном Евангелие.

- Поцеловать? – удивлённо спросил он пленного.

- Вообще.

- Навсегда? Сын мой, ты меняешь своего Господа?

- А Вы разве знаете – может, я христианин? И потом, стоит, очень даже стоит сменить того Господа, который столько лет меня оставлял в плену. Умоляю, святой отец, отдайте мне Библию. Если они найдут у меня Библию, поверят, что я армянин.

- Сын мой, но эта Библия для моего собственного употребления.

- Пусть по-прежнему Ваша будет. Вы просто угостите мен. До обыска. На рассвете верну. Честное слово. На несколько часов... просто в долг дайте.

- Святой отец, – позвали священника сзади, - не уезжай, мы тебя ждём.

- Будьте благословенны, – откликнулся на зов святой отец.

- Мы уже благословенны – новое село заняли. Пойдём, отметим нашу победу. Вы должны благословить, – звавший понял, что святой отец занят и подошёл, чтобы лично проводить его. Марат, заметив приближение солдата, выхватил у святого отца Библию и сунул за пазуху.

- В долг, – успел прошептать святой отец.

- Не сомневайтесь, – осторожно шепнул и пленный.

В самый разгар застолья святой отец взял стакан и сказал:

- Сейчас у нас есть один пленный. Зачем он нам – держать этого одного, бить или ласкать – что это изменит в жизни? Давайте по-христиански – украсим нашу радость благодеянием: вернём его туркам. В конечном счёте – война ещё впереди, ещё столько будет пленных. Не стоит дрожать над этим. Давайте отошлём человека в его страну, пусть наша радость бу-

дет полной.

– На то воля Божья, – в знак согласия поднял стакан генерал, – всегда от нашей доброты противник выигрывал, а мы – проигрывали, – он допил всё своё вино, потом повернулся, мутным взглядом посмотрел в неопределённую точку и закричал:

– Габриелян!

– Да?

– Отведи пленного, отдай им и возвращайся.

– А то как же, – взял со стола большой кусок мяса и обиженно откусил от него Габриелян, – вы будете себе пировать, а я благодарениями заниматься, – и ушёл выполнять команду.

\*\*\*

– Браток, – сопротивлялся турецкий пограничник, – я у тебя пленных просил? Кто-нибудь у тебя пленных просил? Зачем привёл?

– В порядке благодарения.

– Ну и катитесь, вы своё благодарение уже совершили. Вон ваше благодарение, – он указал на лежащие на земле бок о бок трупы с жёлтыми головами. – Всё равно, за русских вы будете отвечать. Так что, бери своё «благодарение» и... – он гневно глянул на Марата, – катитесь отсюда.

– Вот так война, – обалдел Марат, – победили армяне, побеждены турки, но с обеих сторон погибли русские.

– Не твоя забота, они уже умерли, отмучались. Ты о себе плачь, – разозлился Габриелян и продолжал уговаривать пограничника, – такой путь, да ещё ночью, ты погляди на его состояние.

– Ах ты, тупой армяшка, повезло тебе – я один, не то тебя живым бы сожрали. Возьми этот труп, и убирайтесь отсюда.

– Мне поручено сдать законному владельцу.

– А мне не приказано что-либо принимать. Законный владелец, ещё чего? Какой ещё приказ, чего ты наезжаешь – шпион, смертник, не знаю ещё что, чёрт вас возьми. Откуда мне знать – вдруг весь его живот набит взрывчаткой?

Пленный потянул Габриеляна за рукав и прошептал:

– Давай выйдем отсюда, пристрели меня где-нибудь, скажешь – сдал, для нас обоих чудно будет.

– Да будь ты проклят в свою очередь, – разозлился Габриелян, – что я тебе – убийца?

– Или, – пролепетал Марат, – или отпусти на свободу, скажешь –

по дороге потерял, или не говори ничего, сдал, и молодец. Всё.

...Раскрылся ердик . Свет потоком полился вниз, и пол кругом побелел. Марат сонным взглядом посмотрел вверх и увидел парящую в воздухе кошку, у которой глаза со страху вылезли из орбит, когти, как крылья, простирались в стороны, шерсть встала дыбом. Киска стремительно упала с высоты и с резким мяуканьем повисла у него на груди.

– Пока этим обойдись, пока не разберёмся, что делать.

Ердик закрылся. Марат испуганно оторвал от груди кошку и отбросил в сторону. Кошка, надрывно мяукая, распласталась на стене, упала и замолкла.

Немного погодя появился дежурный, бренча в горсти связкой ключей.

– За кошку, конечно, спасибо. Но мне в данный момент не собеседник нужен, а лекарство. Воспаление нерва, - Марат со стоном положил руку на бедро, - как начнётся – это смерть.

– Если тебе кажется, что кошка для завтрака, то ошибаешься. Это и есть потребное тебе лекарство. Повяжи спину, и боли конец. Единственное средство от неё – это тепло, а киска будет держать твою спину в тепле.

– А как мне хвост и усы друг с другом связать?

– Вот так болван. Ну-ка, снимай рубаху.

Пленный снял изношенную рубаху. Дежурный бросил кошку в рубаху, пристроил у него на спине и связал рукава на животе.

– Как-нибудь обойдись, пока тебя обменяем, потом тебя там «вылечат» как следует, – злорадно закончил дежурный.

– После обмена меня отпустят на свободу. Из «Красного креста» прибыли, чтобы меня спасти, как наследники армянских царей ездили спасать кости своих предков, извлечённые из могил и взятые в плен.

– Вот видишь, видишь – ты армянин. Армянскую историю хорошо знаешь!

– Да нет, просто я грамотный человек.

– Не все грамотные так осведомлены о костях армянских царей. Например, я в первый о таком слышу, потому что я – турок, понял? Да, ладно, считай – я не слышал. Завтра тебя сдаём, не хочу, чтобы на тебе синяки были. Считай – повезло тебе. Выходи.

– Опять бить будете?

– Нет, идём к столу.

– Лучше ведите бить, чем могилы рыть для убитых. Смотри, заранее предупреждаю: если даже убьёте, не буду могилы рыть.

– Давай без истерики, сказал – к столу, значит – к столу.

По международному календарю был день Братства. Турки, накрыв столы, если-пили, произносили любвеобильные речи о мире. Во дворе, в клетке, в подтверждение всего этого, гулили голуби.

– Их в небо выпустят? – пока генерал произносил художественно оформленную речь для наблюдателя и, причмокивая, целовал его, Марат и сопровождающий его солдат изучали голубей.

– Эти не для сегодняшнего дня, просто надо их покормить.

– А когда день Мира?

– Когда Европа определит. Хотя правильнее было бы их пожарить, – смеясь, прошептал солдат Марату на ухо, – Европа не станет считать, один голубь в небо поднялся или три. Особенно, если их много.

– И все белые.

– Всех съедим, наплевать нам на Европу, что нам ближе – наши желудки или Европа? – Солдат зевнул. – Их тоже угостим, если бы Пикассо не сделал этой глупости, может быть, Европа в небо ворон как символ мира выпускала.

– Ворон? Кажется, Ной это уже делал.

– Т-с-с... ты же не армянин – Ноя вспоминать.

– Чего пристал? Я ворон вспоминаю, какой там Ной!

– Ешьте, братья пленные, ешьте, – ловя взгляд наблюдателя, сладким голосом пригласил тамада.

– Ешьте, ешьте, – по-русски воодушевлял наблюдатель.

Марат смотрел голодными глазами и жадно вдыхал аромат вкусной пищи, но, вспоминая тех деятелей и героев, которых турки отравили за такими же столами с братскими поцелуями и призывами к добру, не решался притронуться к чему-нибудь. Он взглянул на покрасневшее от выпитого лицо наблюдателя, по которому скользила уже нелепая и безадресная улыбка, и проглотил слюну.

– За здоровье русских, организовавших этот хороший день, – с бокалом в руке провозгласил генерал-тамада.

– Пьют все, – с радостными призывами, с уверениями в русско-турецкой дружбе и упоминаниями примеров, целуя прямо в губы, тамада чокнулся с наблюдателем и проглотил вино одним духом.

– На здоровье, на здоровье, – закричали за столом и последовали

его примеру.

– Минуточку, минуточку, – ударяя вилкой по бутылке, попросил внимания один солдат. Все посмотрели на него.

– Господин наблюдатель, уважаемый генерал, считаю нужным сообщить, что вон тот пленный не пьёт за здоровье русских, этот наглый, эта вражина, этот армянин, – с последним словом он ударил по голове сидящего в самом конце стола молодого пленного с опухшим ухом, – пей!

Пленный с показным безразличием оттолкнул бокал.

– Пей, – угрожающе завопили все, гневно сжимая свои пьяные жирные губы.

Марат вскочил с места, схватил бокал и закричал:

– От имени всех пленных пью за здоровье русских братьев.

– Сядь, – с угрозой проговорил генерал, – какое право имеет пленный говорить от имени всех, пусть каждый сам от своего имени пьёт, – и все взгляды вновь устремились на упрямого пленного. Один из солдат сунул ему в руку полный бокал водки, – пей, не то... хочешь нас перед русскими опозорить?

Пленный с опухшим ухом встал на ноги, сжал в горсти бокал:

– Кто считает русских за братьев, пусть пьёт. Я русским не брат, я им здоровья не желаю, потому что если бы коммунисты не оторвали Карабах от Армении и не подарили туркам, теперь войны не было бы. Это по их вине у меня сегодня нет родины... это по их вине эта война, и из-за них я в плену, пускай подохнут все русские... пускай... – он не успел произнести следующее проклятье. Пьяный наблюдатель сдвинул брови – да-а. Генерал движением указательного пальца дал команду. Двое солдат одновременно ударили пленного прикладами по голове, вытолкнули из-за стола, волоком потащили прочь. Встали в середине двора и короткой очередью застрелили. Убитый пленный тяжело упал на землю. Выпучив покрасневшие глаза, наблюдатель смотрел мутным взглядом.

– Смотрите внимательно, – в назидание другим прокричал воодушевлённый тамада, – кто осмелится посеять раздор в нашей дружбе, между нами, тот удостоится такой же судьбы, – потом сел и налил вина в бокал наблюдателя, – выпьем, браток, – утешил, – подобные мелочи не должны портить нам аппетит.

И всё же Марат поел – точно от того куска, от которого, вонзая ногти, отрывал куски его сосед за столом. С непривычки желудок стал подпрыгивать, болезненно сжиматься, и он побоялся съесть

много. Большой ломоть хлеба вместе с мягким куском мяса положил за пазуху.

Пленных опять поместили в камеры, но день Братства для солдат длился до поздней ночи. Звучала музыка, счастливые и пьяные солдаты, обняв друг друга, орали, стреляли в воздух – чтобы поточнее выразить свою радость. Марат отодвинулся в уголок камеры и стал, пуская слюну, есть – всё равно веселье пьяных солдат поспать не даст. Как раз в эту минуту дверь открылась и вошли несколько солдат. Шаря фонариком по сторонам, нашли Марата.

- Пируешь? – начали бить.

- Что вы делаете? Сегодня же день Братства, - вместе с кровью выплюнул кусок Марат, - сегодня мы братья, друг друга не избиваем и не убиваем до завтра.

- День Братства закончился, уже двенадцать часов ночи, уже завтра, наблюдатель уехал... иди сюда, мать твою...

\*\*\*

... Связанной из сухих трав метлой добросовестный дежурный, царапая землю, подметал двор.

- Эй, – прошептал Марат.

Дежурный повернулся.

- Сколько помню, ты всё двор метёшь. Не сегодня-завтра под ветерана косить станешь, званий и пенсий потребуешь.

- Меня и права-то не имеют в армию призывать, – стал протестовать тот, – у меня два сердца. Инвалидность.

- Не горюй. Сейчас всё лечат – всего одна операция.

- Ещё чего? Только сердца моего рука человеческая не касалась, ещё это – и всё. Сколько проживу – столько и проживу.

- Слушай, хороший ты парень, – стал его улеживать Марат, – меня один из ваших интересуется, может, ты его знаешь?.. в плену был один мулла, мы вместе намаз совершали... что с ним стало? Освободили?

- Если скажу «да», поверишь? Муллу должны были обменять на какой-то труп. Долгое время труп не находили, а когда нашёлся, грязные армяшки новую подковырку придумали – говорят, это не он, ДНК не соответствует.

- Жаль. Убьют.

- Разве мы позволим? Столько армян убьём и трупы им отдадим, пока чья-нибудь ДНК совпадёт.

– Стоит, стоит. Хороший был человек, мы вместе намаз совершали.

– Это ты хочешь меня убедить, что ты турок? Ты же знаешь, что мне всё едино, знаешь ведь, что от меня ничего не зависит. Я тоже ведь знаю, что такое армянин: хвалу – Господу, крест – сатане. Что с того, что ты совершал намаз? Совершай намазы, сколько хочешь, я же знаю, какой у тебя бог в душе.

– С пленными не общаться, – прокричал громкоговоритель угрожающе. – Давай живее, делай своё дело, сегодняшнее мероприятие генерал будет проводить.

Дежурный испуганно посмотрел в сторону громкоговорителя и, с жаром метя землю, удалился.

«Мероприятие, – подумал Марат, – концерт. Концерт, точно. Русские певицы – с голыми ногами и силиконовыми губами для поднятия боевого духа армии. А может, и театр. Теперь в моде бродячие театры. Небольшой уличный театр, но знающие себе цены актёры. Марионетки! Висящие на ниточках на пальцах кукловода самые разные самодельные куколки, чья жизнь зависит всего лишь от движения пальца – один из пяти пальцев...»

«...Один из пяти пальцев, – подумал Марат, когда солдаты лежали, прицеливаясь, в центре только что подметённой площади, пальцы – на спусковых крючках ... Марат смотрел на хорошо осознающего собственную важность генерала, на напуганного, но всё ещё не верящего в смерть, героически поющего пленного. Сколько человек в мире каждый день кончает с собой именно так – глоток за глотком выпивая яд, вонзая нож под рёбра, стреляя в висок или вешаясь – в погоне за смертью. Но как только выяснится, что эта жизнь нужна кому-то или для чего-то, начинают отважно петь и плевать смерти в лицо. Если когда-нибудь он возненавидит жизнь настолько, что дело дойдёт до самоубийства, он выберет виселицу. Это более мучительно и больше убеждает, что другого выхода не было. Хотя самое приемлемое из известных ему самоубийств – это самоубийство солнца, без отходов: никаких трупов, сирот, никакой пыли и дыма – просто кипит жидкое солнце.

– Меня убейте вместо него, – заорал Марат, - меня.

– Заткнись, болван, – крикнул адъютант генерала.

– Это моя смерть, – продолжал вопить Марат.

Генерал повернулся к окну, откуда долетал звук, на несколько шагов приблизился. В это время солдаты лежали вытянувшись, держа



пальцы на спусковых крючках, ждали команды, а стоящий у стены молодой пленный смотрел на держащих его на прицеле верных долгу солдат и опять не верил в смерть, пока ещё пел.

Генерал почти прижал голову к окну.

– Каждый рождается и умирает сам за себя. Это те редкие случаи, когда люди незаменимы, – сказал он, – я вынужден известить тебя об этом, глупый армянин, поскольку обязан быть вежливым с тобой по той простой причине, что ты есть в списках «Красного креста» и в тебе заинтересована европейская цивилизация. Я, конечно, не знаю, зачем Европе такой гнусный тупица, как ты, тем более что и там ежедневно ожидаются тысячи нужных людей...

– Для самоутверждения, чтобы доказать, что они больше люди, чем остальные.

– Как бы там ни было, я вынужден их слушать, потому что от них зависит вооружение нашей армии. – Он глубоко вздохнул. – Думаю, после всего этого ты поймёшь, что каждый рождается и умирает сам за себя. Это те редкие случаи, когда люди незаменимы.

\*\*\*

К вновь прибывшему не возвращалось сознание – несколько солдат непрерывно дёргали его в разные стороны, поливали водой и попрекали врача: сделай что-нибудь, нужно допросить. Со своего места Марат видел, как врач, прищурившись, под светом полевой керосиновой лампы набрал лекарство в шприц и проворчал: «Вы до смерти забили, а я что могу сделать?»

После долгих мучений один из солдат схватился за голову – погрёшь тут с этими скотами, разве можно столько в этом сыром месте оставаться? Да чёрт с ним – пусть в сознание не приходит, что он такого может сказать, ни генерал, ни какая-нибудь важная птица.

Ушли. После их ухода прошёл час, стемнело, клетушка стала ещё более непроницаемой и более душной, когда во всепоглощающем мраке кто-то заныл.

Марат почти дремал и вначале не разобрал, что он сказал – подумал, что бредит.

– Эгей, – он снова услышал слабый, бессильный голос, – эгей, люди...

– Чего тебе? – Марат тоже прошептал почти беззвучно.

– Где я? – у говорившего прервалось дыхание, и голос пропал.

– Не важно, где ты, если и там, и тут одинаково истязают.

Всю ночь больше не разговаривали, и Марат был уверен, что вновь прибывший умер. Но это было привычное дело в подобных местах, утром придут, увидят, что его уже нет, возьмут-унесут, вместо него приведут кого-нибудь другого – помоложе или постарше... и так без конца.

Утром он нехотя открыл глаза и увидел в своём изголовье человека, сидевшего, поджав ноги.

– Где твои волосы? Сбрил, чтобы твой арменоидный череп был хорошо виден? – сидящий издевательски щёлкнул его по голове. – Как хорошо щёлкает.

– Нужно было предупредить, что ты не умер, – упрекнул его Марат, – а то жутко, когда покойный сидит в изголовье и интересуется твоим черепом.

– Серьёзно – где твои волосы?

– Не видишь, сгорели, – Марат, вздохнув погладил голову, – во время одной из пыток, когда армяне взяли Шуши...

– Ясно. Но... – новенький хитро улыбнулся, – смерть не была бы смертью, если бы не было воскресенья.

– То есть?

– Ну, как сказать? Как говорят армяне, Господь посылает боль, лечение вместе с ней посылает.

– Теперь что ты моей голове предлагаешь? Насадить себе волосы? Эта медицинская стрельба дороже стоит, чем стрельба солдат, которая стоит жизни.

– Для европейцев – да, но для нас... – он поцокал языком, – ты должен радоваться, что я есть.

– Честно говоря, в этой жизни я мало чему радуюсь. Господь выдумал жизнь, чтобы надо мной поиздеваться.

– Ладно, жалко тебя, не буду голову долго морочить: поглядим, что скажешь через несколько месяцев, когда мы спасём свои головы, к тому же – с пышными волосами. Условие – если вдруг встретимся на воле, тем более, если при этой встрече будут другие люди, тем более – если это будут мои дети, тем более – если это будет женщина... Одним словом, что бы я ни рассказывал о своём плене, ты должен будешь подтверждать, если даже я объявлю, что мир спас я.

– Хорошо.

– Ты купишь овцу, с курдюком, с чёрной шерстью, вкусную овцу.

– И водку тоже я.

– Тем более, если будет женщина – тогда коньяк.  
– Договорились.  
– Я знаю, что делать, чтобы волосы росли. Старый, дедовский метод.

– Армянский или турецкий?

– Э, слушай, пусть на моей голове волосы вырастут – хотя бы и сатанинским методом. Станный ты – какая разница, чей метод?

– Да, разница есть. Даже умом врага не хочу воспользоваться.

– Теперь для тебя кто враги – армяне или турки?

Марат испуганно посмотрел на собеседника, потом по сторонам:

– Ладно, говори. Главное, чтобы волосы выросли.

– Ловим большую змею...

– Лучше вечно лысым останусь...

– Что ты за засранец такой... интересно, как ты воевал?

– Я не воевал...

– Эти свои рассказы прибереги для следователя. Мне всё равно – ловим большую змею...

– Можно я куплю овцу вместе с коньяком, только змею не буду ловить?

– Ладно, добавим к нашим условиям пару туфель, змею тоже я поймаю.

– Давай дальше.

– Поймали змею. Кожу сдираем.

– Не продолжай – сейчас потеряю сознание.

– Ладно. К нашим условиям добавляем хорошую сорочку.

– Тысячу.

– Кожу содрали. Собираем подкожный жир и мажем голову. Вырастают такие волосы, что в старости ты даже не седеешь.

– Осталось змею найти.

– Эх, браток, значит, в этих горах нет змей?

Решив вопрос змеи, он сказал, что он Арам, гробовщик. Скорбел, что жена его – инвалид, прикованный к постели. Похвалил невестку – ухаживает за своей больной свекровью. «И как я смогу с невесткой расквитаться, – сказал с признательностью в глазах, – ничего, сделаю себе хороший, изысканный, дубовый гроб для неё, пусть знает, что умею ценить добро». И тут Марату захотелось плакать, что поверил его словам и лечебным методам, тем более – его возможности поймать змею.

– Послушай, – именно в этот момент Арам предпринял следующий практический шаг, – ты обыскал здание внутри, снаружи?.. Ну, в этом смысле, в смысле побега...

– Из такого места? Здесь прутья твоей клетки, как у небоскрёба, ни перепилить, ни раздвинуть.

– Когда перед курицей мелом проводят линию, она уже не пытается переступить через неё, так и замирает на месте, потому что эта линия ей кажется непреодолимой преградой...

– Какая связь между нами и курицей?

– Никакой. Просто хочу сказать: я не курица, для меня нет преград. Тем более – обозначенных мелом.

Целую ночь небо громыхало, громыхало – и прорвалось. Оставшиеся без гнезда молнии, взрываясь, отодвинулись в горы. Дождя не было – был приступ бесслёзной муки, лишь издали слышалось, как молнии жалили горы. Страдавшая потницей осень засушливого лета – красные ветры сошли с небес... на рассвете вытянули землю из-под гор и шурша стали подбрасывать – солнце померкло в жёлтой пыли. Ветры не унесли с собой ничего особенного, кроме пыли, но много чего оставили – побелевшие кости животных, птичьи гнёзда, сухие деревья, слизанные с горных вершин... Утром, когда пленных вывели во двор, чтобы привести в порядок, гробовщик тихонько зашёл за дом и пальцем поманил его к себе.

– С- с- с, – он прижал палец к губам, – под этим камнем гнездо змеи.

– Откуда ты знаешь?

– Помолчи, – Арам сунул руку под камень и, вскочив с места, рывком вытащил. Марат взглянул и увидел у него в руках змею с разноцветным хвостом, уши которой сжимал его товарищ и победоносно смотрел, как змея мучится, извиваясь и бессильно сбрасывая извивы. Солдаты подбежали и увидели его уже на середине поля, на большом расстоянии от двора. «Попытка побега», – закричали, окружая его.

– Не стреляйте, – крикнул Марат, – это моё спасение, – и уставил на змею дрожащий палец.

Двое солдат, заметив змею, отступили. От этого Арам воодушевился:

– Можно сбежать.

– Я боюсь.

– Я тоже боюсь, но это не причина, чтобы я не воспользовался своим шансом выжить. Судьба – это украшение, и надо уметь нести её

красиво. Я пошёл.

Резким движением и с диким криком Арам швырнул змею на солдат. Солдаты в панике бежали.

– Полетели, – скомандовал Арам и сорвался с места. Марат полетел вслед за ним. Послышались выстрелы и ругань.

– Проскочили, – когда выстрелы стали глуше, Марат кинулся за первый попавшийся камень и увидел, что он один. В какой момент и куда девался его товарищ, убит или смылся в другом направлении, он не понял.

Одному грустно и страшно. Но даже это не заглушило радости освобождения. Ползком он двинулся вперёд. Вдруг у него под животом земля зашевелилась. Потекла, волоча его за собой. Оказался в какой-то яме. Испуганно перевернулся на спину. Сел. Догадался, что он на кладбище. Поднялся и выглянул. Прямо на краю ямы лежал могильный камень с надписью: «Пятый ряд, могила N 179, Погосян Нвард, 1950-200...». Последняя цифра не была известна, кто-то заранее обустроивал свой посмертный тур. «Смерть – это космический корабль, посредством её мы перемещаемся в более комфортную жизнь. А прожитое нами на земле – только усилие по приобретению путёвки», – эта мысль показалась ему забавной и немного успокоила. Он выскочил из ямы и ползком двинулся дальше.

А вот и он – на нейтральной полосе всех возможных границ – этой и той жизни, этого и того государства. Теперь между двух границ, по подметённой, гладкой земле нейтральной полосы он полз – куда? Его объял тот блаженный мираж обитателя тундры, который, ослепнув от безизны снега, видит в небе три солнца, два ложных. Самым жестоким был выбор – выбрать из жёлтых солнц единственное и пойти вслед за ним. Идущий за ложными солнцами так и пропадает. Тундра. Граница. Безграничное пространство. Выбор. Какая из границ спасёт его? Нейтральная полоса. А вот и вторая. Эта – самая безопасная, но здесь нельзя пребывать вечно. Страшно было, что встретит солдат. Что станет делать без оружия? Его взгляд остановился на камнях. Змея. Вот и оружие, вот спасение. «...Я могу. Нет ничего такого, чего бы я не мог. Я бесстрашен, я герой, потому что я прав, я жив. Я могуч, я могу...», – убеждал он себя, гнал страх. И когда вдали кое-как разглядел тень пограничника, в ужасе подумал: я способен убить?

Он опустился на колени на каком-то большом камне, положил руку на землю и, играя пальцами, сунул её под камень. Не смог вы-

тянуть руку назад – изнутри какая-то мощная сила, может, голодный дракон, засасывала его руку. Лицо коснулось камня, он почувствовал, как под животом земля стала мягкой, и Марат всем телом был проглочен. Подумал – землетрясение. Упал на спину. Ошеломлённо и несмело огляделся – полые пещеры, полные тьмой и влагой. Журчание, клёкот и рокот, смешанные с дыханием горы. Фактически, гора проглотила его – на этом склоне были оползни. Мысленно он рассмеялся: у него всюду оползни – ползучая родина, ползучая граница, ползучая земля, ползучая судьба... И никакой определённости. И, тем не менее, воздух в горном нутре был тёпел, тьма – мягкая. И у тьмы есть защитные свойства, как у молитвы – защищает от света, чтобы враги не заметили.

Спотыкаясь, он поднялся на ноги. Из невысказанных глубин до него доносились рычание, крики и вопли – ужас одиночества во тьме рождал фурий. Он немного прошёл по скользким горным сосудам. Гора была здорова: у неё не было тайного от самой себя пульса – и звенела, и хохотала, могла молчать, много болтать, где был свет, лизала свет, где тьма – не стеснялась рождённых ею призраков... потом слышался зов немых подземных вод. Он обрадовался, что вода течёт, откуда-то выйдет, тем более что воздуху горы сообщалась свежесть. Пошёл за водой. Местами от изношенных рёбер горы пробивался свет – вероятно, колосс сознательно раскрывался навстречу свету, чтобы внутри не скапливалась жёлчь. «Даже у такой вечной, как камень, горы, есть мягкие и нежные места, которые рвутся от боли, от каких-то мыслей – трескаются», – он исследовал льющийся с невероятной высоты свет: может, вскарабкаться по направлению к свету? Но гора поднималась, сколько хватало человеческого глаза... Лучше течь вместе с водой, пока она куда-нибудь выльется.

Вода не спешила: влезала то в эту впадину, то в другую, где-то вливалась-сливалась с каким-нибудь озерцом, где-то, извиваясь, душила камень. В какой-то момент наткнулись на ветер – он взвихрил всё кругом, превратился в капли и во влагу, потом от ветра удрали, точнее – ветер нашёл себе более родную игру – отправился сливаться с зовом призраков... И, наконец, солнечный свет. От радости он пустился бегом. Высовывая голову из мшистого отверстия горы, он упал.

– Дай руку, – слышался знакомый голос.

Поглядел. То был его товарищ по плену – гробовщик. У них за спиной – очерченная колючей проволокой граница.

– Я знал, – от волнения кое-как промямлил Марат, – я знал, что найду тебя, – он протянул руку к Араму. Тот одним резким движением дёрнул, оторвал от земли Марата. Марат радостно обнял товарища.

– Честно говоря, одному было страшно. – Говоря это, он отряхнул с себя пыль, взял висящий на поясе у товарища маленький котелок, попил. – Рассказывай, куда ты исчез...это армянская граница?

– Увести, – через плечо скомандовал Арам.

Несколько солдат с готовностью подошли и навели на него оружие.

– Что это ты делаешь? Ты же меня знаешь. Это армянская граница?

– Да.

– Но я армянин. Ты же меня знаешь. Скажи, что я армянин, – глядя на его погоны, попросил Марат.

– Мы знакомы, мне известно, что ты – это ты, но я не знаю, кто ты – армянин или турок. Ты мне об этом ничего не говорил.

– Убьёшь?

– Нет. Наоборот – помогу. Помогу, чтобы тебя побыстрее обменяли, и попрошу, чтобы не мучали.

Марат со слезами опустил на колени и обнял его колени:

– Вы герой, славный человек, Вы сжигаете города и занимаете деревни, какая вам польза от мучений такого, как я? Верьте мне, я армянин. Помогите...– он всхлипнул.

– Помогу, хотя не особенно верю. Но вообще-то война без человеколюбия... – Арам так произнёс это слово «человеколюбие», будто говорил больше, чем означало слово, – всё равно, что свадьба без невесты. Погосян...

Тут же возник солдат, стоящий наготове.

– После сегодняшнего боя там трупы турок. Посмотри, у кого в карманах есть документы, принеси.

Марат встал на ноги.

– Сейчас придёт, – Арам предложил сигарету.

– Спасибо, – прошептал Марат осипшим от волнения голосом, хотя и не понимал, какая связь между ним и трупами турецких солдат.

Не успел прикурить, как вернулся Погосян, неся два свидетельства.

– Мустафа и... – Арам закрыл первое и прочёл второе: – Ахмед.

Ну чего, тебе какое нравится? Мустафа или Ахмед?

Солдат, принесший паспорта, слегка прокашлялся и тихонько подсказал:

– Ахмед хорошее имя. К тому же тот пробит пулей.

– Ладно, пускай будет Ахмед, – согласился главный и протянул паспорт Ахмеда Марату, – поздравляю, Ахмед. Завтра тебя переправим к вашим.

\*\*\*

Он вскочил. Удары сердца звучали как церковные колокола – сильно, сильно, сильно: возвещая. Попытался встать. Как в дурном сне – дыханье прерывалось, хотелось убежать, закричать, но не удавалось. Над его головой двое разговаривали:

– Посмотрите, – перевернул его на спину принимающий армянин, – это следы операции, левая почка у него отсутствует. И Бог знает, чего ещё недостаёт внутри. Почему я его должен принять?

– Так надо, – настаивал «Красный крест», – примите, потому что пленный не протестует.

– Если б мог, протестовал бы. Мы его сдали при свидетелях, со всеми подробностями – взвесив и измерив. Мы... – принимающий в ярости выпучил глаза на представителей Красного креста и поочерёдно подчеркнул: – Мы его сдали целым и таким же примем.

– Вы сами виноваты. Мало того, что убили брата турецкого воина, да ещё, дав его свидетельство в руки этому, послали к ним. Одного брата убили, над другим поиздевались... чего же ждать?

Марат смутно догадался, что он у армян.

– Как хорошо, – попробовал он говорить, – я знаю армянский алфавит: айб... айбб... б...б... – и упал без сознания.

– Ну вот, – наблюдатель пальцем показал на потерявшего сознание пленного, – он знает армянский алфавит.

– Меня это не интересует. Это уже труп, почему я должен в качестве живого принять?

– Браток, – настаивал «Красный крест», – мой самолёт улетает через три часа, а до этого я должен успеть принять решение об армяно-турецкой границе, давайте побыстрее.

– Нужно создать комиссию, – настаивал армянин, – если б только почка была, но откуда мне знать – чего ещё внутри недостаёт.

– Браток, – снова убеждал «Красный крест», – еле-еле приняли договор о перемирии, еле-еле согласились ваши, еле-еле согласились они – стоит ли снова всё это срывать из-за почки одного избитого пленно-



го? Прими его, заполни бумаги. Через несколько часов он умрёт, похороните – и на этом конец. Кого будет интересовать почка трупа в этот тяжёлый период переговоров?

\*\*\*

Собака. Кавказская овчарка ростом с осла, на чью горло лапу наложит – тому конец. Бешеная самка, за каждым шагом которой ревностно следил хозяин, чтобы вдруг с чужими собаками не случалась, не испортила записанный в Красную книгу ген. О собаке начальник тюрьмы вспомнил в последнюю очередь. Обычно уборщица столовой объедки и даже недопитый чай собирала в капроновое ведро, когда оно наполнялось, относила во двор и выливала в стоящую за углом металлическую бочку. В конце дня приезжал грузовик, отвозил бочку тем, кто держал свиней. Когда дежурный, минимум пять раз прокричав: «Завтрак окончен», прошёл между рядов пустой столовой, и Марат, медленно двигаясь, встал со стула и вышел, уборщица оказалась в трудном положении – он ничего не поел. Она смотрела и не понимала – унести назад, на кухню, хлеб с маслом, абрикосовый джем и чай или счесть всё это за объедки: поесть не поел, но ведь, в конечном счёте, больше получаса сидел, дышал на еду. Иначе говоря – тронул.

После завтрака пленного вывели на прогулку. Но у него не было охоты – прислонился к стене и застыл.

Двое солдат с готовностью подбежали и, с натугой толкая, открыли ворота – чтобы достичь их прежде, пришлось бы положить двадцать человек.

Марат, оставаясь неподвижным, смотрел в открытую пасть ворот, через которую виднелись внутренности – остывшая земля, потрескавшиеся от природной смены жары и холода камни, одна-две машины, поднимая пыль на сухой дороге, пронеслись вдаль, и долгое время спустя после них в воздухе стояла рыжая пыль...

Начальник тюрьмы стоял в центре двора, расставив ноги шире плеч, и с улыбкой на лице ждал. Пленный равнодушно смотрел на сиенющие в далёкой дымке горы, на начальника тюрьмы, на ясное небо тёплой зимы, себе под ноги. Волнуясь из-за безвыходной ситуации, начальник тюрьмы разговаривал сам с собой, беззвучно шевеля губами, и не знал, как себя вести, потому что, идя сюда, он представлял себе эту минуту, когда должен будет благовестить «Красный крест прислал за тобой» и мысленно видел, с какой радостью тот побежит к

воротам. Но тот был неподвижен. Начальник тюрьмы подумал было, что он боится стоящих на вышках солдат, повернулся и подал им знак рукой. Солдаты спрыгнули и побежали по направлению к начальнику тюрьмы – вовнутрь...

Марат не двигался с места.

Начальник тюрьмы нетерпеливо кинулся к воротам, несколько раз вошёл-вышел, всякий раз подымая пыль ногами и кашляя от нее, потом встал в воротах и, отдышавшись, в отчаянии показал рукой, как выгнал бы из дома оскорбившего его – вон!

Исчерпав все средства, начальник тюрьмы вынул оружие и приставил к его виску:

– Считаю до трёх!

– Три! – выкрикнул Марат.

У начальника тюрьмы опустились руки:

– Ну что ты за человек! С большим трудом тебя спасают. Ступай, парень, ступай.

Как на последнюю надежду, начальник тюрьмы посмотрел на собаку, которая, высунув голову из машины, клокотала от внутреннего гнева.

– Не кусай, хотя ему так и надо было бы, среди них попадаются такие, что перед их жестокостью жизнь со страху сжимается. Не кусай, ладно, напугай только, – приказал он, почёсывая шею собаки. – Ну что, договорились? Не кусать, нам нужно всего лишь прогнать его с территории тюрьмы. Не хочет идти домой, ты такое видела? Пленного отпускаешь – не идёт! Удивительное дело. Значит, так – только лаять, рычать, пугать. Драть в клочья, кусать, даже зубами трогать строго запрещается.

Машина с собакой проехала вдоль колючей проволоки, потом мимо пятиметровых стен, потом – мимо ворот...

Когда начальник тюрьмы встал в воротах с разъярённой собакой ростом с осла, заключённый по-прежнему стоял у стены.

Начальник тюрьмы показал на рычащую собаку, за спиной которой, как у разъярённой кобры, торчком стоял пышный хвост.

– Это бешеное, безбожное животное. Уходи.

Как бы подтверждая, собака зарычала, показывая здоровые челюсти.

Марат был недвижим.

– Ещё раз говорю, не заставляй...

Марат хранил молчание, как надгробный памятник.

Начальник тюрьмы, потеряв надежду, покачал головой и потрещал по спине собаку – делай своё дело.

Собака была хорошо натаскана – рыча, измерила площадку перед тюрьмой, прыгнула туда-сюда, отрывисто, но громко лая, грозно колыша хвост, показала себя и свою ярость. Несколько охранников навтытяжку прижались к стене. Собака, воодушевившись этим, одним прыжком достигла Марата. Задрав мясистые губы на своей грозной морде, оскалила влажные клыки, разбрызгивая пену, стала лаять, лаять, лаять... кидаться.

У него не было охоты выносить собачьи игры, он достал из рукава осколок зеркала и воткнул в горло собаке. Толстая струя крови вырвалась, извергая пар, потом стала струиться по шерсти животного. Он отбежал. Собака, бешено лая, оставляя кровавый след, бросилась за ним. Догнала. Озверевшее животное, став на задние лапы, прижало передние к стене, сжимая Марата между собой и стеной, и, рыча, пыталось найти его голову – чтобы вонзить туда зубы, а прежде зубов – вытекавшую от ярости кровавую слюну. Из глотки вместе с кровью вырывались рычание и хрип. Марат защищался – закрыл руками лицо, съёжился под грудью собаки и спиной отталкивал её. Со всех сторон сбежались люди, набросились на собаку, пытались оттащить ее. Но тело ослабевшей собаки было тяжёлым, тёплым, и время от времени из пасти вырывалось глухое рычание, а потом – последние струи крови. В конце концов, царапая камень передними лапами, оставляя две параллельные борозды, давя грудью пленного, собака упала наземь. Все вместе попадали на собаку, с криком-гамом, со стонами, давая другу другу указания, перевернули животное на спину, вытащили из-под него Марата.

Сдохший пёс и обессиленный пленный лежали бок о бок, в одной луже крови. Долгое время всё было недвижимо, как милосердие сатаны, и только облака и вороны скользили над их головами.

– Вот видишь, видишь, что ты наделал, – потерянно горевал начальник тюрьмы, – уходи, уходи, – кричал он, поворачиваясь туда-сюда.

Марат молча съёжился. Он смотрел на истекшую кровью собаку, на следы когтей на каменной стене, на свою намокшую от крови собаки одежду, на озеро крови во дворе, на вышагивающего взад и вперёд, всхлипывающего от бессилия начальника тюрьмы... И у него не было намерения двигаться. Он оперся на стену, по другую сторону которой была колючая проволока, где позванивает высоковольтный

ток, и оторопело глядел. И стены тюрьмы толщиной в пять метров были его единственным спасением, единственной надеждой, потому что они одни защищали от его реальности.

«Красный крест» прибыл вовремя, когда на земле ещё лежала истекшая кровью собака. Конечно, солдаты могли забрать собаку и вынести за ворота – грифам, но следы крови за полчаса с земли не сотрёшь, и Красный крест, может быть, подумал бы, что это кровь человека, возможно, заподозрил бы, что они были грубы с пленными. Поэтому начальник тюрьмы дал команду не трогать, а пленный, если хочет, может оставаться рядом со своим подвигом.

– Господи Боже! – воскликнул представитель «Красного креста». И начальник тюрьмы был вынужден дать объяснения.

– Он был арестован на границе, в день перемирия, которое продолжается уже двадцать лет. На протяжении этих лет заключали какие-то договоры, возвращали пленных, встречались президенты воюющих сторон, утешились матери погибших, жёны убитых, вероятно, нашли новую любовь, но в его случае, – показал на съёжившегося Марата, – режим остаётся прежним, петух, петушиный крик, сонное солнце, зевота, завтрак, побои. Побои, конечно, не у нас, а у противоположной стороны. Иногда, если переговоры идут успешно, его выводят на прогулку, один раз разрешили даже посмотреть на восход.

Наблюдатель нагнулся над Маратом и спросил:

– Правда?

– Здесь неподалёку есть небольшой сад диких яблонь, – заговорил Марат, – цветы яблонь как всегда белые. В этих белых объятых погружаются в сон птицы, чьи клювы – гробы, где скрываются песни. В какой-то миг ночи крышки сдвигаются, спрятанные песни стремглав вырываются наружу, и это называется восход... Но чуть позже переговоры зашли в тупик, и режим был восстановлен – петух, петушиный крик, побои.

– Мы были добры к нему, – с воодушевлением заверил начальник тюрьмы, – при перевозке в некоторых местах пленный устал. Ему давали сигареты...

– Правда? – нагнувшись над пленным, пытался поймать его взгляд представитель.

– Да, да, – подтвердил Марат, – от Красного креста приходил соответствующий сотрудник, проверял, цел ли пленный или с ним случилась беда. Допытывался – кормят ли, хорошо ли со мной обращаются.

Я улыбался – всё хорошо. Я пленный и в соответствии с этим исполняю свои обязанности – по режиму ем, пью, подвергаюсь побоям... В присутствии «Красного креста» меня взвешивали, фиксировали вес, передавали противоположной стороне с предупреждениями – если похудею, они понесут ответственность. Сотрудник Красного креста давал противоположной стороне бумаги на подпись и шёл за зарплатой. Меня передавали противоположной стороне. Здесь режим был тот же...

– Успокойтесь, наша цель – помочь Вам. Мы знаем, что Вы вышли из дому и больше не вернулись. Мы поможем Вам. Только скажите – вы армянин или турок?

Он сквозь слезы взглянул на допрашивающего и закричал, рыдая:

– Я не хочу человеком быть, армянином быть или турком. Оставьте меня в покое.

– Так нельзя, – упрекнул сотрудник Красного креста, – в каждом деле нужна определённая и прозрачность: непременно нужно быть или армянином, или турком. Мы для того и прибыли, чтобы выяснить это. Международное сообщество нам потому и платит, чтобы мы выявили в Вас армянина или турка, передали Вашему собственному народу и с чистой совестью вернулись домой. Встаньте. Пошли с нами. Самолёт ждёт нас. По дороге всё выясним.

– Не хочу, – отказался Марат.

– Дорогой мой, я пересёк всю Европу, весь Кавказ, да и весь мир, чтобы помочь Вам...

– Нет.

– Не упряжьтесь, всё будет хорошо.

– Верю, уже двадцать лет Красный крест помогает мне. И я благодарен. Здесь я прекрасно себя чувствую.

– Как можно прекрасно себя чувствовать в плену? Как бы хорошо с Вами ни обращались, Вы же всё равно знаете, что Вы пленник. Как же Вы будете прекрасно себя чувствовать?

– Представьте себе.

– Прошу Вас, уважаемый, у меня график перегруженный, я же не бездельничаю, вставайте. Вы немного обижены, понимаю, двадцать лет не пустяк, но мы всегда отправляли запросы обеим сторонам, и по сей день ни с одной стороны нет известий о Вашем существовании. – Значит, оставьте меня в покое.

– Браток, – проговорил начальник тюрьмы – с большим трудом,

во имя Европы, человек приехал из одной части света в другую за тобой. Это что за отношение?

Начальник тюрьмы двусмысленно посмотрел на своих солдат. Те сразу же поняли. Жилистый солдат подошёл, приставил дуло автомата к виску Марата.

– Встань.

– Не хочу, - кричал пленный.

– Встань, не то выстрелю, – предупредил солдат.

– Стреляй, – скомандовал пленный.

В конце концов, подошли другие солдаты, местами волоком, местами на руках подтащили пленного к машине «Красного креста».

Машина тронулась.

– Итак, дружок, свобода, – раскинув руки, глядя направо и налево, наблюдатель воодушевлял пленного. Машина набирала скорость, жёлтая глинистая пыль набивалась внутрь. – Скажите, где Ваш дом, мы отвезём Вас домой. Тут неподалёку наш самолёт, он может пересечь тысячи километров.

Марат смотрел на улыбающегося представителя.

– Вы ведь мечтали о возвращении? Скажите, и мы Вас проводим. Неужто не хотите?

Марат смотрел на него и думал: «Кто он, шпион? Этот и вправду из «Красного креста», да и есть ли какой-либо спасительный крест?»

– Не помню.

– Ничего, какое-нибудь имя, что-нибудь наводящее, мы поищем, найдём.

– Г-м-м... кажется, где-то здесь ... на букву М...М...М... какое-то имя...

– Ещё что-нибудь, какая-нибудь гора, знаменитая река, вспомните, ещё что-нибудь, мы поищем, найдём, – продолжал обнадеживать представитель «Красного креста».

Марат смотрел в его добрые глаза, слушал искренние утешения, обещания и не верил:

– Дом-то на месте, Вы меня ищите. Это я пропал. Вы забыли, двадцать лет назад я вышел из собственной судьбы и больше не вернулся. Пропавший – это я. Вы меня ищите.

*Перевела Наталья Абрамян.*



**В**аграм Аванесян

Родился в 1959 году. Окончил Степанакертский педагогический институт, занимается журналистской и общественно-политической деятельностью. С 2000 года депутат Национального Собрания. Публикуется впервые.

Живет в Степанакерте.

*Эту почти реальную историю посвящаю Мехрибан Джафаровой.  
Мы встретились в Степанакерте в 20001году, она очень хотела  
побывать на линии соприкосновения войск.*

Из покинутого села идет магистраль, но неожиданно прерывается. Не достигая моста, почти под прямым углом, резко поворачивает налево и тут же превращается в обычную проселочную дорогу. Пролетая через овраг, она упирается куда-то в земляные валы на противоположной стороне.

Весенние дожди давно закончились, и русло реки – сухое. Печным жаром расплывается по степи зной, колышется и зависает в воздухе липким смешанным ароматом полыни, дикой конопли и гниющих фруктов.

Среди полной разрухи и запустения – бессмысленный мост и безжизненная магистраль, где в полдень тает смола, где редкая трава кажется то ли перезрелой, то ли выжженной, – лишь заросли ушколист-ной ивы еще зеленеют, да голубые горы вдали оживляют мертвый пейзаж легким, мерцающим светом белых макушек. Почти мираж. Возможно ли это? Неужели они существуют?

Там, на той стороне – противник, и там – обычная жизнь. Играют свадьбы, рождаются дети, люди умирают, их хоронят... Оттуда, из дальних далей, порой, доносится то свист паровоза, то самолетный рев, а через минуту – снова безмолвие, снова глубокое протяжное молчание.

И мир возвращается в условную правильность, или аномальную нормальность, когда военные на посту, и кроме того, что они сменяют друг друга, больше ничего не меняется. Упертые в бинокли, немигающие взгляды выхватывают те же картины. Бруствер окопа, амбразура, запретная зона, обнесенная колючей проволокой и заминированная для большей надежности. Снайперы. Прицел находит опрометчиво высунутую голову. В такой день дипломаты враждующих стран становятся беспощаднее в обвинительных речах, но снова – ничего не меняется.

Разрушенные дома в покинутом селе. Часто в жаркий полдень ящерица появляется из трещины в стене, лишь слегка показываясь, оглядывает праздные окрестности, затем, видимо, приметив змей



и спасаясь от их гипноза, неуклюже-торопливо прячется обратно. Змеи еще приползают, по старой памяти, лижут сухой бетон артезианских колодцев, тычут языками глинозем канав и злобно шипят. А солнце раскаляет степь.

Собака находит убежище в ивняке. Из укрытия она видит землянку, полевую кухню и круглобрюхую машину-водовоз, что прибыла прошлым вечером. От одного ее вида жажда превращается в мучительную пытку.

В два-три прыжка Собака могла бы, как в обычные дни, достичь землянки, однако мертвая тишина, заполонившая долину, пугала ее. Страх проник с раннего утра. Все вокруг словно застыло, и даже у землянки – никакого движения. Собака смотрит, не мигая, глаза слезятся. Земля под ивами противно горяча, да и сами деревья еле держатся, накрепко переплетясь корнями. В попытке достать влагу, Собака роет землю лапами, но почва – сухая и твердая, как камень.

Собака не знает времени. Она не умеет отличать прошлое и настоящее, сравнивать вчера и сегодня. Сегодня – и степное запустение, и то – давнее, давнее. Сегодня, как вчера и завтра, как каждый день, что начинается для Собаки с поисков воды и пищи, а заканчивается только, когда удастся заморить червячка и промочить язык. Иногда хозяева землянки становятся добрее, дают похлебки в помятой миске, но чаще гонят пинком прочь, и Собака после грустит, долго грустит.

Она знала людей по голосам, по землистым оттенкам пестрой одежды, только никак не понимала их дел. Ничего не ведала Собака и о своих братьях, не ощущала их отсутствия и не тосковала по ним. В условный час псина выбиралась из ивовой заросли, обнюхивала сухое русло оврага, короткими прыжками добиралась по валунам до землянки и скулила, вытянув морду вверх. Просить по-другому Собака не умела.

Так и жила Собака в надежном ивовом укрытии, изо дня в день наблюдая лишь враждебно шипящих змей, трусливо бегающих ящериц и сменяющих друг друга людей с изменчивыми повадками. Собака и не догадывалась о другой жизни, более легкой и красивой, и для счастья ей вполне хватало удачи найти еду и питье. Она не ощущала привязанности к человеку, потому что жила рядом, но не вместе с ним. Не имеющая навыков охотника, сторожа, защитника, а потому ненужная людям, Собака не уходила только потому, что в пустынной степи иной кормежки не найти.

На земле давно не работали, не сеяли, не жали. В степи ни зер-

нышка – ни птиц, ни грызунов. Что люди? Им хватаем ума устроить жизнь, наладить быт, всего лишь используя собственный труд. А другие твари, живущие в степи? Они не умеют трудиться, они не такие сильные, как люди. Собака, живущая рядом с людьми, змеями и ящерицами, – самая слабая, ее гнали и гнали, а она все равно оставалась. Не только из-за еды: еще Собака боялась змей.

Она часто и напряженно наблюдала за существами, не ведая, что они именуются людьми, и не понимая, чем они занимаются. Она никогда не переходила на ту сторону, за блиндаж, где размещались позиции, и главенствовало оружие. Да и зачем? Ведь только с этой стороны подъезжала через день круглобрюхая машина. Собаке всегда хотелось тут же подбежать, но она знала, что сейчас нельзя, не то существа выскочат из землянки и отгонят камнями. И она терпела в ожидании своего часа и стойко переносила запахи дымящегося вара.

Когда приходит время обеда, люди добреют, и тогда уже можно выбраться из укрытия, пересечь овраг и заскулить перед землянкой. Собака никогда не ошибалась – в такую минуту ее не гнали и давали еды.

На мосту тишина. Собака оглядывала залитые солнцем опорные бетонные столбы. Очень давно или совсем недавно она наслаждалась прохладой, когда, перехватив косточку и напившись, располагалась отдохнуть в их тени, радуясь порывам сквозного ветра – редкого, почти эпизодического. Вот если б речка не высыхала летом, а текла бы себе, журчала, сливалась с большой рекой, впадающей в большое далекое море... Возвращаясь, она приносила бы ветер, благостный и единственно способный успокоить летнюю жару. Но из всех земных благ Бог отвел Собаке лишь скудный мелколиственный ивняк, сухое русло оврага и мертвое запустение степи, той степи, что стала границей противостояния. Грань, по обе стороны которой – войска противников, ожидающих, кто первым начнет то, что прервалось годы назад, прервалось, но не завершилось...

А сегодня, с самого утра – непонятная тишина, странное мертвое спокойствие. Ничего не происходит. Собака залегла в укрытии, водит напряженным и растерянным взглядом вдоль земляного вала и ничего не понимает. От заливки по всему хребту бьет мелкая дрожь, когти царапают твердую почву.

Может рвануть туда? Но страх сдерживает Собаку. Взор перекидывается на затопленный солнечным светом высокий мост. Он магически притягивает воспоминаниями о воде и прохладе. Но и там сегодня что-то не так, что-то случилось.

Разогнав лапой мошек, атакующих морду, псина выглянула из убежища. Участок напротив магистрали ожил. У земляного вала началось движение, откуда-то сзади раздался грохот, и в ноздри ударил запах гари. Собака в панике подалась обратно в укрытие и сжалась в комок.

Здесь не нужен календарь. Жара или холод, ветер или затишье, снег или дождь – не имеет значения. Течение времени измеряется лишь приходом новобранцев и отъездом дембелей, весной и осенью. Люди в окопах сменяют друга, и постоянное соседство Собаки настолько неважно, что почти не замечается.

Противник рядом, его присутствие не всегда молчаливо. Он напоминает о себе снайперскими обстрелами, и тут не до собаки, нет возможности ни приласкать, ни приучить. О ее существовании вспоминали только, когда она сама раз в день появлялась и жалобно скулила перед кухней. Заглотив черствый хлеб, выхлебав черпак чечевицы и воды, которой мыли посуду, Собака убиралась восвояси, уже не показываясь до следующего обеда.

Солдатам раздали сухой паек, новые маскировочные халаты, приказали тщательно побриться, освежить подворотнички и начистить ботинки. Отдельного участия удостоились снайперы. По окопам расползались догадки и недомолвки. Сержанты намекали о визите высоких гостей, но вопросы, кто именно и зачем приезжает, оставались без ответа. Наверняка знали одно – на определенном участке передовой линии разминирован узкий коридор.

На рассвете все были на местах. Снайперы заняли позиции по обе стороны магистрали. Они получили приказ держать мост под прицелом. Два параллельных мосту участка отметили желто-красными лентами.

Грохот и запах гари усиливались. Собака прижималась к окаменевшей, потрескавшейся земле.

Со стороны заброшенного села надвигалась колонна машин. Впереди шел «УАЗ», следом – два джипа со знаками ОБСЕ, замыкали ко-

лонну несколько автомобилей марки «Нива». С магистрали машины повернули на грунтовую дорогу, ведущую к оврагу. Проехав через высушенную летним солнцем лощину, автоколонна остановилась у земляного вала, там, где стоял круглопузый водовоз.

Командир наспех выслушал доклад дежурного офицера, отдал краткие распоряжения и спустился в траншею. Остальные последовали за ним. Одновременно с другой стороны линии противостояния полевые командиры и еще несколько человек, составляющих посредническую миссию, также сошли в окопы. Они подъехали к позициям из Барды, куда прибыли на вертолете из Баку. Командирам направлений противоборствующих сторон предоставили частоту для связи с целью предотвращения и исключения возможных инцидентов.

Проход для посредников открыли в заминированной «нейтральной зоне», однако не существовало никаких гарантий, что дальнейшее картографирование местности соответствует реальности. Кто знал тогда, во время войны, что годы спустя на каком-то участке станет необходимостью коридор для высоких гостей?! Минировали, как могли, насколько хватало знаний и навыков, насколько требовала ситуация, чтобы обеспечить безопасность. Работал один принцип: максимально ограничить возможности передвижения противника, прибить его к окопам, лишить маневренности. Заминированные территории стали самым действенным фактором сдерживания, почти нейтрализуя опасность вылазки разведчиков и диверсантов. Хотя, все случалось, и на тыловые позиции друг к другу попадали, но это не любят афишировать ни там, ни здесь.

Командиры сторон холодно поздоровались. В этих мужчинах, одетых в походно-полевую маскировочную форму сторонний наблюдатель вряд ли смог бы разглядеть представителей враждующих армий. Посредники в бронежилетах поверх гражданских костюмов изрядно вспотели. Согласно протоколу, в подобных случаях принято нивелировать враждебность, подавлять отчужденность: с той стороны в холодильных ящиках принесли булочки, начиненные икрой, а с этой – подняли на участок моста пару дюжин еще холодного пива «Киликия».

Командир взял булочку с икрой, взамен передал бутылку пива, предварительно сделав глоток. Офицер противника поднес бутылку

пива к губам, немного отпил и закусил булкой. Посредники захлопали. Потом они сняли бронежилеты, вытерли салфетками пот, стали обмахиваться белоснежными носовыми платками. Допущенные к миссии журналисты, конечно же, мечтали запечатлеть на пленку столь редкий эпизод, однако на передовой линии любые съемки расцениваются как шпионаж в пользу одной из сторон.

Церемония завершилась. Командиры направлений сдержанно пожали друг другу руки и разошлись. Посредники поблагодарили сопровождение с той стороны и последовали в окопный ров. Солдат на позиции стоял вытянутой струной. Один из членов свиты протянул ему булочку с осетровой икрой, но тот даже не взглянул на угощение.

Покинув траншею, посредники обогнули землянку, расселись по джипам со знаками ОБСЕ. Командир направления направился к «УАЗу», остальные – к «Нивам».

Солнце застыло в зените.

Один из «Нивы» задержался у водовоза, открыл кран. Вода, неприятно теплая, наполнила вытянутые ладони. Он плеснул пару раз в лицо, но, заметив, что колонна двинулась, поспешил к машине.

Командирский «УАЗ» уже одолел иссохшую впадину, а вода текла из брюха водовоза обильными струями. У землянки – безлюдье.

...Собака рванула из убежища и бросилась по раскаленным валунам к машине с круглым пузом.

Тот, опоздавший, усевшись в машину, невольно оглянулся назад. Он заметил, как Собака сделала на бегу короткий прыжок, неожиданно ударилась оземь и покатила по крутому склону.

– Что за собака? Что-то случилось? – встревожился опоздавший пассажир.

– Подумаешь, собака! Подстрелили, наверное, – глядя в боковое стекло, равнодушно сказал водитель и переключил автомобиль на третью скорость.

Командирский «УАЗ» въезжал на магистраль.

Овраг – сухой. Собачья шерсть – землистого цвета...

*Перевод Ашота Бегларяна*



Родился в 1964 году. Окончил физический факультет Ереванского государственного университета. В 1989 году защитил в Москве диссертацию на соискание ученой степени кандидата физ.-мат. наук. Декан инженерного факультета Арцахского государственного университета. Живет в Степанакерте.

1

Ей было 97 лет, ему, праправнуку – 3 годика. Природа в вечном стремлении к разнообразию постаралась на славу. Нанэ – худая, сгорбившаяся под непосильным грузом долгой и тяжелой, полной горя жизни, с потемневшим до черноты лицом и потускневшими, насухо выплаканными глазами. И Малыш – розовощекий крепыш, светлое личико которого с большими голубыми, казалось, смеющимися глазами, излучало красоту и радость жизни, не знавшей лишений и печали.

И все же было в них нечто схожее – удивительная взаимная привязанность. Ей, выносившей двенадцать детей, девять из которых умерли в раннем детстве от болезней и недоедания, казалось, что Малыш послан ей Богом в утешение под конец жизни. И она любила его всеми силами готовящейся покинуть брренное тело души. Он, не избалованный вниманием вечно занятых и куда-то спешащих родителей, не представлял своей жизни без нее. Они были неразлучны. Шла ли она в магазин за хлебом – он плелся сзади, ухватившись ручкой за платье нанэ; поднималась ли она в курятник на холме – малыш и тут не отставал, неся за ней ведро с водой. Даже спать он старался вместе с нанэ, привыкшей ложиться с наступлением темноты. По вечерам они гуляли вместе, и ей нравилось, несмотря на усталость, нести его на руках. И он, всегда непоседливый, замирал, умиротворенный, прижавшись щечкой к ее морщинистой щеке. Его детский лепет, тепло и покой, веявшие от него, как рукой снимали с нее усталость. В памяти всплывали эпизоды из ее долгой жизни, почти всегда – печальные. Но с Малышом на руках боль воспоминаний смягчалась, и она могла спокойно “общаться” с далекими и близкими образами родных ей людей. Одного за другим вспоминала она детей своих, так и оставшихся детьми, и, словно защищаясь от боли, прижималась к малышу, еще крепче сжимая его в объятиях. В такие минуты Малыша охватывало какое-то странное чувство страха и он, выскользнув из объятий нанэ, с еще большей энергией принимался за свои шалости. Но ни она, предававшаяся воспоминаниям, ни он, поглощенный игрой, не упускали друг друга из поля зрения, словно боясь разорвать связующую их невидимую нить.

... Это чувство возникло у нее задолго до случившегося. Болезненное ощущение надвигающейся беды, подсказываемое ей обострившимся от частых потерь материнским инстинктом, охватывало ее все чаще и, наконец, затопило ее душу безысходностью и паникой, не отпускающей уже ни на одно мгновение.

Всю ночь она не сомкнула глаз, словно выглядывая подступающую беду. Чуть свет поднялась она с постели, решив, что за домашними хлопотами избавится от тягостных мыслей. Вид безмятежно спящего Малыша немного успокоил ее. Как всегда, быстро и ловко справившись с хозяйственными делами, она пошла будить Малыша, но застала его проснувшимся и весело теребившим в постели игрушечного пингвиненка. Позавтракав и с особой осторожностью помыв посуду, они вышли прогуляться. Быстро утомившись от необычного в столь ранний час зноя, они направились во двор к вековой липе, в тени которой любили отдыхать. Благодатная прохлада под могучей кроной липы быстро оживила приунывшего Малыша, и он, найдя в песке забытый вчера мячик, увлекся игрой. На нанэ же прохлада подействовала, наоборот, умиротворяюще. Ночные страхи исчезли, и все сильнее стала сказываться усталость после бессонной ночи. Наконец, не удержавшись, она вздремнула, прислонившись спиной к стволу липы. Усталость тяжелой и липкой массой проникла во все клетки мозга, заглушив даже неистребимую и ставшую характерной чуткую настороженность.

Спала она минут пятнадцать. Темная, навсегда утратившая краски жизни кожа на лице ее своей безжизненностью напоминала об уже не столь отдаленной участи. Смерти она не боялась. Своей смерти! Лишаясь родных и близких, лишилась она тех точек опоры, что удерживают простых смертных на этой земле. Мечтам, желаниям и надеждам уже давно не было места в ее раздумьях. В них все чаще реалии жизни уступали засасывающим душу воспоминаниям. Душа ее, закончившая круг пути своего в этом мире, все чаще оглядывалась назад, к истокам, ибо едины Начало и Конец.

... Проснулась она словно от толчка. Сознание еще не освободилось от пут сна, а ужас, вобравший в себя все страхи предыдущих дней, разлился по всему ее телу. Еще не оглядевшись, она почувствовала, что Малыша нет во дворе. Словно магнитом ее потянуло к арке, ведущей на улицу. Мысль о том, что Малыш мог быть где-нибудь поблизости или пойти домой, проскользнула, не получив никакого вни-



мания.

Какая-то сила потянула ее к улице. С замирающим сердцем взглянула она на улицу, готовясь увидеть там нечто ужасное. Что именно, нанэ не знала, ибо за все эти дни мучительных страхов и переживаний, она не позволяла себе в своих раздумьях зайти дальше беспредметных картин и ощущений. Даже сны ее выливались в неясные кошмары, от которых она просыпалась в холодном поту, но не помня никаких деталей. Увидев Малыша, бегущего за мячом в 15-20 метрах вниз по пустынной улице, она позволила себе второй раз за день успокоиться, убедить себя в беспочвенности своих страхов. На залитой солнцем улице не было видно ни машин, ни пешеходов. Она позвала Малыша, настраиваясь как можно строже пожурить его. Но голос ее утонул в звуке динамика, возникшего за поворотом вниз по улице метрах в ста от арки. “Наверно, где-то поблизости установили репродуктор, теперь спокойно спать не дадут”, – подумала нанэ. Но звук становился все громче и, что самое странное, ближе. “Граждане степанакертцы...” – разобрала она с трудом, вместе с тем пытаясь разглядеть, откуда же доносится звук. То, что она увидела в следующее мгновение, заставило ее непроизвольно сжаться. Рука ее взметнулась вверх, словно защищаясь от очередного кошмара. Из-за поворота выскочил БТР с установленным на нем репродуктором. “... Ввести чрезвычайное положение...”, – услышала она слова сафоновской пропаганды.

Еще мгновение она стояла в оцепенении, стараясь осознать происходящее. Затем все пришло в движение с головокружительной скоростью. Несколько раз взгляд ее переходил с БТР на Малыша, с каждым разом это происходило все быстрее, ибо расстояние между машиной и Малышом, бегущим ей навстречу и видящим только свой мячик, все уменьшалось.

– Малыш, – позвала изо всех сил нанэ, но голос, казалось, вместе со сжавшимся в комочек сердцем, провалился куда-то вовнутрь, и она издала лишь хриплый звук. “Ну вот, свершилось, – с тоскливым отчаянием подумала она. – Но почему не я, Господи?” Искорка надежды вспыхнула в ее сознании, взорвав и разнеся в клочья все страхи и тревоги. Она бросилась за Малышом, словно не было за плечами тяжелого груза лет. Она бежала, как в бытность девчонкой, когда имя Господа было у нее на устах и вера еще жила в душе... Но расстояние между Малышом и не сбавляющим скорость БТР уменьшалось быстрее, чем между ней и Малышом. “Господи, помоги!” – впервые

за десятки лет безверия взмолилась она. И слова ее, словно услышанные, вернулись к ней приливом сил и надежды. Нанэ уже догоняла Малыша, но темная громада БТР уже нависла над ним. Только тут Малыш, подобравший, наконец, свой мячик, заметил машину. В ужасе он оглянулся, пытаясь определить, в какую сторону отскочить. Взгляд на миг нашел нанэ. Потемневшие от страха глаза Малыша на миг засветились надеждой. Но он сделал то, чего ни в коем случае не должен был делать – бросился к нанэ, инстинктивно ища спасения у нее. Запоздалый визг тормозов полоснул по ее сознанию, и возникшая было надежда вновь уступила отчаянию. Явственно послышался ей горький плач оплакивающих сыновей карабахских матерей, так часто в последнее время слышный то в одном, то в другом конце города. Словно со стороны увидела она себя, склонившуюся над гробиком очередного своего ребенка, из-под толщи прошедших лет прорвался надрывный плач ее и, слившись с визгом тормозов, грохотом наезжавшей на них машины, на мгновение помутил ее сознание. “Только не Малыш!”, – вновь пронеслось у нее в голове. Легкая и светлая тень почудилась нанэ, обволакивая ее каким-то магнетизмом, проникая в сознание надеждой и решимостью. Неведомая сила подхватила и подтолкнула ее вперед. Словно пушинку оторвала она от земли и отбросила в сторону онемевшего, ничего не понимающего Малыша. Глухой звук от удара маленького тельца о землю раздался одновременно со стуком от удара брони по иссохшему телу нанэ. Она отлетела метров на 5-6 назад, но взгляд ее не отрывался от Малыша, упавшего на землю за асфальтом. “Слава Богу, он поднимается!”, – подумала она и, ударившись головой об асфальт, потеряла сознание.

### 3

...Больше нанэ не поднималась с постели. Только раз она позволила отвезти себя в больницу на обследование, где у нее обнаружили опухоль в мозгу. То ли от удара об асфальт, то ли от сверхчеловеческих переживаний. Каким-то величавым спокойствием веяло от нанэ, просветлевшее лицо ее то ли от болезненной бледности, то ли от внутреннего света, исходившего из нее, все больше сливалось с фоном белой подушки. Осунувшийся, с потемневшим от переживаний лицом Малыш не отходил от нее ни на шаг. Окружающие с удивлением замечали, как они вдруг стали похожи друг на друга...

Оставаясь наедине с нанэ, обычно немногословный Малыш брал ее за руку и говорил, говорил, словно стараясь вернуть ее мысли к себе, в свой мир, ставший для нее уже чужим. Но нанэ только смо-

трела на него ласковым, все понимающим и все решившим взглядом. Иногда глаза ее наполнялись слезами, но это были слезы радости за живого и невредимого Малыша.

...Умирала она спокойно, тихо позвав домочадцев, окинула их прощальным взглядом. С большим усилием повернула она голову к прильнувшему к ней Малышу и поцеловала ему ручку. Губы нанэ прошептали что-то неслышное, не то молитву, не то прощальные пожелания, хотя в чистой душе ее все это было едино.

...Свет от выглянувшего из-за облака солнца залил комнату, где собрались домочадцы.

В режущей уши ночной тишине отдыхающего от дневных бомбежек города зародился звук, медленно нарастающий в шум работающего двигателя. Малыш чуть-чуть приподнял голову от подушки и прислушался. “УАЗ”, - безошибочно определил он, и маленькое сердечко забилося учащенно и так громко, что заглушало шум мотора. “Тише!” – сердито подумал Малыш, пытаюсь по звуку определить, замедляет ли ход машина, чтобы свернуть к ним во двор. Шум машины стал затихать, и маленькое сердечко, кажется, замерло, тоже прислушиваясь. Весь сжавшись в комочек, Малыш мучительно загадывал, проехала ли машине или свернула за угол здания, где ее почти не слышно. “ Кажется, машина заехала во двор”, – возбужденно подумал Малыш и уже взялся за край одеяла. Словно спринтер, ждущий выстрела стартового пистолета, ждал он, чтобы хлопнула дверца машины.

Ну же! – вырвалось у Малыша. Ему так не хотелось в третий раз за ночь понапрасну выскакивать из теплой постели на запрошенную снегом холодную лестницу. Мгновение, еще мгновение... Он посмотрел на бабушку, спящую рядом и не слышавшую шума машины. Свет от луны, так хорошо видный в окошко, па-

дал ей на лицо, и ему показалось, что она плачет.

–Нанэ, – тихонько окликнул он ее. Не дождавшись ответа, малыш вновь уже со слабеющей надеждой стал прислушиваться к двери. “Наверно, отец осторожно прикрыл дверцу, чтоб никого не разбудить,” – счастливая мысль словно пронзила его током, и он, отшвырнув одеяло, вскочил с кровати. Забыв даже надеть тапочки, он бежал к лестнице. До предела возбужденное сознание уже рисовало темный силуэт “УАЗ”а во дворе и стоящего в свете его фар отца, высокого, сильного и красивого, с пистолетом на боку, из которого он обещал дать ему выстрелить, когда ему исполнится шесть лет, ну, и если он не очень будет огорчать бабушку и мать своими шалостями.

Малыш еще не добежал до двери, выходящей на лестницу, а сознание уже скатило его кубарем по лестнице и бросило в объятия наконец-то приехавшего отца. Он даже почувствовал, как укололи его щечку усы отца: почувствовал ставший уже привычным запах пороха и дыма...

Малыш выбежал на лестницу и остановился, как вкопанный. Ночная тьма и тишина разом вернули его к реальности, сбросили с него полы тулупа, которым отец, казалось, только что прикрывал его. Он стоял на холодной площадке лестницы и чувствовал, как мороз проникает в его детскую душу через босые пятки; как этот темный, холодный и враждебный мир, так часто пугающий его глухими разрывами бомб и снарядов, проникает в его детскую душу своими ледяными щупальцами.

... Чьи-то теплые и ласковые руки легли сзади на его плечи. Он вздрогнул от неожиданности и, обернувшись, увидел мать. По ее покрасневшим и печальным глазам Малыш понял, что она плакала. У него самого защипало в глазах, и он готов был рыдаться, уткнувшись лицом в живот матери. “Ты остаешься за мужчину в доме”, - вспомнил он вовремя слова отца, который говорил ему каждый раз, уходя в бой. Пряча налившиеся слезами глаза, Малыш проскользнул мимо матери и прошел в спальню.

Подошла мать, села рядом на кровать и тихо сказала:

-Закрой глаза и спи.

Но Малыш смотрел на нее с каким-то отчаянием, ожидая, что она вот-вот добавит: “Утром отец придет”. Ей самой хотелось

проговорить эти слова, но что-то помешало ей высказать их.

Малыш повернулся к окну и грустно подумал, что из-за этой войны отец так редко бывает дома и уже давно они в безудержном веселье не гоняют мяч во дворе, не зачитываются книжками о храбрых богатырях.

С горечью вспомнил Малыш, как утром, уезжая, отец заглянул к нему поцеловать его, а он, обиженный на очередной отъезд отца, притворился спящим... И, не удержавшись, заплакал.

... Спал он недолго и проснулся от далеких, едва слышных разрывов. Он сразу же вспомнил про отца и прислушался, не слышно ли его. Потом выбрался из кровати и неслышно пробрался к родительской спальне в последней надежде увидеть его там. Отца не было!

Забравшись в кровать бабушки, Малыш дал волю слезам. Он плакал, и боль попеременно с отчаянием, переполняла его маленькое сердечко. Оно трепетало и содрогало в рыданиях хрупкое тельце Малыша, словно приняв и не вместив всю ту боль, которая в этот миг маленьким кусочком свинца пронзила большое и любящее сердце отца. Подошла бабушка и, подумав, что он плачет во сне, лишь тихонько поправила не нем одеяло.

... Проснувшись, Малыш молча оделся и пошел в сарай за дровами.

Он теперь за мужчину в доме...



Родилась в 1959 году. Драматург, сценарист, прозаик. Автор книги «У пейзажа не достает теплоты» (пьесы и рассказы). Лучший сценарист Грузии (2000). Лауреат премии им. Михаила Туманишвили за пьесу «У пейзажа не достает теплоты» (2007). Четыре звезды на Эдинбургском международном театральном фестивале за пьесу «Платье» (2007).

Живет в Тбилиси.

Я Платье, и я очень хочу написать свой дневник. Дневник я пишу первый раз. Опыта у меня нет... Я даже дат не ставлю. Так что прошу простить меня, если что-то напутая. Я уже сказала, что я Платье, но иногда подобных мне называют – Сарафан. Сшита я из натурального черного шелка с вплетенной в него тонюсенькой серебряной нитью. Узкое в плечах, на тонких бретельках, я едва достаю колен. А по бокам два незаметных шва. На первый взгляд, это может показаться неважным, но хорошую фигуру я как бы обтекаю собой, делаю ее более изысканной и стройной.

И еще, меня можно не гладить. Я совершенно не мнусь, всегда держу форму и выгляжу прекрасно.

Забыла сказать главное – я родилась в Париже! Потом эмигрантская судьба забросила меня в холодную Москву, я навсегда лишилась родины, подзабыла язык, но до сих пор одного взгляда достаточно, чтобы понять – я француженка!

Главная моя любовь – классическая музыка. Без нее не живу ни секунды. Всегда что-то напеваю про себя. Вот и сейчас: та-та-та-та, там-там-там таа... Узнали? Вторая часть второй симфонии Бетховена... Не будь я Платьем, обязательно стала бы Скрипкой. И не только по тому, что мы фигурами схожи. В нас обеих всегда живет музыка.

Когда я была еще в магазине, все входящие обязательно касались меня пальцами, гладили ладонью... Не скрою, это было приятно. И хотя рядом на вешалках висели более удачливые подружки, на меня обращали особое внимание. Естественно, я же француженка. Замечали не только по этому. Мне казалось, что некоторые слышали музыку внутри меня. Как сейчас, говорю с вами, а внутри звучит рапсодия Листа...

Скучно висеть на вешалке... И язык их не понимаю. В другом конце зала висит еще одна француженка. Ярко-красная, с длинными рукавами. Она довольно мила, но делает вид, что не замечает меня.

Рядом со мной остановились две девушки. Боже, какими глазами одна из них смотрит на меня! Очаровательная южанка. Зеленоглазая, смуглокожая, а в руках сумочка, как раз под меня. Смуглянка что-то говорит подружке. Видно, я ей понравилась. Подружки пошли к кассе... Неужели купят?! Сердце забилось часто- часто... Они о чем-то поговорили и вышли из магазина, бросив на меня прощальный взгляд через витрину... Эх, не судьба.

Ну, а к этой женщине я и сама не хочу... Я ей не по возрасту. Наденет разок и забудет меня в шкаф навсегда. Господи, потащила меня в примерочную... А духи у нее – ужас.

Нет, этой дамочке я не дамся... Что есть силы, обтянула ее нелепую фигуру... Выпятила ей дряблый живот, обнажила все морщинки на груди... Купит – назло ей разлезусь по всем шва... Ну, слава Богу, обошлось.

Не может быть! Зеленоглазая южанка снова появилась. Мы уединились в примерочной, и я не упустила свой шанс... Мягко обтянула грудь и бедра, обрисовала серебристыми нитями великолепную фигуру. Я поймала ее взгляд в зеркале и поняла, теперь нас ничто не разлучит.

Прощай Москва...! Мы прилетели в другой город. Он заметно меньше, но гораздо теплее.

Меня везде встречают с восторгом, и я как истинная француженка держу форму!

Мою хозяйку зовут Тата. Ее подружки не в восторге от меня. Им теперь нравится все американское. Говорят, это больше в моде... в моде?!

Бедняжки, они не знают, что основоположники истиной моды – мы, французы. Зато мать Таты была очарована мной. Особого значения это не имеет. Главное, мы с Татой очень нравимся, друг другу. Часто бываем вместе... Увы, пока только дома, перед зеркалом.

Грустно... В такие минуты навязчиво звучит Дебюсси. А в голову почему-то лезет какой-то Франсуа Рабле... Франсуа Рабле. Не помню, кто он... Видимо, что-то ностальгическое накатило... И уж со-



всем сумасшедшая мысль – погулять на пикнике... Это не мое дело. А джинсы, что висят за мной, чуть сами из шкафа не выскочили, когда слышали про пикник... Ха-ха-ха, теперь жду не дождусь, когда вернутся и расскажут мне новости. Франсуа Рабле... Франсуа Рабле...

О Боже, я такая пьяная, как бы с вешалки не упасть. Как это было прекрасно! А у этих джинсов, действительно, ни какого вкуса. Отличный парень, он так нежно прижимался ко мне?! И комплименты мы с Татой получили почти поровну... В танце его рука скользнула к груди, но Тата не позволила прикоснуться. Думаю, из-за силиконового лифчика. Ненормальная, зачем он ей? Красивую, аккуратную грудь, как девчонка, увеличила силиконом. А сколько мы танцевали... Музыка, правда, была громковата. Я все время ждала вальса, представляла себе, как закружусь... та-ра, тара, рам-там-та... тара-ра-тара-рам-там-там... Оказалось, в этом ресторане не умеют играть вальс.

Сегодня на свидание пошли джинсы. В гардеробе нас уже не выносят. Разносят глупые сплетни, а между нами, ну, совсем ни-че-го. Могу поклясться... Только дружба.

Ой, меня сняли с вешалки?! Это подружка Таты, Ани... А говорила, что я ей не нравлюсь! Ладно, пойду, черт с тобой... Я так давно не выходила в люди. Все лучше, чем пылиться в гардеробе. Эта Ани отчаянно веселая девчонка. Целый вечер танцевала с ней, как безумная... А наелась так, дышать не могла. И кофе перепила. Сердце чуть не выскочило. Пришлось обрызгать меня холодной водой. Нет, так вести себя мне не подобает. Как ни как, я – француженка!

... Второй день вишу на веревке, осматриваю двор. Соседи от меня в восторге. Я давно высохла, но в дом не хочется. Ночью только немного страшно...

Я вся на нервах. Тата меня совсем забросила. Ругается с матерью. Ушла, хлопнула дверь, мать плачет... Я поняла, что всему виной парень, с которым мы были в ресторане. Не думала, что джинсы окажутся правы – тот парень на первом же свидании им не понравился... «Травиата» Верди прицепилась, не отстаёт. Не могу понять, почему людям нравится итальянская опера, когда есть Моцарт или, наконец, Вагнер...

Вчера джинсы не вернулись домой. Мать Таты всю ночь провела у окна. И я с ней не спала. Какой тут сон...

Утром с джинсами я не встретила. Наверно, их оставили в ванной. Мать с Татой не разговаривает. В приоткрытую дверь гардероба вижу часть Татиной кровати. Делает вид, что спит, отвернувшись к стене, а глаза открыты. Вокруг такая напряженка, даже сердце замерло. А мои соседи, любители посплетничать, готовы выскочить из гардероба от любопытства. Джинсы так и не появились. Поэтому не знаю, что происходит.

Мы с Татой опять вместе. А вот и Он – машину останавливает. Настроение у всех ужасное.... Неважно, в ресторане всегда хорошо, правда? Музыка, и все такое...

Похоже, едем не в ресторан, а куда-то за город...Осторожно выглядываю из-под плаща, пытаюсь понять, куда едем, и слышу: – Сарафан зачем надела?! Это он обо мне, представляете! Тата стала оправдываться, думала, в ресторан едем. И я так думала. Насильно никому не навязывалась. Этого не хватало! Пикники вообще не мое дело.

Пустой дом... Холодно. Кажется, не стоило сюда ехать. Никогда не чувствовала себя так неловко. Он растопил камин, откупорил шампанское. Если не выпью глоток, судороги начнутся...

Эх, отличное шампанское. Если спросить меня, все хорошее придумано французами. Надо сделать пару затяжек. Курю я редко, но хорошая сигарета – это так сексуально.

Ха-ха-ха-ха-ха, шампанское побежало по жилам.. Ух, расслабилась в кресле, пришла в настроение, тара-тара, тара та та та, Бетховен, это конечно совсем другое. Накатывает волной, перехватывает дыхание.

Я опьянела, камин потрескивает... шампанское... что-то нашептывает... слов не слышу. Но его дыхание мне приятно... Теперь я понимаю Тату, что бы там джинсы не говорили. Нас с Татой отделяют друг от друга. Я, вывернутая на изнанку, брошена в сторону, на кресло. Я не знаю, как это назвать, как описать. Не знаю, потому, что... не знаю... лучше поставить... многоточие... точка... точка... точка... точка... точка.....

Я снова на своем месте. Тат, второй день со счастливой улыбкой валяется в постели. Ее мать нарочито гремит посудой, хлопает двер-

цей гардероба... Взяла меня в руки и почему-то обнюхала. Интересно, что ей от меня нужно? Джинсы умирают от любопытства, но ни о чем не спрашивают. И я молчу... На улице бесконечный дождь. Наверно, свой двенадцатый этюд Шопен написал в такую погоду.

Мне очень грустно. Тата меня совсем забыла. Постепенно пере-мещаюсь все глубже в шкаф. Интересно, в чем я провинилась? И она ходит грустная. Все прислушивается к телефону. Стоит ему зазвонить – несется, как сумасшедшая. Выждет несколько звонков, снимет трубку, и спокойным голосом отвечает – «Алло?»... Она повторяет «алло», и я сразу понимаю, это не Он.... Что же случилось?

По дому ходят люди в белых халатах, куда-то увозят мать... Тата возвращается поздно, сидит, не раздеваясь, у стола и курит, курит сигареты одну за другой... Джинсы говорят, Тату не пустили туда, где лежит мать. Ненавижу пятую симфонию Бетховена. Думаю, и сам он не любил ее. Эта симфония продиктована предчувствие беды... Дуду-дуду – звучит, как страшны стук судьбы.

У Таты совсем потухшие глаза, и мать ее давно не вижу. А вчера Тата задернула шторы и стала примерять подряд все платья. Когда дошла очередь до меня, все стало ясно. У нее так подросток живот, что джинсы вообще не застегнулись.

По дому ходит много людей... В гардеробе полно черной одежды. Мне страшно... Мать Таты я так и не увидела...

Уже почти год друзья Таты таскают меня туда-сюда. Ночами не сплю. То один меня оглаживает, то другой...

Устала...

Только бы не передарила...

Послышался детский плач... Или показалось?

Нет, определенно ребенок плачет. Чудесный голос. Интересно, кто он?

Целый год из дома ни ногой! Привыкла бесцельно болтаться по улицам, уж лучше так, чем сидеть дома. Кажется, наступила весна... Эх, сколько бы я не болтала о своем происхождении и очаровании, в конце концов, я только платье. Таскают меня, таскают, а в один прекрасный день

выкинут. Тем не менее, надежду не теряю. Я совсем не выцвела, не свалялась, и морщинки ни одной нет. Джинсы говорят, что такие, как мы, никогда не выходят из моды. Он, как и я – оптимист.

Последнее время я утвердилась в мысли, что гораздо лучше было быть скрипкой. Тогда можно было бы петь не внутри себя, а открытым голосом. Та-та-та-та-та-та-та-та... Почему симфонию Шуберта называют «Неоконченной»? Для меня она – законченное совершенство. И не пытайтесь добавив к ней хоть одну ноту.

Ой! Кто это? Малюсенькая ручка открывает дверь гардероба: узнала... вы только посмотрите на нее... очень похожа на мать. Такая же зеленоглазая. Подойди... подойди... хочу погладить тебя по головке. Испугавшись, неожиданно захлопывает дверь, прищемив меня... потом возвращается, и начинает тянуть меня изо всех сил... сумасшедшая, дверь сначала открой... Подожди, помогу. Ух, ты, какая сила у этой козявки... и оба покатались на пол.

Плачет...

Испуганная Тата влетает в комнату, подхватывает малышку на руки, а я валяюсь на полу и смеюсь... Малышка, всхлипывая, засыпает на руках. Тата укладывает его на кровать и сама пристраивается рядом... Наконец, и меня заметила. Встала, подняла с пола, понесла к гардеробу, остановилась и неожиданно сорвала с себя халат... Господи, как давно мы не были вместе. Крутимся перед зеркалом, как тогда, в первый раз... Формы изменились, стали более совершенными, и грудь увеличилась... Что правда, то правда, так я никогда не нравилась себе. Глаз от зеркала отвести не могу.

Ты на нее посмотри! Маленькие ручонки уверенно открывают дверь гардероба, и тянут так, что бретельки мои могут порваться... Лучше уступлю, все равно стащит.

Эта меленькая козявка настоящая женщина. Ловко накрутила меня на голову, оступилась, и мы обе чуть не шлепнулись на пол. И чего она среди стольких платьев именно ко мне прицепилась. Может, из-за серебряных нитей? Нет, серебряные нити ни при чем, дети очень непосредственны, понравилась я ей, вот и все. Что бы спеть, чтоб ей понравилось? Ра, ра, ра и вау? Сама начала петь... Вопит, как сумасшедшая... Она прекрасна, не правда? Стараюсь потихонечку отступить от нее... Тата! Тата! Помоги...! Я же говорила, упадем. Ну, где же ты столько времени. Эта маленькая сумасшедшая ушибла ногу, я не при чем!

В первый раз за все время Тата разозлилась на меня, засунула в пакет и забросила на самую верхнюю полку. Тут маленькие ручонки точно не достанут меня... Но мне что делать среди белья? Ничего не поделаешь, подчиняюсь судьбе.

Да, с бельем мне разговаривать не о чем. Классическую музыку белье не понимает! Сдвигаюсь в шкаф все глубже и глубже. Мечтаю встретиться хотя бы с джинсами.

Даже не знаю, сколько лет прошло... Сколько полок в шкафах я поменяла, сколько пакетов и даже домов... Только однажды у меня появилась надежда. Тата достала меня из пакета, взяла в руки ножницы... Что она собирается со мной делать?

- Ой, мама, покажи, что это!... Какое красивое платье!

Это же та самая маленькая козявка, я ее по глазам узнала. Сколько же ей теперь лет?

Я, наверно, лет пять-шесть света Божьего не видела. Как же она выросла... Тата стоит у зеркала.

- Ма, не режь платье, отдай мне, а?

Звенит звонок, кто-то к нам идет... Кажется, спаслась. Меня вернули на прежнее место. Не знаю, может, было бы лучше попасть под ножницы? Теперь мне на все плевать. Тут такая тоска, все время хочется спать. А что еще делать? Во сне я молодая, красивая. Ношусь, как прежде, то туда, то сюда. От меня все без ума, осыпают комплиментами. А я то безумно влюбленная, то страдающая от ревности. То счастливая, то несчастная. В общем, моя жизнь – это сон! Поэтому реальности гардеробной полки предпочитаю сон... Может, это знак старости? Но почему тогда у меня нет ни одной складочки, ни одной морщинки?!

Болтать, болтай сколько угодно, нет складок, нет морщинок! Ну и что? Кому это интересно? Главное, ты никому не нужна, а это уже... Не подумайте, что я нытик... Да, старею, ну и что? Это не причина для нытья! У старости тоже есть своя прелесть.

Миллион платьев мечтали бы прожить жизнь так, как я. Сколько было безумных приключений, сколько радости... Что тогда говорить постельному белью? Простыни дальше кровати вообще не бывали!

Война... В такое время стыдно быть платьем, да еще с серебряными нитями. Забиться бы в какой-нибудь угол так, чтобы все меня за-

были. Издалека доносятся выстрелы. Хорошо, что я в шкафу и ничего этого не вижу. Если бы еще не слышать этих страшных выстрелов... Жить не хочется. Все же, хорошо, что я не человек. Иногда мне их очень жаль.

Уверена, войну начинают люди, которые не любят классическую музыку. Невозможно любить музыку и затевать войны... Дурака валяю. Философия не мое дело. Я всего лишь обыкновенное платье... Мое место в шкафу...! Говорю, а в глубине души сама себе не верю. Не такая уж я обыкновенная...

Часто откуда-то доносятся звуки скрипки. Интересно, кто играет?

По моему, прошло очень много времени... Иногда кажется, все, что было, было не со мной. Одни фантазии. На самом деле – я платье, и только платье. Меня аккуратно сложили и забыли на полке шкафа.

Наверно, все именно так...

Глазам своим не верю...! С ума сойти, меня вспомнили. Господи, как сердце стучит... Это же та самая маленькая девочка! Сколько ей сейчас, пятнадцать-шестнадцать... Тата была такой же, только эта... гораздо красивее и выше. Тата с улыбкой смотрит, как мы с девчонкой крутимся перед зеркалом.

– Платье тебе очень идет, – говорит Тата, – но...

– Что но, мама? Хочешь сказать, что оно вышло из моды?

– Да, может быть, но тебе оно больше подходит, чем когда-то мне.

– Такие платья, мама, никогда не выходят из моды.

Она сказала это так убедительно, что я снова поверила в себя. Вспомнила, наконец, что я француженка. Настоящая француженка!

Не знаю, куда идем, но сердцем чувствую, что в какое-то необыкновенное место. До меня доносится тихий говор, выглядываем в щелку занавеса, и я первый раз в жизни совсем близко вижу скрипку...

За занавесом, кажется, сцена. Нет, не кажется, настоящая сцена! И оркестр! Скрипка! Глазам своим не верю, мы берем скрипку и выходим на сцену. Слышу громкие аплодисменты..., потом тишина.

И тише тишины начинает звучать пианиссимо скрипки. Скрипка совсем рядом со мной, и это пианиссимо я слышу первой. Вступил оркестр. Что это, а? Моцарт? Или Шопен? Но откуда у Шопена концерт для скрипки? Что со мной происходит? В глазах все рябит, кажется, теряю сознание...

Не знаю, что со мной произошло. Это было на самом деле или привиделось? Я слишком эмоциональна... не эмоциональна, а легкомысленна... Что поделать, я ведь... Что я ведь? Я думаю, что я платье... да, настоящее, черное... с тонкими, чуть поблескивающими в движении, серебряными нитями... Происхождение? Неважно... Главное, нигде ни одной складочки. Я это чувствую. Вообще, главное, это чувства. Сейчас я чувствую, что вишу на вешалке, и никаких других чувств.

Посмотрим, что случится потом... тра-та-та, тра-та-та...

*Перевод с грузинского Инги Гаручава и Петра Хотяновского.*



## **А**шот Бегларян

Родился в 1968 году. Автор нескольких прозаических книг. За второе место в литературном конкурсе, организованном Международным фондом «Великий Странник – Молодым», получил звание Магистра фонда (2006). В 2011 году повторно стал вторым призером этого же конкурса. В марте 2008 года награжден специальным дипломом открытого всеукраинского конкурса среди СМИ «Камрад, Амиго, Шурави».

Живет в Степанакерте.



– Вот уже целый час мы говорим о войне, но меня так и подмывает спросить: «А всё-таки, что такое война?»

Карен, боец отряда самообороны, устало посмотрел на молодого развязного журналиста, который находился на передовой впервые, а потому донимал его всевозможными вопросами.

– Можно по-разному определять войну, – не сразу начал Карен, старательно набивая табаком самодельный бумажный патрон. – Ну, к примеру, это грохот разрывов, шум моторов, боль, крики, страх и, наконец, смерть, вечно крадущаяся по пятам и выбирающая подходящий момент для того, чтобы выхватить тебя из жизни... Но всё это, пожалуй, лишь атрибутика войны, а сама смерть – наёмный служака и временная приспешница войны... О войне я думаю как о реальном существе и давно пытаюсь понять, а вернее, разоблачить это существо... Знаешь, на передовой и философом немудрено стать.

Карен взял уголёк из тлеющего костра, зажёт им самокрутку и глубоко затянулся. Почти треть сигарки вмиг превратилась в пепел.

– Недавно сон такой странный приснился, как раз в ночь перед боем. Снилось незнакомая мрачная местность. Кругом – тишина, вернее, какая-то приглушённость, словно после близкого разрыва артиллерийского снаряда. В небе абсолютно нет никакого движения: ни птиц, ни бабочек... Кажется, всё вокруг вымерло.

Затаив дыхание, слежу из окопа за пригорком напротив. Оттуда должен появиться воображаемый противник. Палец застыл на курке автомата, мышцы напряглись, какой-то липкий страх (хотя трусом себя не считаю) постепенно овладевает мною. Конечно, понимаю, что всё происходит во сне, однако это не успокаивает меня, наоборот, внушает, что враг, созданный во сне моей фантазией, будет необычен, чудовищен.

И вот, наконец, появляется он... Тощий, с хлипкими, словно плети, безвольно свисающими руками. Спускался он вяло и рассеянно-задумчиво по склону холма – совсем нестрашный, и даже вызывал жалость нелепым видом своим. С застывшим, словно у слепца взглядом, брёл он прямо на меня, ворча что-то себе под нос. Тут я не выдержал, встал во весь рост и расхохотался.

– Эй, раззява, прибавь-ка ходу! – крикнул я, в шутку целясь в

человечка.

Человечек вздрогнул от неожиданности, опешил, но, опомнившись, вдруг резко оживился, скривил губы в злорадной улыбке и, вытянув перед собой руки, готовый схватить всё, что попадетя на пути, пошёл на меня скорым шагом.

К глубокому моему изумлению, он увеличивался с каждым шагом, заслоняя собою горизонт, а когда приблизился вплотную (в это время я словно пригвождённый застыл на месте с онемевшим пальцем на курке), то с ужасом увидел перед собой не человека, а лишь частицу его – желудок, правда, громадных размеров...

Я полетел – сначала вверх, потом куда-то в бездну, в темноту, и не сразу понял, что нахожусь внутри этого Существа. В крошечной тьме бегали такие же, но крошечные желудочки на тоненьких ножках, с крохотными автоматами в руках – приспешники и слуги Существа. Наскакивая в темноте друг на друга (я наблюдал всё это как хозяин сна, видел себя как бы со стороны, сам оставаясь незамеченным для других), существа эти кричали: «Где он, где этот фраер с ружьем?!» И вот, с омерзением почувствовав чьё-то липкое прикосновение, за которым на вздохе облегчения последовал удовлетворённый, злорадный возглас: «Вот он! Я нашёл, я поймал его!» – я открыл глаза, и пробуждение вырвало меня из тьмы...

Карен затаился и, выпустив из себя дым, задумчиво посмотрел вдаль. За холмами приглушённо грохотала канонада. Тоненькие блики-змейки от разрывов рассекали холодное и безучастное небо...

– Если бы я сразу догадался, с кем имею дело, то, бросив автомат, бежал бы куда глаза глядят. Убежал бы ещё тогда, когда Существо только показалось из-за пригорка, было маленьким и хилым, не успело раздуться до невероятных размеров... Но было уже поздно: оно почуяло, увидело человека с ружьём, беспечного и самоуверенного, и это взбудоражило его... А существо это и есть Война, в которую мы вовлечены вопреки воли своей и конца которой так страстно ждём. Но пока в руках у людей автоматы, они слабее войны...

– Однако причём тут этот странный желудок? – спросил журналист.

– Вот и я до сих пор пытаюсь понять это... Быть может, полуголодное состояние и язва, последние дни не раз напоминавшая о себе, воспалили моё воображение?... А впрочем, если война – явление противное человеческому разуму и душе, то не желудок ли в таком случае, вечно голодный и ненасытный, не эта ли прорва движет войной, являясь скрытым её мотором?... Кто знает?..

Давно уже пора отдыхать. Уложив, словно ребёнка, автомат, Карен ложится рядом. Он спит лишь одним глазом... Ранним утром – в бой.

Война была в самом разгаре. Каждый день с фронта приходили вести о погибших и раненых. Особую категорию жертв составляли пленные – тоже непременный атрибут всякой войны. Многие солдаты предпочитали плену смерть, потому что плен ассоциировался с той же смертью, но позорной и мучительной, растянутой во времени. И всё же, попавшие в плен верили в чудо, продолжая надеяться, что на родине сделают всё, чтобы выцарапать их у смерти.

С карабахской стороны пленными занимался майор Костанян. Тяжёлая и крайне сложная работа, которую он выполнял уже третий военный год, укладывалась во внешне нехитрую схему: нужно было на основе официальных и неофициальных данных установить местонахождение пленного, выйти на контакт с лицами, занимающимися аналогичной работой с противоположной стороны, договориться с ними об обмене, обговорить условия последнего... Кто мог догадаться, что после каждого обмена живого человека или трупа у Костаняна на голове прибавлялось седых волос, появлялось какое-то непонятное чувство опустошённости, от которого не сразу приходил в себя.

Костанян родился и вырос в Баку, имел по ту сторону баррикады множество знакомых, а потому искал пленных как по официальным, так и по личным каналам. Он выходил на контакты с людьми самого различного склада ума и характера, социального и общественного положения. Звонил, просил, убеждал. Многие обещали помочь и помогали. Любопытно, что, несмотря на продолжающуюся войну, поддерживали связь и бывшие пленные, добровольно предлагая свои услуги по поиску без вести пропавших. Костанян даже не задавался вопросом, почему все эти люди должны помогать ему – ведь встретиться на узкой тропе войны их сын или брат с карабахским солдатом, оба, не колеблясь, поспешили бы первыми спустить курки...

Костанян вёл свой старенький «Москвич» по улицам полупустынного военного города, мимо повреждённых от авианалётов и артобстрелов зданий, зияющих то здесь, то там пустыми глазницами окон. Его мысли были заняты Назилёй, которая была взята в плен во время

боёв в Физулинском направлении. Девушка растерялась в общей суматохе, отстала от убегающих в панике родных. Солдаты нашли её в хлеву в полубморочном состоянии.

Впрочем, называть Назилю «пленницей» было бы несправедливо. Её, как и многих других азербайджанских женщин, стариков и детей, оставленных на произвол судьбы, карабахские солдаты практически вывели из зоны боёв, спасли им жизнь. С ведома властей девушка-азербайджанка содержалась дома у одного из командиров – тот рассчитывал обменять её на своего солдата, пропавшего без вести. Она была как член семьи, ела с домочадцами за одним столом, вместе со всеми спасалась в подвале от артобстрелов и бомбёжек, которыми почти каждый день потчевали город её соплеменники. Костанян помог Назиле наладить переписку с родственниками в Баку. Недели две назад он сам позвонил им, попросил поискать человека для обмена.

Несмотря на войну, почти ежечасные обстрелы и бомбёжки, несущие смерть и разрушение, жизнь в городе продолжалась. Оплакивая потери, люди не забывали и о праздниках – они были отдушиной, позволяли хотя бы на миг забыть о нависшей над городом опасности.

Майор Костанян делал вид, что слушает тост, но на самом деле мысли его были далеко, по ту сторону линии фронта. Сосед по столу – военный фельдшер Борис – то и дело толкал его локтем, когда поспевало время чокаться. «Дорогая Нана, сегодня тебе исполнилось 16! Теперь ты уже взрослая девушка...» – в который уже раз в качестве своеобразной увертюры повторял эту или похожую фразу кто-то из опьяневших гостей, чтобы затем не без театральности попытаться сказать что-то своё. Костанян вдруг подумал, что и Назиле совсем недавно исполнилось 16. Он представил, как в день рождения её родня, вместо того, чтобы радоваться, поздравлять и дарить подарки, обливалась горькими слезами...

Когда вставали из-за стола, Костанян, заметив, что Бориса качнуло, решил подвезти его домой. Тот в свою очередь настоял на том, чтобы подняться к нему на чай.

– Только мне надо будет срочно позвонить. Телефон работает?

– Конечно, звони, сколько душе угодно.

Поднимаясь на четвёртый этаж, Костанян шуточно упрекал повисшего у него на плече Бориса в том, что тот поселился столь высоко.

– Орлы любят высоту! – парировал Борис.

Пока хозяйка готовила чай, Костянян снял трубку и набрал номер.

– Карен, здорово! Как там наша гостья?.. Можно с ней переговорить?

После небольшой паузы Костянян заговорил на азербайджанском:

– Салам! Бакидан не хабар?..

Он справлялся у Назили о здоровье, спрашивал, не получала ли она нового письма от родных, нет ли вестей относительно кандидатуры для обмена. Костянян не сразу заметил, что хозяин дома стал мрачнее тучи. Когда он положил трубку, Борис снял очки, запотевшие от злости, протёр их нервным движением и негодуяюще произнёс:

– Слушай, какое ты имел право говорить из моего дома на азербайджанском?

Костянян, которому в его 36 лет не раз приходилось попадать в самые щекотливые ситуации и выпутываться из них, на этот раз казался растерянным:

– Ты же знаешь, чем я занимаюсь... Я же не просто так позвонил. Мы поддерживаем связь с азербайджанцами, чтобы обменивать людей.

– Это меня не волнует. Ты осквернил мой дом!

– Мы же пытаемся обменять эту девушку на нашего солдата!

– В любом случае, ты не имел права говорить в моём доме на языке врага. Я патриот и не потерплю этого!

– Вот не ожидал от тебя... Ты же медик, где твой гуманизм?

– Ладно, хватит философствовать! Я знаю одно – эти люди, на языке которых ты только что говорил, убивают наших парней.

– Но ведь завтра и ты ко мне придёшь, если, не дай Бог, с родными что-нибудь случится... Вот тогда посмотрим, кто из нас философ.

– К тебе уж точно не приду... Не дождёшься!

Костянян вышел, не заметил, как спустился с четвёртого этажа, завёл мотор и погнал машину по улицам военного города. Потрёпанный «Москвич» сильно раскачивало на многочисленных колдобинах, образовавшихся в результате артобстрелов. Машина ревела, скрежетала и лязгала старым железом, будто жаловалась на хозяина. Однако, не обращая на это внимания, Костянян жал на газ, словно хотел как можно скорее удалиться от дома, где минуту назад столкнулся с

откровенным невежеством.

Прошёл месяц. Однажды январским морозным утром к Костяню в кабинет пришла заплаканная женщина. Не сразу он узнал в ней родную сестру Бориса – она как-то осунулась, будто разом постарела. На фронте пропал их племянник...

Майор снял трубку и стал набирать номер...

Война продолжалась и в наступившем 1994 году. С фронта шли вести о новых раненых и убитых. Были, конечно, и пленные. Костянян по-прежнему занимался их судьбой.

А однажды во время очередного обмена с азербайджанской стороны к нему подошёл смуглый усатый мужчина. Он обнял Костяню и поцеловал три раза.

– Это – за Самаю! Это – за Роксану! А это – за Назилю! – после каждого поцелуя он называл новое имя.

– Ты помог моим сёстрам заново родиться!..

## Прощание

Обнявшись, они стояли на лестничной площадке между вторым и третьим этажами детской больницы – мужчина в годах, одетый в робу синего цвета, и молодой человек лет 25-ти в афганке и с автоматом на плече. Мужчина плакал, не стесняясь своих слёз. Проходившие же мимо медработники реагировали на происходящее по-разному: кто-то сам смахивал слезу или сочувственно улыбался, кто-то, наоборот, бросал немой осуждающий взгляд на военного или же проклинал его, не стесняясь в выражениях...

Это были пленный и его охранник – азербайджанец и армянин. Мужчину звали Аваз. Ему было за 50. В плен он попал как-то глупо, ездил на свадьбу в далёкое прифронтовое село. Погуляли на славу. Тосты и вино лились рекой до поздней ночи. Хозяин настойчиво просил Аваза остаться переночевать. Он решительно отказался: «Дел невпроворот. Надо успеть». На обратном пути машину остановили

военные, спросили что-то на армянском языке. Поначалу Аваз подумал, что разыгрывают.

– А где наши? – наивно спросил он, поняв, что это не шутка.

– Ты что с луны свалился? – рассмеялся крупный бородач в камуфляже. – Ваши там, за горой, а здесь наши... И как это ты минное поле проскочил?

Теперь всё было ясно – перебравший на свадьбе Аваз вёл машину не в том направлении...

Пленных содержали в городской детской больнице. Как человека опытного и выдержанного, Аваза поставили старшим над другими пленниками – в основном желторотыми юнцами, взятыми на поле боя. С Авазом все считались, он улаживал споры, давал советы, следил за порядком и чистотой в комнатах. Сам Аваз брился каждый день, всегда был свеж и опрятен. Единственный из группы он хорошо изъяснялся на русском и являлся своеобразным переводчиком между пленными и охраной.

Однажды у Аваза приболела нога. Он долго колебался, прежде чем решился попросить нового охранника, Левона, освободить его от дневного построения. Тот молча кивнул и повернулся идти, но пленник заковылял за ним, словно не надеясь, что его просьбу удовлетворят.

– Иди отдыхать, сегодня тебя никто не тронет, – сказал Левон.

– Спасибо, гардаш\*! Век не забуду твоего великодушия.

После построения Левон, который был беженцем из Сумгаита, разговорился с пленным на его родном языке. Тот охотно рассказывал о своей жизни. Аваз был водителем-дальнобойщиком, много ездил и общался с людьми.

– Война не спрашивает фамилий и национальностей, разводя людей по разные стороны баррикады. Зачем нам Карабах? Зачем лить кровь и убивать друг друга из-за клочка земли? – говорил он.

Левон чувствовал искренность в словах пленника и всё больше проникался к нему симпатией и уважением.

«Такие, как он, прятали у себя армян во время погромов в Сумгаите», – невольно подумал охранник.

В очередное дежурство Левон принёс Авазу огромный гранат со своего приусадебного участка. С минуту пленник задумчиво держал в руках потрескавшийся перезрелый плод, видимо, вспоминая что-то своё.

– Извини, я унёсся мыслями домой. У меня там роскошный сад,



выращивал хурму и гранаты. Они такие же породистые, как этот... – умиrotворенно сказал он.

По окончании смены Левон позвал Аваза и протянул ему свёрток.

– Переодевайся. Дело есть...

Вышли из здания больницы.

– Иди рядом, по сторонам не оглядывайся. Если патрульные останавливают, молчи, я буду говорить за тебя.

Долго шли по полупустынному вечернему военному городу, пока не дошли до непритязательного домика на окраине.

– Вот здесь и живу, – Левон открыл калитку. – Проходи, не стесняйся.

Аваз неловко, боком вошёл во двор.

– Жена, принимай гостя! – весело крикнул Левон в прихожую.

Зарезали курицу, принесли с огорода свежие помидоры, огурцы. Хозяйка быстро накрыла на стол. Поначалу Аваз не решался подойти к яствам – думал, что ему накроют отдельно, где-то в уголке.

– Гардаш, не стесняйся, устраивайся поудобнее и, вообще, чувствуй себя, как дома, – произнесла жена Левона на азербайджанском.

За ужином разговорились. Аваз быстро освоился, смеялся, шутил. Так он веселился впервые за время после злополучной свадьбы.

В один прекрасный день, а вернее, прекрасное утро во двор больницы въехала машина Красного Креста.

– Собирайся, – сухо сказал высокий подтянутый мужчина в штатском, сопровождавший сотрудника Красного Креста. – Домой едешь.

Лицо Аваза не выражало каких-либо эмоций.

– Вызовите Левона, я хочу попрощаться с ним, – попросил он дежурившего охранника.

– Где мы его тебе найдем? Он только завтра заступает на смену, – равнодушно ответил тот.

Аваз настаивал:

– Не пойду, пока с Левоном не попрощаюсь.

Ждали уже полчаса. Высокий мужчина начал сердиться.

– Смотри, другого возмём, нам всё равно, – пригрозил он.

– Без Левона никуда не пойду, – пленник был непоколебим... Левон он узнал по шагам и побежал вниз навстречу...

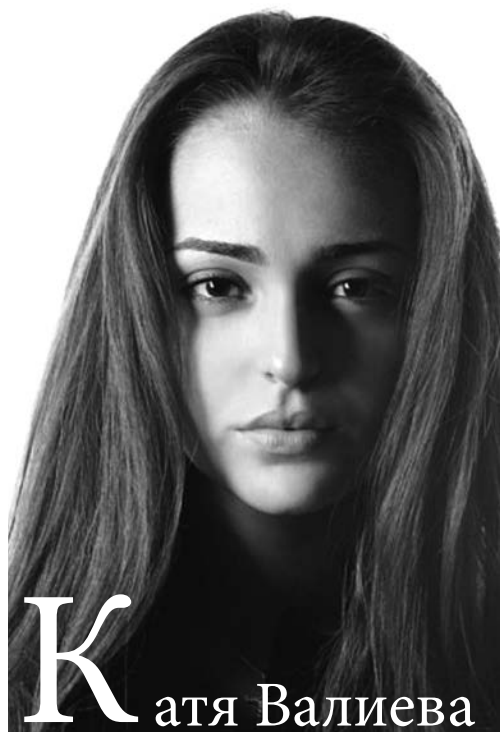
Обнявшись, они стояли на лестничной площадке между вторым и



третьим этажами детской больницы – мужчина в годах, одетый в робу синего цвета, и молодой человек лет 25-ти в афганке и с автоматом на плече. Мужчина плакал, не стесняясь своих слёз. Проходившие же мимо медработники реагировали на происходящее по-разному: кто-то плакал сам или сочувственно улыбался, кто-то, наоборот, бросал немой осуждающий взгляд на военного или же проклинал его, не стесняясь в выражениях...

2004

*«Гардаш» – в переводе с азербайджанского означает «брат».*



Родилась в Цхинвале в 1990 году. Окончила журфак Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова, заочно учится там же на факультете юриспруденции. Автор сборника стихов и прозы “Мечтатели”, 2010. Победитель Межрегионального Фестиваля-конкурса «Алмазные грани» (литературная номинация), 2007, Екатеринбург. Работает в редакции северо-осетинской молодежной газеты «Слово». Живет во Владикавказе.

Колыбель. Пеленки. Плач.  
 Слово. Шаг. Простуда. Врач.  
 Беготня. Игрушки. Брат.  
 Двор. Качели. Детский сад.  
 Школа. Двойка. Тройка. Пять.  
 Мяч. Подножка. Гипс. Кровать.  
 Драка. Кровь. Разбитый нос.  
 Двор. Друзья. Тусовка. Форс.  
 Институт. Весна. Кусты.  
 Лето. Сессия. Хвосты.  
 Пиво. Водка. Джин со льдом.  
 Кофе. Сессия. Диплом.  
 Романтизм. Любовь. Звезда.  
 Руки. Губы. Ночь без сна.  
 Свадьба. Теща. Тесть. Капкан.  
 Ссора. Клуб. Друзья. Стакан.  
 Дом. Работа.  
 Дом. Семья.  
 Солнце. Лето.  
 Снег. Зима.  
 Сын. Пеленки. Колыбель.  
 Стресс. Любовница. Постель.  
 Бизнес. Деньги. План. Аврал.  
 Телевизор. Сериал.  
 Дача. Вишни. Кабачки.  
 Седина. Мигрень. Очки.  
 Внук. Пеленки. Колыбель.  
 Стресс. Давление. Постель.  
 Сердце. Почки. Кости. Врач.  
 Речи. Гроб. Прощанье. Плач.

А моя душа – инвалид,  
Возвращаться совсем не спешит.  
И болеть она не болит...  
И кричать –  
Уже не кричит.  
И молчание она поедает,  
Вспоминать

Даже во время войны не бьют...

Мне бы встать лицом и подставить губы,  
Пусть Господь с их молчанья и тишины снимет пробы  
И узнает твои черты

Сделай так, чтобы я их не встречала,  
Чтобы они меня не берегли,  
Чтобы я больше не бежала,  
А чувства по груди не ползли.

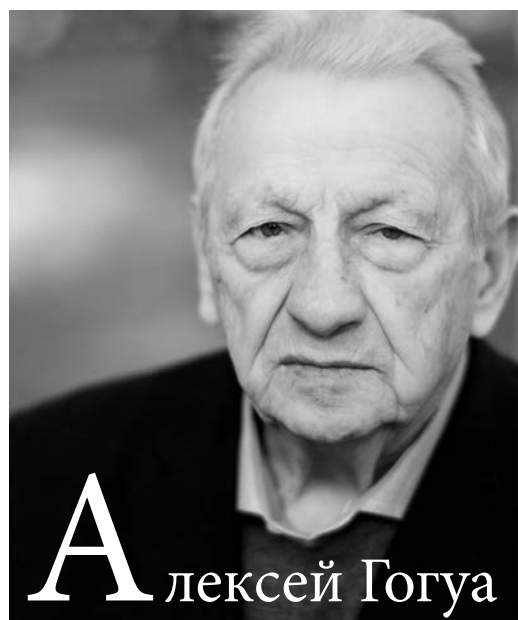
Нелепейшая ошибка верить в то, что пахнет. Аромат – изысканное, но обманчивое восприятие чего-то порой возвышенного. Это эстетическое чувство, когда вдыхаешь и позволяешь себе дышать этим. Минуты, дни, жизни. Вкус – мученическое нервное окончание уст. Он вызывает зависимость, потому что предан сердцебиению. Шоколадные грехи и алкогольные рецепты. Но когда запах и вкус решают стать художниками, в людском очертании рождается Любовь. А она – человек суровый. Со вкусом. И слышит самые чудесные запахи. Если ты – хитрый парфюмер и чуть-чуть творец... Увидишь эту манифестацию чувств, бесноватость ласки, сумасшествие дыхательных органов и вечную потребность в собственном источнике жизни. Боже, запах пороха сразу стирает все...

Свет отразится в зеркалах,  
 И в пыльных залах дрогнет эхо,  
 А мне почудится впотьмах  
 Далекий зов чужого смеха...  
 И полыхнет в кромешной тьме  
 Вдруг память ясною страницей,  
 И снова зов поет во мне -  
 Не победить, не покориться...  
 И снова зов поет во мне,  
 И до разлук ему нет дела,  
 Напоминая о весне...  
 Я не забыла, не сумела.  
 Ты далеко, и ни к чему

Ни зеркала, ни лучик света.  
Я ожиданием живу,  
Свеча сгорает до рассвета.  
Свеча сгорает без следа,  
Сгорю и я без сожаленья,  
Ведь одиночества года  
Короче, чем с тобой мгновенья.  
И отступает горький страх,  
Ведь все, что было, все, что будет,  
Привкус войны на губах,  
Всего лишь строчка в Книге Судеб...

## Чувство Любви

Ощущение задыхающейся близости, непрерывно требующее постельных сцен с душой. Излишнее. На вкус страстное. До зависимости необходимое в постоянном прикосновении пьянеющими частями тела. Губами разорванное на кусочки неба. Кончиками пальцев едва осязаемое. И глазами всемогущее, всевозможное, вседозволенное и всеуничтожающее. Ранемое, но демонически сильное. Святое до последнего взмаха ресниц. Порой напоминает волчий вой на луну или плач ребенка, оторванного от матери, человека, лишённого сердца. Единственное, однажды приходящее и всю жизнь прощающееся. Чувство Любви. Автоматные очереди, не мешайте мне любить.



Окончил литературный институт им. А.М.Горького (Москва). Автор многих прозаических книг. Лауреат Государственной премии Республики Абхазия им. Д.И.Гулиа. Переводился на основные европейские языки, а также на русский, грузинский и японский.

Живет в Сухуме.

Весна уже наступила, но ласточки еще не появились, и кукушка за садом не куковала.

Вчера вечером муж привел коня, значит, собирается к другу, к которому можно добраться только верхом, пешком далековато. На друге ран и шрамов было даже побольше, чем на самом Енуке. Внимательно посмотрев на лицо мужа и его движения, она успокоилась – ничего не предвещало беды. Его лицо она читала, как письма. «К весне распускаются не только почки растений, но часто и старые раны, – улыбнулся ей Енук из-под рыжих подстриженных усов. – Он не позвал меня, но я не могу сидеть здесь и ждать, пока сам позовет. Надо приободрить его. Он из тех, кого надо временами заводить, как наши ходики».

Она не удержалась и хохотнула. Енук еще раз улыбнулся в усы. Даже когда они были молодыми, когда обычно бывают более придиричивы друг к другу, он не спрашивал причину таких внезапных вспышек смеха, а слушал и наслаждался. Она знала, что он любит ее смех, и никогда его не прятала.

Еще когда она была юной и встречи с ним были для нее праздником, она смеялась по любому поводу. Сейчас ее смешило обыкновение мужа «глотать» добрую половину имен близких ему людей. Быстрее всего он «глотал» ее имя.

Говоря о своем друге, Енук должен был начинать с того, что он из отпрысков Атракусоу, это было старинное имя, которое трудно было «глотать» и произносить. Дед друга считался среди жителей предгорий человеком светским, его приглашали на все собрания, сходы, где решались проблемы не только одной деревни, но иногда и целой округи. Это очень ценилось среди жителей предгорья, занятых сугубо хозяйственными, житейскими, пастушескими, охотничьими делами. Не в пример деду своему Атракусоу, друг Енука не любил посещать всякие сходы, неприязненно относился ко всяким общественным повинностям, просто к колхозным собраниям, на которых он являлся всегда к шапочному разбору. Поэтому в прошлом он всегда был на плохом счету у руководства деревни. Но на этой войне он отличился,



оказалось, в нем дремали военные способности.

Ее сейчас так рассмешило то, что Енуку пришлось с трудом «проглатывать» почтенное имя деда. А ее имя Енук не произносил по всякому поводу, разве только тогда, когда сильно злился. У него в запасе всегда имелись заменители, варианты, или он обыгрывал, переиначивал само ее имя. А имя-то было коротенькое, собственно говоря, там и нечего было «глотать». Она была единственной сестрой трех братьев, почти как в сказках, и самой младшей. И они души в ней не чаяли, называли ее «Бзиа» («Хорошая»). От нежной любви к сестре они «откусили» первый звук от этого вообще-то короткого слова. И «Зиа» было все, что осталось от него. Ничего не стали больше придумывать, и так ее и записали. И когда Енук подшучивал над ней, то старался не «глотать» из того, что есть, а добавлять. Например, он ее называл «Зиа-бзиа» («Зиа-хорошая»).

Сейчас у нее был еще повод посмеяться: у Енука появился, наконец, повод ехать верхом на коне, он скучал по верховой езде. Это началось еще тогда, когда у него появилась машина. Она радовалась таким случаям, так как знала, насколько он привязан к лошади. Ездить верхом ему помогало.

Каждая весна действовала на его раны, на лице появлялась несвойственная ему бледность, но он молча и стойко переносил слабость. По годам он должен был быть в расцвете сил. И, несмотря на то, что война отняла у него так много сил и здоровья, дух этого возраста в нем еще действовал. Уже к маю лицо обретало прежний вид, мешки под глазами немного сглаживались, глаза прибавляли синеву, и улыбка из-под подстриженных усов опять светлела, сами усы топорщились и становились ярко-рыжими. И к ней приходило душевное облегчение.

Главное, впервые она увидела его сидящим на коне. Она еще училась в школе, и он был совсем юн. Это было на конно-спортивных соревнованиях района в честь какого-то официального праздника. Енук несся по наспех оборудованному ипподрому, сверкая шашкой, которой он просто косил направо и налево поставленные прутья.

Енук всегда вставал рано, но сегодня он встал еще раньше, и она встала сразу вслед за ним. «Ты могла еще полежать», – сказал он без выражения, но она знала, что это искренне. «Не могу же я отпустить тебя без маковой росинки во рту, недаром же говорят, что весной человека с пустым желудком птицы заколдуют!» – игриво хохотнула она.

Он быстро позавтракал, взял плетку и пошел к выходу. Она тоже вышла провожать. «Прошу тебя, – сказал он, нерешительно повернувшись к ней, – мальчик... Шибга может забыть о еде, засидеться у телевизора, не будь ладным этот ящичек, позаботься о нем. В последнее время он стал покладистее, и у меня уже появилась надежда, что я смогу его поставить на путь истинный. Сначала я погорячился, был груб, резок... Они в таком возрасте обидчивы до чертиков».

Видно было, как ему тяжело подниматься на коня. Вставив ногу в стремя, он сделал усилие, но с первого раза не получилось. Раненая правая нога не гнулась. Ему не хотелось, чтобы она видела это. Она знала об этом, но не выйти тоже не могла. Наконец у него получилось. И как только он оказался в седле, выпрямился, поправил плечи и тронул поводья, конь пошел резвым шагом. Она стояла и смотрела на него, пока он не выехал со двора и не скрылся за поворотом.

Год тому назад, когда ее братья пригласили своего зятя, они подарили ему коня. В свое время это был сильный и быстрый конь, всегда участвовавший в соревнованиях и деревни, и района. Сейчас он постарел, но все же не потерял осанку, выглядел молодежато и пока мог послужить. Но многие недоумевали, что своему единственному зятю ее братья подарили уже списанного скакуна. Нашлись и такие, кто сказал, что и зять в свое время был искусным наездником, но его срок тоже прошел, они, мол, стоят друг друга. Это были те, у которых всегда он выигрывал, и они всегда завидовали ему.

Этот поступок братьев обидел и ее. Она даже хотела попросить Енука, чтобы он под любым предлогом вернул им коня. Но, зная, что это совсем расстроит и без того хрупкие отношения с братьями, она промолчала. А вот как отнесся к подарку Енук, она так и не узнала. Он хорошо смотрел коня, в самые холодные зимние месяцы держал его в конюшне. На деревенские мероприятия, особенно, если они происходили в предгорной части, ездил только на нем. Так или иначе, он ездил на нем не меньше, чем на своей «Ниве». Машину он выводил в основном, когда приходилось ехать в Очамчыру или Сухум, или тогда, когда ей самой приходилось куда-то ехать.

Зиа и в дальнейшем старалась не заводить разговора об этом поступке братьев. Раньше братья знали, что Енук и их единственная сестра, в которой они души не чаяли, нравятся друг другу. И они были не против и считали Енука достойной парой для нее. Но после войны, в которой Енук так сильно пострадал, что от прежнего Енука осталось не так много, братья резко изменили свое мнение. Они, все трое,

тоже воевали, живыми и здоровыми вернулись домой и могли пощадить своего соратника, но не пощадили. У них до сих пор болело то, что она, не спросив их, оставив планы о своей учебе, куда они срочно хотели ее определить, сразу после войны решила все сама. Сейчас один-два раза в месяц ее навещает мать. И Зиа не теряет надежды на улучшение отношений с братьями, как только появится у нее ребенок, они оттают, и отношения станут прежними, думала она.

Конь был с норовом и разборчив. Не позволял всякому садиться на себя. Однажды, как сегодня, Енуку надо было куда-то съездить. Он оседлал коня, привязал к коновязи и пошел завтракать. Не успел он положить в рот отломанный кусок, как яростное ржание коня взорвало воздух. Оба они выскочили из дома. Конь то вздымал передние ноги, то брыкался задними, словно на него сыпались горящие уголья. На нем виднелся племянник Шибга, вцепившийся в гриву. Его побледневшее лицо выражало безысходный ужас, а седло вместе с ним так и ходило ходуном по спине коня, видимо, Енук, уходя завтракать, ослабил подпруги. Всегда находчивый, Енук растерялся, испугавшись за племянника. Он дико крикнул на коня, и, подняв плеть, рванулся к нему. «Хуже сделаешь, совсем взбесится!..» – крикнула Зиа и, перекрывая ему дорогу, сама шагнула к коню. «Залаш ... – произнесла она его имя, кстати, когда-то данное ему ею же. – Залаш». Она повторила это еще раз, но громче и строже. Конь на мгновение застыл с поднятыми передними ногами, затем опустил их. Он весь дрожал, словно его знобило. Она спокойно подошла близко и подняла руку, чтобы подать Шибге. Но он отстранился, сам спрыгнул с коня и, подбежав к дяде, прижался к нему. И Енук, позабыв обо всем, крепко обнял его. Племянничек уже давно был взрослым, но дядя к нему относился, как к ребенку.

Как только Енук скрылся за поворотом, она прикрыла дверь кухни и поднялась в гостиную. Если Шибга захочет есть, все стоит прикрытым на столе, пускай обслужит себя, не ребенок, подумала она.

Выйдя на балкон, она обвела взглядом огород, половина еще не перекопано. Земля поросла травой, на фоне которой белели соцветия зонтичных, оставленных на семена. А рядом под полиэтиленовыми покрытиями уже вовсю зеленели всходы рассад.

В спальне она открыла двери настежь, передние окна, затем приступила к постелям. Кровати супругов стояли врозь, но почти рядом. Никогда не было, чтобы она не почувствовала, как он на цыпочках направляется к ее кровати. Подойдя вплотную к кровати, он на мгно-

вение застывал. И когда он бережно садился на край кровати, она отодвигала одеяло и отодвигалась к стене... И этой ночью, когда немного улеглось учащенное дыхание, он обнял ее, нашел под рубашкой рубец прямо под пупком и ласково погладил. В детстве она упала, убегая от мамы, уговаривавшей отдать нож, и поранилась им. Иногда ночью она хватала его руку и осторожно отодвигала. Но вчера не стала этого делать, видимо, ему это понравилось, и он поцеловал ее несколько раз из-под остриженных усов табачного вкуса.

Он сам никогда не показывался ей голым, даже по пояс. Но несколько раз она нечаянно заставала его, переодевавшегося, и видела, какие шрамы покрывали все его тело. Извинившись, она тотчас уходила. Живого места на нем не было. Два шрама были такими глубокими, что рубцы на них имели иссиня-серый цвет.

...Она вынесла простыни, чтоб вытрясти пыль. Вдруг мелькнул Шибга. Он быстро спускался с высокой лестницы высокого нового дома, стоявшего в другом конце большого общего двора. Видимо, проголодался, подумала она. Пусть, пусть это полезно, сам пойдет и покушает. Пускай привыкает. Он спустился вниз, остановился и обратно побежал по лестнице вверх, скрывшись за дверь. И до нее донеслась громкая, разнузданная музыка. Не то телевизор, не то магнитофон орал на весь двор.

Чего только не предпринимал Енук, чтобы племянник полюбил отцовский дом, остался здесь. Несмотря на то, что уже не новая «Нива» требовала ремонта, все, что накопил он, Енук потратил на новые телевизор и магнитофон для Шибги. У них самих в амацурта – доме под кухню, там, где они обычно проводили почти все время, стоял старый «Электрон». Изображение на нем было такое слабое, что включали его на последних известиях и слушали как радио. Но она не была пристрастна к телевизору и хотела попросить мать при следующем посещении, чтобы более состоятельный из братьев купил ей магнитофон.

Отец племянника, старший брат Енука, погиб в самом конце войны. Не прошло еще и двух лет, как его жена, мать Шибги, вышла замуж, вернувшись в Очамчыру, откуда была родом и где нашла себе нового мужа. А Шибга некоторое время учился здесь в сельской школе и жил у дяди, но в одно прекрасный день бросил школу и уехал к матери. И когда Зиа вышла замуж за Енука, он еще находился у матери. Но Енук часто ездил к нему, очень хотел переманить его назад, боясь, что в городе он может связаться с каким-нибудь сбродом.

Потом Шибгу забрали в армию, и через некоторое время он явился в поношенной и неопрятной военной форме. Козырек его военной фуражки был помятым, то и дело повисал, и Шибге приходилось нервно поправлять его. Смех, который всегда находился близко от Зи, моментально вспыхнул при виде, как Шибга нервно поправляет свой козырек, но, посмотрев на грустное выражение лица Енука, она сразу остановилась.

Побыв два-три дня, Шибга опять уехал. Все эти дни Енук проводил с ним, но не посвящал ее в то, о чем он с ним говорил и каковы были дела. Она чувствовала, что муж не хочет ее расстраивать...

Через неделю Шибга опять появился, уже без военной формы. С тех пор он стал чаще появляться. Енук опять закрывался с ним в его отчем доме. Шибга вдруг стал покладистее, он был готов выполнять любое желание дяди и работал с ним целые дни.

Отношение Енука к ней всегда было безупречным, как говорится, он не позволял даже мухе пролететь близко от нее. Теперь он попросил ее, чтобы она не вмешивалась в дела, касающиеся Шибги. «Не хочу, чтобы он на тебя смотрел, как на мачеху», – сказал Енук. Ее это не обидело. Наоборот, это и ее больше устраивало, каким-то непонятным, странным казался ей этот переросток.

Она, не спеша, стряхивала все простыни. А Шибга в это время то спускался бегом с высокой лестницы, то обратно поднимался. Она засмотрелась на него, и вдруг сердце ее слышно забилося и стало замирать – осанка Шибги напомнила ей юного Енука, особенно, когда он поднимался по лестнице, плавный изгиб спины и приподнятые широкие плечи.

Она быстро собрала сложенные простыни и занесла внутрь, чувствуя сладость и тихую боль воспоминаний. Застелив постели, убрав спальню, она опять вышла на веранду. Двери и окна пока оставила открытыми. Все эти дни март капризничал, то шел дождь, то град, то дул шквалистый ветер. Во второй половине марта ясных, спокойных дней стало больше. Эти два-три дня были сухими. Обычно облака ходили непрерывно по небу, громоздясь друг на друга. Сегодня и их было намного меньше, и воздух был так чист, что он мог зазвонить от малейшего прикосновения, как колокол, отлитый из драгоценных металлов.

Легким, праздным стало ее настроение, и хотелось, чтобы оно задержалось чуть больше. В юные годы, помимо смешливости, которая сопровождала ее с утра до вечера, набегало желание повеселиться,

желание пусть чуть мимолетного, но счастья. Это бывало и при редких, но очень желанных свиданиях с Енуком, когда она стояла далеко от него, как воспитанная в лучших традициях благочестия.

Ей хотелось крепко обнять Енука и целовать, целовать, целовать его, но неведомая черта останавливала ее и перегораживала путь. Она не ведала, что за этой чертой, но догадывалась, что жар, который в такие минуты обжигал ее губы, оттуда. Она думала, что за этой чертой и есть любовь. Здесь, на этой стороне черты, мы дали ей название, не зная ее всю. А там, за чертой, она не имеет правил, ограничений. Ей казалось, что на этой стороне любовь походит на кувшин, стоящий на плече девушки и полный водой. Девушка должна так бережно нести этот кувшин, чтобы не споткнуться и не расплескать воду. Хуже, когда кувшин неполный. В неполном кувшине жидкость имеет свойство расплескиваться. Должно быть столько воды, сколько вмещает кувшин, не больше и не меньше.

Видимо, такая черта всегда существует между миром без правил и границ и миром правил. Как меч, который лежит между сказочным героем и его возлюбленной, прикоснуться к которой он не имеет права, пока не совершит назначенный ему подвиг.

Облокотясь о перила балкона, она с удовольствием вдыхала чистый, прохладный воздух, ранней неторопящейся весны. Она глядела на этот мир и наглядеться не могла. В это время Шибга очередной раз сбежал с лестницы и направился прямо к их дому. Глядя на его поведение, повадки, ей бы хотелось слегка пожурить его, посмеяться над ним, но она не смела, зная, что это ранит Енука. Вообще, что с Шибги возьмешь, он в таком сумасбродном возрасте, что ни с того, ни с чего может обиду затаить.

Удержаться от смеха трудно, если посмотреть хотя бы на то, как он идет сюда – делает такие шаги, словно решил измерить расстояние от дома к дому. Видимо, проголодался, привык, чтоб его специально звали, обслуживали.

Шибга остановился на середине и обратился к ней: «Если есть время... – начал он непривычно робко, и слова почему-то дрожали, рассыпались. – Хотелось, чтобы убрали мою комнату... Не сегодня, так завтра могут ко мне заглянуть друзья. И я помогу. Заодно и телевизор посмотрите, с утра такие кайфовые передачи».

От чего-то у него щеки пылают. Не выпил ли, негодник, чего? Енук был счастлив, что это за ним не наблюдалось. Может, виноват телевизор. Вот до чего доводят бесконечные бдения у ящика. И почему он



стоит, как по команде «смирно» и обе руки держит в карманах брюк. «Комнату уберем, но почему же ты до сих пор не поел, скоро будет обеденное время?..» – спросила она. «Я поел, уже успел, – с готовностью ответил он – спасибо за мои любимые вареники», – он застенчиво опустил голову.

Тотчас она спустилась и направилась в тот дом, нарочно делая такие же шаги, как он, словно решила тоже измерить расстояние между домами. Он этого не заметил. Подойдя к лестнице, остановился и рукой показал, чтобы она пошла первой. «Здесь ты хозяин, первым положено тебе», – сказала она игриво. Он не стал спорить.

Прежде всего она хотела посмотреть снизу на то, как он поднимается, снова увидеть движения, характерную осанку, в которой он повторяет юного Енука. В мгновение ока он был наверху. Его сковывало то, что он так и не вынул руки из карманов брюк, он слишком быстро поднялся, но все же она успела разглядеть то, что хотела, ту мимолетную «звериную» проворность, которую когда-то заметила в Енуке, взлетающем на коня, и запомнила. Боже праведный, какой силой обладает кровь, подумала она, и сердце ее протяжно замерло.

Она поднялась за ним. Обычно, не дожидаясь приезда Шибги, один-два раза в неделю она поднималась сюда, открывала окна, двери, проветривала, стирала пыль с мебели. А в солнечные дни выносила на солнце постельные принадлежности на два-три часа. В комоды всегда лежали свежие простыни. Словом, дом был наготове, как гостиница. Она старалась, чтобы Енуку было приятно. Когда Шибга не появлялся долго, Енук сам приходил сюда и зажигал огонь в камине, чтобы дым вился над крышей погибшего брата, чтобы дом не казался вымершим.

В комнате, где спал Шибга, работал телевизор, изображение было ясным, четким. Она залюбовалась этой четкостью. «Надоели они со своими рекламами!», – небрежно бросил Шибга. Он вынул руку из кармана, вытянул пульт вперед и стал проверять каналы. На лице у него было выражение волшебника, предсказания которого сбываются. Наконец он остановился на одной из передач. Шел какой-то фильм, действие которого проходило в джунглях. Какие-то типы в военной форме из засады следили за другими, тоже в военной форме. Те тоже были вооружены, но сидели и спокойно беседовали на порядочном расстоянии от них. Слышны были их голоса. Другие, следившие за ними, объяснились друг с другом жестами. За спиной их, в густых зарослях, лежала, свернувшись в клубок, огромная пестрая

змея. И, вдруг она подняла голову и поползла в их сторону.

Ее передернуло, и она отвела взгляд. Постель Шибги была вся помята. Комната была достаточно просторной, но темноватой. Боковые окна были закрыты. Видимо, в такой полутьме ему удобно телевизор смотреть, подумала она. Она не стала их открывать и взялась за скомканную постель. Разобрала, вынесла на балкон, потрясла хорошенько. «Если хочешь, развешу на балконе, пусть некоторое время побудет на солнце, хотя оно не очень-то греет», – обратилась она к нему, когда занесла все обратно.

Если до сих пор у него щеки пылали, то сейчас они стали бледными. Кажется, он действительно выпил, подумала она, в графине был первач, видимо, все обожгло у него внутри, дурачок. «Нет, не нужно, пусть будет так...» – сказал он почти раздраженно. Язык его явно не слушался, все говорило о том, что выпил. Ничего смешного здесь не было, но она незаметно прыснула, до того он выглядел смешным.

Она поправила матрац, простыню, подушки, аккуратно положила на них одеяло. Взяв покрывало, она выпрямилась, чтобы застелить, и взмахнула им, чтобы оно само легло как надо. Вдруг Шибга рванулся, чтобы помочь ей, но наоборот помешал. «Я сама справлюсь», – сказала она смеясь. Но ее смутило, что при прикосновении к ней он дрожал, как при ознобе. «Не-ет, надо убирать со стола выпивку, – подумала она. – А то это может кончиться плохо».

Она не стала больше поднимать покрывало, решив поправить руками прямо на постели. Нагнулась, чтобы достать до края кровати, но Шибга стоял так близко, как вкопанный, что мешал протянуть руки. «Отойди немного, пожалуйста», – эти слова пришли на кончик языка, но она их не произнесла. Ей стало не по себе, и сердце начало больно замирать, она почти знала, что надо уходить, но какое-то упрямство мешало ей. Она чувствовала, как Шибга поднимает руки, чтобы обхватить ее за талию, но она не верила, что он посмеет. Может быть, ему показалось, что ей плохо, что она может упасть в обморок. Как только она сделала попытку выпрямиться, он действительно обхватил ее руками, сильно сдавливающей хваткой, и в ухо ей ударило его обжигающее дыхание. «Что ты подумал, негодник, как ты смеешь?!..» – выстроилась в ее голове фраза, но опять осталась неозвученной. Уже ее саму бил озноб, сердце с неизъяснимым смятием сжималось, она не понимала, смятение ли это или боль. Как могло быть иначе после возмутительной выходки этого выроodka... Потом она как во сне увидела над собой потолок, в приоткрытую дверь –



просинь предсердья неба, показавшуюся из редких пустопорожних облаков... Где-то рядом пугающе громко и аритмично заработали ходики, как иногда это бывало с сердцем Енука, к которому она прислушивалась, приставив ухо к его груди. Потом они умолкли, и все растворилось вместе с ней.

Когда она очнулась, сначала была мертвая тишина. Она боялась шевельнуться, как будто через нее прошел разряд молнии – какое-то время она отсутствовала, как без вести пропавшая. Было ли это так называемое счастье или несчастье, жизнь ли это, смерть ли – невозможно было определить. В ушах еще чудился ее же голос оттуда. Нельзя было это понять – стон ли это от боли, вскрик отчаяния или неведомая мелодия. Скорее, то, что было до человеческих слов из того мира, где нет границ и правил.

Когда она пришла в себя, то неизъяснимое пьянило ее еще некоторое время. Но скоро заработали ходики. Четко и ритмично. Они все время фиксировали то, что есть, не прибавляя и не убавляя. В этом, видимо, сила часов. Но ее они уже торопили. Она вскочила, кое-как поправила злополучное покрывало, и, прикрыв дверь, выскочила.

Поднявшись к себе, она упала на постель и заснула. Когда она проснулась, из открытого окна на ее постель сыпались лучи нетеплого еще мартовского солнца. Уже было далеко за полдень. Ложась, она не прикрылась ничем, и теперь ее немного знобило. Все, что случилось несколько часов назад, в мелких подробностях кружилось в голове. Она встала и просто ходила, кружилась, кружилась по комнате.

Вдруг какие-то пронзительные звуки поразили ее слух. Ей показалось, что они возникли специально, чтобы найти ее. Голос был частый, пронзительный и, конечно, это было сигналом не радости, а горя. Он доносился с пригорка, где из густых зарослей кустов торчали ребристые скалы, как скелеты древних динозавров.

Когда оттуда иногда доносились тревожные голоса птиц, Енук, посмеиваясь и показывая рукой в ту сторону, говаривал: «Это канюк, проклятый Сасрыквой. Он прилетел к Сасрыкве, которого предали братья, лежавшему с перебитой ногой, в луже крови, и, не посочувствовав ему, стал жадно пить эту кровь. И Сасрыква проклял его, чтобы он в самые жаркие дни, страдая от жажды, кружился над водой, а вода ему казалась кровью. Вот поэтому он сейчас плачет о том, что для него на воде лежит вечный запрет...».

Она быстро закрыла окна, двери, выскочила на балкон, бегом спустилась вниз. Перед ней лежал широкий зеленый двор, на противо-

положных концах которого стояли дома братьев под еще неласковым послеполуденным солнцем. Где-то посередине двора, лбами касаясь друг друга, нежились два еще маленьких теленка весеннего приплода. Они изредка лениво шевелили ушами, отгоняя не то комаров, не то мух. Она удивилась такому самовозникающему блаженству, опустившемуся на этот двор без каких-нибудь посторонних усилий. Птица продолжала кричать вдали, кричала уже хрипло, устало.

Ближних соседей у них не было. В такое время ни у кого нет времени, все чем-то заняты, но в любое время может явиться Такуна, особенно, когда совсем не ждешь. От нее ничего не скроешь, и она сразу же полезет с вопросами. У Такуны две невестки, которые ей не нравятся, и она пристрастна к Зие, с удовольствием выпивает у нее две-три рюмки, не закусывая. Закуской ей служат сплетни, рассказы о происшествиях, которые в основном посвящены отношениям тещ и невесток. Когда Зия, не выдержав, начинала смеяться, Такуна умилялась: «Обворожительный смех... Какое счастье привалило Енуку. Сколько он ни страдал, наконец, Бог его заметил!..» – сказав это, она выпивала еще рюмку за ее здоровье.

Вдруг Зию охватил страх: Такуна могла появиться ни с того ни с чего. Она же обычно приходит тогда, когда ее совсем не ждешь. Поглядит – и все прочтет на твоём лице. Больше не раздумывая, Зия направилась прямо в огород и взялась за лопату. Озноб прошел, и вскоре Зия была вся потная. Не переводя дух, она довела до конца начатую полосу. И сразу же взялась за другую и пошире.

Мартовский день быстро менялся. Тучи стали иссиня-черными и низко опустились. Потемнело. Ей хотелось увидеть молнию и услышать гром, но все утихло, а птицу давно не было слышно. Хлынул дождь. Выйдя с огорода, она посмотрела в сторону того дома, но Шибги нигде не было. Она поспешила в дом, ей обязательно нужно было чем-то заняться.

Енук вернулся засветло. «И на этот раз, слава Богу, пронесло», – сказал он. Глаза у него были такими, что, казалось, у него температура. Как бы хорошо он ни относился к коню, ни скучал по верховой езде, это его изнуряло. «Я расседлаю коня, пусть ночью останется здесь, во дворе, травы достаточно. Заодно и мальчика позову, поужинаем все вместе», – он устало пошел к выходу.

Енук вернулся не сразу, немного задержался. Она готовила ужин, но ни на минуту не могла отвлечься, места себе ни находила. «Что же ты так надрываешься, столько перекопать, – сказал он, вернувшись,

раздраженно. – Какая спешка? Пока же ничего не поздно». «Давно я хотела это перекопать, но руки не доходили, – сказала она, внимательно посмотрев на него, немного успокоившись и переведя на шутку: – Я же говорила, огород – мое дело, моя независимость... А вы хотите у меня ее понемногу отнять, так не получится».

Это его рассмешило.

«Шибга подоспел, не будем его ждать, – сказал он, садясь за стол. – Все эти дни мы много трудились, лучше мне его держать около себя. А там на побережье к нему всякое может прилипнуть. Слава Богу, что в последнее время он меняется в лучшую сторону, стал больше слушаться. Я уже стал надеяться на то, что не погаснет очаг моего бедного брата. Аминь! – он налил рюмку и выпил.

«Ты очень устала, иди отдохни, полежи, – сказал он, поев. – Я его подожду, у меня с ним разговор еще не окончен».

Она сама искала повод, чтобы уйти до его прихода. «Да, да, я быстренько уберу со стола и пойду, почитаю, а то совсем одичала, – она быстро встала, собрала грязную посуду и сложила. – Мыть буду завтра. Хочется почувствовать себя бабой с ленцой», – посмеялась она, но так легко, как раньше, не получалось. «Я даже забыл, когда в руки брал книгу, – усмехнулся Енук. – Раньше хоть газеты читал, не пропускал. Сейчас в Сухуме сами выпускают газеты, сами читают, а мы остались ни с чем».

Поднявшись наверх, Зия сразу легла, посмотрела на две-три полки с книгами, но к чтению не тянуло. Она думала, что после такой работы сразу заснет, потушила свет, но и это не помогло, не спасло. Енук вскоре поднялся. Сначала она хотела притвориться спящей, но не вышло. Когда он начал раздеваться, не зажигая света, она зажгла сама. Раздевшись, он никогда сразу не ложился с ней. Полежав у себя, только потом, через некоторое время, он гасил свет, вставал и направлялся к ней. Словно боялся, что застанет чей-то непрошенный взгляд. Сейчас, не погасив свет, он прямо подсел к ее постели. «Я знаю, что ты очень устала, но мне не хочется заснуть, не почувствовав твоего тепла, – говорил он громким шепотом, но почти застенчиво. – Хочу, чтобы ты при мне заснула».

Он лег и, лежа рядом, рассказывал о сегодняшней поездке. Она слышала его голос, но не вникала в то, что он говорит. Он даже не стал, как обычно, запустив руку под белье, гладить рубец у самого ее пупка. Он просто лежал, прижимаясь к ней. Иногда поглаживал ее руку, лежавшую рядом с его рукой. Он все говорил, она механически

вставляла какие-то ничего не значащие слова. Вдруг она положила руку под его рубашку и стала тихо поглаживать множество рубцов на его теле. Это она делала впервые, до этого не решалась. Боялась, что не выдержит, обычно при виде рубцов ей становилось не по себе. Притом сразу начинал болеть и гореть ее же рубец над пупком, как в самый момент ранения. Сейчас тоже сразу заныло, но, сжав губы, она сначала прошлась ладонью по редким рубцам, потом осторожно нашла те два, глубокие. Он затаил дыхание, чтобы не вспугнуть ее ладонь.

Енук был ранен несколько раз. Два раза так тяжело, что никто не думал, что он выживет. Видимо, полвнутренности вырезали тогда. Пол-организма забрала война, но в том, что уцелело, еще оставался дух того, могучего организма Енука, по которому его знали и выделяли среди других. Когда до нее доходили слухи о его ранах, она выдерживала днем, чтобы никто ничего не подозревал, но с наступлением ночи плакала, горько, накрывшись одеялом. Она тогда оплакала ту часть его организма, которую он оставил в боях.

«От меня остался мой призрак», – ненароком она услышала эти его слова в разговоре с кем-то. Обычно он не говорил о таких вещах, по крайней мере, при ней, и не любил, когда кто-то затевал такие речи.

Когда ее рука добралась до глубоких шрамов, в которых могла вместиться вся ее ладонь, он осторожно взял ее руку и вынул из своей рубашки. Положив руку на прежнее место, он поцеловал ее, и она почувствовала, что усы его были мокрые. «Шибга меня обрадовал, – нарушил он паузу через некоторое время, – уже действительно я стал верить в то, что не погаснет очаг моего брата, – повторил он недавнее высказывание и на этот раз увереннее. – Он узнает мои желания прежде чем я выскажу. Есть одно очень неприятное дельце... Прямо скажу, я измучился, думая об этом. Но вынужден сделать так, как его устраивает. Больше ничего не остается».

Она все молчала.

«...Мы уже договорились, на днях закончим перекопку оставшейся части его мандаринного участка, затем возьмемся за нашу. Какая в нем силища, используй его разумно, можно гору свернуть, – довольно засмеялся он. – В этом он весь в отца своего. При всем этом, работу, которую мог сделать мой покойный брат за день, мы вдвоем не осилим даже за неделю».

Потом два дня Енук с Шибгой работали с утра до вечера. И погода

не подвела, мартовское небо то мрачнело, то светлело, но было сухо. Отцовский участок мандаринов Шибги был намного больше, чем Енука. Они часто приходили поесть. Енук это делал из-за Шибги, у которого всегда был зверский аппетит. А Енук, бывало, позавтракав, уходил и до самого вечера больше ничего не ел. Он стал равнодушен к еде, Зия переживала и старалась готовить повкуснее, но Енук не замечал.

За все это время она так ни разу не посмотрела на Шибгу, старалась его не замечать. Но при Енуке, как обычно, смеялась, обслуживала их, как всегда. Как только оба уходили работать, она превращалась в слух, не прокричит ли еще эта неведомая птица. Холмы, поросшие густыми кустарниками, из которых торчали ребристые скалы, как скелеты допотопных динозавров, как только засветлеет восток, оглашались разноголосьем птиц. Неведомая птица так больше и не давала голоса.

Солнце уже клонилось к закату, когда внезапно раздался пронзительный крик этой птицы. Она выскочила из дома и прислушалась. Он был слышен из тех же мест, где-то на краю этих холмов. Крик был захлебывающимся, неровным, с разрывами.

Он был даже жутче, чем вчера. Крик стал удаляться и постепенно исчез, видимо, птица залетела за холм.

– «Природа тоже иногда впадает в заблуждение», – сказал усталый, но довольный Енук вечером, когда они с Шибгой сели за ужин, – Сегодня канюк кричал, надрывался на косогоре. Ничего подобного я в такое время года не слышал. Обычно он издает такие отчаянные крики, кружась над водоемами, в самое жаркое время, летом». Это никакой не канюк, подумала она, но не стала возражать. Пока Енук это рассказывал, Шибга продолжал есть и, немного отвернув голову, успевал посмеиваться. Под конец, чтобы этого Енук не заметил, он сделал вид, будто поперхнулся. «Не спеши, в спешке особого толка нет, особенно при еде, – Зие показалось, что Енук раздражен. – Вот на войне все по-другому, и еда там не еда, в горло не лезет». Он умолк и действительно продолжал есть без особого аппетита.

Наутро Енук вдруг заявил, что хочет поехать в Сухум. Ей он сказал об этом только утром. Она не спросила о цели поездки, в ее характере не было привычки спрашивать обо всем. Обычно в таких случаях она думала, что раз едет, значит, есть за чем. Раз не говорит за чем, есть на это причина. Но сегодня она решила узнать, за чем все же вдруг ему понадобилось ехать в Сухум. Прежде всего, она хотела,

чтобы он забрал с собой Шибгу.

– Ты такой уставший, и машина барахлит, – завела было она разговор, чтобы и его завести. – Еще одному ехать...

– Доеду, и машина пока в состоянии, – Енук больше не стал это обсуждать.

Изношенная «Нива» не сразу завелась. Но потом она заурчала, из выхлопной трубы пошел черный дым. Когда он, хлопнув дверцей, поехал, она жестами показывала, что не довезет эта развалина, подведет. Он кивнул головой, мол, выдюжит, где, мол, наша не пропадала.

Эти дни ее измучила бессонница, но сейчас, среди бела дня, не могла она идти досыпать. И сидеть, сложа руки, тоже не могла. Решила убрать кухню, перемыть всю посуду. И начала с широкой старинной тумбочки – адулап, единственной домашней реликвии, оставшейся из прежнего. Енук хранил в ней разные ножи, резак, в том числе и нож, с которым он воевал. Ей неприятно было их видеть, она боялась одного их вида с того злополучного дня в детстве, когда поранилась. Но все же когда-нибудь это надо сделать. Она открыла обе дверцы. На полках действительно лежали разные ножи, из них она сразу приметила нож, который отличала от всех других. Енук издали показывал его в тот день, когда принес. В городе он зашел к знакомому повару в какое-то кафе, и в честь встречи повар подарил ему лучший из своих ножей.

Нож был внушительных размеров, рукоять деревянная, лезвие широкое и к концу выгнутое. Она достала его и большим пальцем осторожно провела по выгнутой части лезвия. Оно было острым, как бритва. Ее опять передернуло, и сразу же занял рубец над пупком. Она быстро положила нож на место и закрыла дверцы.

Решила не заниматься ножами, это дело мужское, подумала она. Вынула из серванта всю посуду и переставила на стол. Все это она перемыла, расставила обратно на место и присела, чтобы перевести дух. Вот сейчас можно будет подняться наверх, закрыться в комнате и поспать. Было пасмурно, но солнце, видимо, уже поднялось довольно высоко. Если машина не подвела, Енук уже переехал моквинский мост.

Шибгу было не видно и не слышно. Все эти дни он столько работал, сколько наверняка не работал за всю свою вздорную жизнь. Очень подозрительно было, что он так открыто и сильно угождал Енуку. Она же помнит, как он относился к своему дяде, без уважения, с презрением, капризам его не было предела. Сегодня у него лафа, от-

дыхает, видимо, дрыхнет. Она приготовила ему еду, накрыла на столе. Хотела дожидаться, показать ему, что она его не боится, презирает, и чтобы он не посмел больше даже взглянуть на нее. Надо дать ему понять, что он уже конченный негодяй.

Она боялась своего же возмущения, которое клокотало в ней все эти дни. И не знала, как оно выльется, если дать ему выход. Как потом остановить его и где. Оно, как изжога, мучило ее и требовало выхода. Только иногда какая-то слабая надежда еще питала ее, что, в конце концов, она найдет, если не выход, то какое-то успокоение в отвлечении, работе, заботе о Енуке, постоянном раскаянии. И в то же время она знала, что нет этому оправдания. Ее занесло за тот рубеж, который она всю жизнь чувствовала, и откуда, может быть, нет обратного хода. До всего этого, находясь на этой стороне, она чувствовала себя свободной, обладающей правом выбора, хотя эта сторона пронизана правилами и обязанностями. А там нет выбора, ни начала, ни конца.

В это время она услышала Шибгу – он насвистывал разнузданную мелодию и страшно фальшивил. Она вскочила, открыла дверцу тумбочки-адулапа, выхватила нож с очень острым, загнутым, отточенным концом и положила наверху. Потом она стала возиться у посудного шкафа и делала усилия, чтобы успокоиться. Он появился у двери, и, взявшись обеими руками за косяк, некоторое время обзирал кухню.

«Поешь, не видишь, стоит на столе», – бросила она, отвернувшись от него. Он никак не среагировал на это, и она резко повернула голову, чтобы повторить резче. У него не пылали щеки, но глаза из-под опухших ото сна век смотрели нагло и похотливо. Вдруг он отпустил косяк двери, перешагнул порог и направился прямо к ней. Этого она не ожидала – от возмущения она вся задрожала, ноги подкосились, тело обмякло и перестало слушаться. Все против нее, и ей трудно определить эту противостоящую силу – несчастье ли, сумасшествие или какая-то замороженность. А может, она заболела какой-то душевной заразой. Вот он опять протягивает руки, она пятится, он догоняет, его горячее дыхание обдает ее лицо. Она вспомнила о ноже на тумбочке-адулапе, но было уже поздно. Она открыла рот, чтобы закричать, но из горла шла немота. И как только ее обхватили его сильные руки, она оказалась в таких объятиях, что не смогла оказать серьезное сопротивление...

Очнулась она на длинной старой лавке, на которой они с братом



спали все детство. Губительный огонь выжигает кровь в ее сосудах, оставив на губах странный обжигающий привкус. Никто еще не чувствовал вкус молнии, но, видимо, похоже, подумала она машинально.

Она привстала и услышала, как кто-то аппетитно жрет. За столом сидел Шибга и большими кусками засовывал в рот то, что было на тарелке и, почти не прожевывая, проглатывал. Она вскочила, подбежала к тумбочке, выхватила нож, который положила туда накануне. Шагнула к нему. Он и не пошевелился, продолжал есть, потом, проглотив очередной кусок, скривил рот, изображая подобие улыбки. В глазах у него было полное равнодушие, и смотрел он на нее с некоторой брезгливостью.

«Видите ли, их насильовали, Вася, насильовали. Притом совершенное дитя, швы еще не сняты на пупке, – проговорил он, сквозь зубы, перестав есть. Видно было, насколько в нем укоренилось влияние прибрежного поселения городского типа, с серыми, похожими друг на друга, как яйца под клушей, домами.

«Советую вести себя тише воды, ниже травы и помалкивать, а то, – он выпучил бычьи глаза и повысил голос, – не вздумай вякнуть своему старику, а то будет очень худо, очень!. А вообще, хотел бы я услышать, чтобы ты ему сказала. Есть ли, что сказать... А так ведь следов не осталось, примет же особых не бывает в таких случаях».

Не выпуская нож из рук, она в изнеможении опустилась на стул, стоявший рядом.

«Как никак, мои дела пошли на поправку. Твой старик образец заботливости, так и бегаёт за мной. Вы думаете, я дурак, чтобы столько дней гнуть спину просто за спасибо, Фигушки! Надо же было чем-то угодить ему. Раз сам без меня делает то, что я хочу. Собственно говоря, на что еще годится эта развалина. Если ты вздумаешь помешать мне сейчас, столкнешь его со мной, для тебя наступит долгое затмение. Сегодня, если даже этот драндулет подведет, он хоть на животе должен приползти туда. Это его, козла, проблемы. Главное, он должен решить мою проблему, он должен меня выволить из военной службы. Целый год еще остается. Сделать это и не так трудно, как кажется, нужно иметь штук десять, только и всего. Это мы с вами загораем в этой дыре, а люди научились жить, делать деньги, не стесняясь.

У многих бабки водятся, еще какие! Если у меня было бы столько оснований, сколько у твоего старика, я бы сделал, чтобы сюда все привозили сами. Но для этого надо голову иметь! – всей пятерней он постучал по голове. – Живого места на нем нет, а он ведет себя, как



застенчивая невестка. Я бы зимой и летом ходил голым по пояс, – он ухмыльнулся и опять вытаращил глаза. – Вот мне он должен мыть ноги. Если бы не он, мой отец был бы живым и здоровым. Находился он где-то в глубине России, у черта на куличках, и процветал. Как только началась эта бойня, твой старик не дал ему дышать, пока не заставил вернуться сюда. Мои дяди со стороны матери, наоборот, как только здесь стало опасно, его забрали отсюда к себе. Они и поныне живут там, в глубинке российской, горя не знают. А этот пристал к нему, как, мол, ты можешь сидеть там, когда твой народ по колено в крови. Твой народ, твой народ, – передразнивая, построил рожу. – Писал, звонил ему. В конце концов, отцу надоело это, взял и приехал. Пошел на эту бойню, и через месяц сделали меня сиротой, а бедную маму – вдовой. А потом мой дядя взялся за меня, как, говорит, ты можешь так поступить, уклониться от службы в армии, как, говорит, потом людям в глаза смотреть, многие твои сверстники, говорит, положили головы в той прошедшей бойне. А почему он не говорит о том, что происходит со многими из тех, кто выжил, которые сидят на игле?? – говоря все это, он продолжал строить рожи. – А вот кто был поумнее, уберег себя, сейчас имеют все, и продают, и покупают, ездят на кайфовых иномарках. И я на их стороне, у них котелки варят. А если кто-то хочет ходить в вечных патриотах, при необходимости жизнь отдавать, это дело каждого, мы им не помощники!

Вот у твоего старика есть неоплатный долг передо мной, которому он помог сделаться несчастным сиротой! – он почистил тыльной стороной ладони пену, образовавшуюся от такого глаголения. – Ты знаешь, как дела обстоят там, куда меня отправили, как говорится, отбивать военную повинность? – он вытаращил глаза на нее. – То-то же! Там постоянно держат таких, как я, за которыми никто не стоит, у которых спины нет. Остальные, за спиной которых стоят позвоночные, там появляются только по военным праздникам, в остальное время дома сидят. А такие, как я, пребывают там впроголодь. От такой «сладкой» жизни они воюют друг с другом, друг друга со света сживают. Вот какова служба, куда звал меня твой преподобный супруг.

– Поэтому он должен выволить меня оттуда. И выволить всю оставшуюся жизнь, – вдруг Шибга сделал серьезное лицо, насколько у него это получилось. – Я не перестаю жалеть маму. Как она могла так выйти замуж, чтобы заточить себя в этой дыре?! Она же была дочерью отца, у которого был один из лучших домов в самой Очамчыре.

Это сейчас иметь дом на побережье ничего не стоит, а тогда, владея таким домом, как у моего деда, можно было преспокойно сидеть, положив ногу на ногу и плевать в потолок, а денежки сами текли. От отдыхающих отбоя не было бы. Короче, твой муженек передо мной в неоплатном долгу! – он встал и шагнул к ней. Нож в ее руке не производил никакого впечатления. – Ты, оказывается, страдалница, – он вдруг перешел на шепот, посмеиваясь, – Мой несчастный дядя на войне, видимо, подвергся кастрации... В былое время поговаривали, что он первый жених, он не пропускал ни одной кобылы. Помнишь, его кляча не признала меня, взбесилась, готова была меня растоптать. Может быть, ревновала его... – он хохотнул негромко. – Как ты ее называла? Ха-ха-ха! Кто она, эта кляча, конь или кобыла?! Это уже неважно, – он сразу потерял интерес к этому. – А тебе вот что я скажу, если будешь держать язык за зубами, вести себя как паинька, я буду обеспечивать тебя вдо-оо-воль тем, чем ты обделена. Знай, врата небесные сами открылись тебе. Короче, по-крупному тебе повезло, – он показал ей кулак. – Вот, где вы оба находитесь у меня. – Потом он обвел ее всю взглядом и зашипел: – А ты ничего, даже очень ничего для такой дыры, – он выпрямился и вышел, лениво припадая с ноги на ногу.

Она продолжала сидеть еще некоторое время, словно окаменев. Знала, что ей нельзя отсиживаться, но пока не было сил подняться. Рыдание, которое собиралось где-то глубоко внутри, могло вырваться, пересилить ее и просто задушить. Не дав ему собраться, она встала. Все тарелки и остатки пищи, оставшиеся от него, она завернула в клеенку и со всей силой била об стол, пока они внутри клеенки не превратились в мелкие осколки. Потом все она бросила в мусорник и придавила ко дну ногой.

Чуть передохнув, она развела огонь и повесила над ним ведро с водой. Достав из шкафа все свои вещи, выбрала платье темной расцветки, новый, еще неодеванный пеньюар, туфли на коротких каблучках. Всю остальную одежду она завернула в простыню и крепко завязала.

Закрывая дверцу шкафа, она увидела свое отражение в зеркале – на нее смотрело чужое, отрешенное, не желающее признать лицо. Если бы где-нибудь встретиться с той, которая сейчас смотрит на нее с зеркала, она преспокойно прошла бы мимо, не узнав. Все равно та, которая смотрела из зеркала, становилась еще надменнее. Рассмотрение этого изображения могло отвлечь ее, и она быстро захлопнула

дверцу, как крышку гроба, закрыв вместе с ним и это надменное лицо, с какой-то неумолимой, нескрываемой брезгливостью смотревшее на нее в упор. Взяв в одну руку узел с одеждой, в другую – то, что выбрала отдельно, она быстро спустилась вниз, под кухню.

В кладовке, где они обычно мылись, было не очень светло, но зажигать свет она не стала. Раздевшись, намылилась и помылась тщательно. Потом всю оставшуюся воду в ведре вылила на себя. Вытерлась насухо и стала быстро одеваться. Когда одевала нижнее белье, заметила, что похудела. Сейчас платье почти болталось на ней.

Но некогда было думать о таких мелочах. Электричество часто не подавалось, и они всегда имели керосин в запасе. Она отнесла канистру с керосином в укромное место за домом. Туда же принесла узел с одеждой, засунув туда и домашние шлепанцы. Быстро вырыла ямку по колено, и, столкнув туда узел с вещами, обильно полила его керосином и бросила туда зажженную спичку. Огонь моментально вспыхнул, и очень быстро все превратилось в черный пепел. В кухне она взяла нож, который оставляла там, и вышла во двор.

Двор был пуст, если не считать телят, лениво помахивающих хвостами. Она села на скамейку под большой яблоней. Летом в жару это место продувалось ветрами, дующими прямо из ущелья. В воздухе стоял ровный, разноголосый, весенний страдный гул птиц. В нем не были слышны тревожные вскрики той странной птицы. Далеко на равнине можно было различить оранжевую черепичную крышу отчего дома, выглядывавшую из большого и еще нерасцветшего сада. Можно было различить еще дымки, которые вились над садом. Видимо, жгли срезанные сухие ветви.

Боясь углубиться в воспоминания об отчем доме, о родных, мало ли еще о ком, она решительно прижала колени друг к другу, обхватила ладонями рукоять ножа, вытянула шею до отказа и сильным движением провела по наточенному, как бритва, загнутому лезвию. И молния, сверкнувшая в облаках, сдвинувшихся вдруг с неслышанной скоростью, прожгла глаза, затопив мир в сплошной мрак. Страшный вкус, который остался недавно у нее на губах и который она сравнила с воображаемым вкусом молнии, оказался на деле солоноватым. Она это успела почувствовать...

Весна уже наступила, но ласточки еще не вернулись и кукушка за садом не куковала.

*2002, март-апрель*

*Перевела с абхазского Надежда Венедиктова*



## Эльчин Гусейнбейли

Родился в 1961 году. Автор многих прозаических книг и пьес. Большинство произведений переведено на русский, английский, польский, корейский, арабский, немецкий, грузинский языки, переложено на турецкий и узбекский. Владелец многих престижных литературных и государственных премий. Главный редактор журнала "Улдуз" ("Звезда") Союза Писателей Азербайджана.

Живет в Баку.

*Эту историю рассказал мне один знакомый иранец. Он живёт по ту сторону Аракса, в селении Катта Асландюзского района.*

\*\*\*

Старик сделал своим пристанищем старую чайхану на окраине села. Он договорился с хозяином чайханы, что за каждый прожитый здесь день он заплатит десять тысяч туманов, то есть один доллар. Ему отвели комнату, находящуюся сзади чайханы. Раньше это место заменяло вешалку. Теперь здесь вместились только одна кровать. Старику было 70-75 лет. День он проводил на берегу реки, вечером же возвращался сюда. А рекой назывался один из рукавов Большого Аракса, оросительного канала. А сам Аракс протекал несколько вдали.

Иногда на удочку старика попадалась даже рыба. К вечеру, когда вокруг утихало, он жарил рыбу на оставшемся с полудня подсолнечном масле на газовой плите, находящейся в пристройке. Лишнюю рыбу он охотно отдавал желающим, а также солил в бочках. Немного рыбы он оставлял на обед хозяину чайханы, так как пользовался его посудой.

Старику удалось наладить здесь свою жизнь. Приходила на помощь и профессия штукатурика. Он работал медленно, не торопясь. И без того приходилось часто сгибать сгорбленную спину. Обычно он штукатурил сараи коровьим пометом, а кирпичные хлева – смешанным с глиной коровьим пометом. Жители деревни были, как и он сам, очень бедны. Лишь изредка попадались богатые люди. Для выполнения их заказа ему приходилось арендовать в окраинных домах деревни арбу, чтобы привезти глину для штукатурки из Сарыдага.

Ранее им заинтересовались спецорганы, даже под видом клиентов чайханы его порасспросили хорошенько, но потом поняли, что он не представляет опасности для государства, и оставили его в покое. Старик заподозрил что-то неладное в этих чужаках. Ведь посетителей чайханы он знал наперечёт, и чужаков распознать было нетрудно. За-

всегда и чайханы были, как и сам старик, людьми без особого рода занятий. Часто перед ними дымился не чай, а наргиле (кальян).

К старику присматривался один паренёк, хорошо знающий местные нравы. Казалось, даже преследовал его. А на самом деле, жалел его. Этот юноша учился в Тебризе, в университете. Приехал на несколько дней на каникулы. Жил неподалеку от чайханы и приходился племянником ее хозяину.

– Откуда этот старик? – спросил он как-то у своего дяди. – Похож на чужестранца. Ни с кем не общается. Всегда грустный и задумчивый.

Дядя кивком головы указал в направлении по ту сторону Аракса.

– Гм... – пробормотал юноша, намекнув дяде, что все понял.

Несколько раньше в армяно-мусульманском противостоянии единоверцы и говорящие на языке юноши люди нашли приют на этой стороне Аракса. Большинство из них немного погодя уехало в другие места. Старик же остался. Видимо, ему некуда было уехать. А может, сам не захотел. Спал на привезенной собственной постели. Проснувшись, аккуратно убирал постель, заправляя вместо одеяла своим старым чёрным тулупом. Потом, нагнувшись, нюхал свой тулуп. Наверное, хотел оживить в памяти и душе какие-то воспоминания.

Хозяин чайханы однажды сказал племяннику:

– У него никого нет, и никуда уходить он не собирается. Живет ловлей рыбы и иногда помогает по хозяйству, кому придется. Он не любит заниматься торговлей. Подобный дервишу человек. Берет, что ему дают. Неплохой человек. Раньше у него было много коров и овец. Когда убегали, не имел возможности перегнать своё стадо сюда. Ведь их застали врасплох. Иногда взбирается на холм и в бинокль смотрит на свою родную деревню. Говорит, что его на этом свете удерживает только собственный двор. У него во дворе было много деревьев, а теперь ничего не осталось. Кто-то вырубил и унёс эти деревья. В течение одной ночи. Иногда старик подозревает и живущих по эту

сторону Аракса людей. Ищет что-то знакомое по чужим крышам.

– Гм... – пробормотал юноша и кивнул головой. Потом он спросил, уставившись своими черными глазами на дядю:

– Я могу поговорить с ним? А он не обидится?

– Обычно люди в горе очень разговорчивы. А этот нет, слова из него щипцами не вытянешь.

– Я разговарюю его, – уверенно сказал юноша. Потом он встал, подошел к старику, поздоровался с ним и, не дожидаясь ответа, уселся на пне.

– Я сожалею, – начал он свой разговор услышанными в кино словами, думая таким образом добиться расположения старика. – Я знаю, как тяжело оказаться вдали от родного края. Я сам скучаю, оказавшись на месяц-другой далеко от дома.

Старик молчал. Он затянулся дешёвыми, без фильтра, сигаретами «Даманд», выпустив дым из носа, потом тяжело поднял веки, с иронией взглянул на парня, словно говоря: «Ты ещё слишком молод, чтобы понять горечь разлуки с родиной». Потом поднялся и направился в сторону реки.

Старик был похож на сильного и здорового человека. Горе не смогло сломить его полностью.

Парень следовал за ним, как провинившийся ученик преследует своего учителя. Старик не обращал на него внимания. Однако настойчивость юноши оказалась сильнее упрямства старика.

Дошли до берега реки. Старик проверил находящиеся в воде крючки и сети. На один из крючков попала мелкая рыбёшка. Старик снял рыбку с крючка, понюхал, а потом бросил в воду. Он тихонько пожалел, что не повезло, мотнул головой и направился к холму.

Достигнув вершины холма, он пристально посмотрел в бинокль на противоположную сторону Аракса. Затем молча протянул бинокль пар-

ню. Тот понял жест старика и взял бинокль, похожий на жабу с выпученными глазами, посмотрев туда, куда указывал старик. На склоне гор были ясно видны развалины деревни. Невооруженным глазом разглядеть что-либо было невозможно.

– Что видишь? – хриплым голосом спросил Старик.

– Несколько домов, пустые дворы, деревья, больше ничего не вижу...

– Хорошенько посмотри. Видишь двор перед двухэтажным домом, и колодец есть. Над колодцем висит колесо. Недалеко от колодца растет молодое деревце. Грушевое.

Молодой человек словно засвидетельствовал глазами сказанное стариком, внимательно всмотревшись во двор перед разрушенным двухэтажным домом. Потом он вернул бинокль хозяину, позавидовав зоркости собеседника.

Старик еще раз долгим взглядом посмотрел в бинокль в том направлении. Затем он молча спустился с холма и направился в сторону чайханы.

– От посаженного мною сада только это молодое грушевое деревце и осталось. Я сажал его вместе с внуком. На том деревце остались следы пальцев моего внука... – после этих слов Старик замолчал, посмотрел, задрал голову на небо, немного спустя сказал, – Они все спали в доме, когда упал снаряд.

В его речи не было никакой боли. Во всяком случае, юноше так показалось.

– Я живу им, каждый день смотрю, как оно растёт. На днях оно зацветёт, вот уже почки распустились. Однако засуха не даёт мне покоя. На самом деле, сейчас самое время идти дождю. А дождя все нет да нет.

Сказав это, Старик остановился, поднял глаза к небу, его взгляд как будто застрял где-то вдалеке.

Юноша хотел поддержать его:



– Наверное, пойдет дождь, – сказал он.

Старик, ничего не ответив, продолжил свой путь.

\* \* \*

Юноша привык к Старика. Ходил с ним на рыбалку, делился уловом, вместе взбирались на холм и смотрели на ту сторону Аракса. Старик не любил болтовни. Он молча переживал свое горе, что-то бормотал, тихо шептал молитвы Всевышнему, чтобы тот ниспослал дождь. Однажды после того, как Старик в бинокль посмотрел на ту сторону, он радостно сообщил:

– Грушевое дерево зацвело, – и протянул бинокль юноше.

Как внимательно юноша ни всматривался, он не разглядел расцветание грушевого дерева. «Старику померещилось», – подумал он, но сказал обратное тому, о чем подумал:

– Да, на самом деле зацвело.

Сказанное юношей не обрадовало Старика, а расстроило ещё больше:

– Если дождя не будет, оно засохнет. Где-то там далеко идет дождь, а здесь нет. Черные тучи удаляются от нас. Если бы я был молод, я бы переплыл Аракс и полил дерево ведром воды. Достаточно один раз покрутить колесо колодца. Вода холодная, как лёд. Если пойдет дождь, то перебьет все цветки. Может быть, в этом году плодов будет очень мало, или даже вовсе не будет. Но плоды не самое главное. Осенью листья груши бывают золотистыми...

– Я на несколько дней уезжаю туда, где находятся чёрные тучи. Я попрошу их, чтобы они вернулись назад, – пошутил молодой человек, однако скоро понял, что оплошал. Лицо Старика почернело, он ничего не сказал, сошел с холма и направился к чайхане.

\* \* \*

Юноша говорил правду. Он на несколько дней уехал туда, где были чёрные тучи, в Тебриз, чтобы узнать время экзаменов. Когда он

вернулся назад, шел проливной дождь. Юноша отправился поздравлять Старика, но нигде его не нашёл.

Услышав имя Старика, дядя принял траурный вид:

– Старик утонул в реке, – сказал он. – Никто не знает причину его гибели. Ребята видели, как его унесло течением. Несколько дней его нигде не было видно. Я подумал, что он уехал на заработки или чтобы привезти глину из Сары-дага. Оказалось, он утонул. Труп выплыл, когда прибавилось воды в реке. Был неузнаваем. Я распознал его по солдатскому ремню.

После этих слов дядя вынул грязный носовой платок и вытер пот с лица:

– Мы привыкли к нему. А погода... Не приведи Аллах... После этакой засухи дождь никак не перестанет... Как будто мстит за солнечные дни. Ничего подобного никогда не видел.

– А где его бинокль? – спросил юноша.

– Повесил в пристройке. Может, понадобится. А можно продать пастухам. За хорошие деньги. Они лучше всех знают цену таким вещам.

Когда дождь перестал лить, юноша, взяв бинокль, пришёл на вершину холма и посмотрел на ту сторону Аракса – на двор Старика. Молодое грушевое деревце во дворе поникло головой, кажется, оно высохло. Он точно не помнит. Может, оно тосковало по Старику. А может, его спину согнул долгожданный дождь.

Однако он помнил день, когда унесло течением Старика. В тот день шел дождь.

*Май-июль, 2012*

*Перевод с азербайджанского Илахи Джарчиевой*



## Като Джавахишвили

Родилась в 1980 году. Автор четырех поэтических сборников и лауреат многих литературных премий. Член редакционной коллегии журнала «Арт-хомлі», ведущая рубрики «Две чашки» в журнале «Литературная палитра». Стихи переведены на русский и арабский языки. Живет в Тбилиси.

*В 1972 году в Гималаях бесследно пропала  
экспедиция из трёх человек.*

Красильня закрылась...  
Женщина гадает на линии жизни,  
На коридорах - тропинках.  
Глаза сужаются,  
В бесцветном городе  
Жизнь молча снимает грязные повязки,  
Садится ужинать...  
Так пыльно в воздухе,  
Что рифмы уныло сквозь пальцы крошатся.  
Ветер, как турок стар.  
Во взгляде – аскетизм.  
За нитки дёргает дорогу хилую.  
Горизонт. И трое...  
Я – грот. Я – пещера.  
И лицо всё глубже бороздит прошлое.  
Стены всё слезятся, душа вновь нагишом,  
Трапеза чинная рваными ступнями...  
Лазарет–склеп чёрно- белый, и на склоне  
Сонными глазами молитва ночная.  
Столько в том голосе искала трещины,  
И до причастия я стою скалою.

Выживем –  
И жизнь нас заставит сторожить.  
Сбежим и...  
Достигнем в сумерках до вершин?!..  
Я – грот. Я – пещера...  
Ты – камень у входа.  
С серьгой терпения кровь в душе засохла.  
Облачёнными в чалму заповедями  
К Корану подходишь,  
Службу начинаешь...  
День службы твоей – пятница вовеки.

В страстной неделе  
Я муки рожаю  
И корни сломала блеклой нирване, –  
Он третий,  
Последний...

В бесцветном городе  
Ветер вновь гадает,  
Идти или остаться.  
Горизонт. И трое...  
У ворот красильня скрывшего города,  
В пути соберёмся.  
Темнеет в Непале.  
Буддийский монастырь.  
На чётках небытие считают степенно,  
А где-то на пути  
У босого малыша  
Крик обезвоженный  
В оскале застынет –  
Бегите!  
Бегите!  
Спаситесь, уходя!  
Спаситесь, уходя!  
Спаситесь, уходя...

Красильня закрылась.  
Женщина гадает на линии жизни,  
На коридорах-тропинках...

## Иоанн

Я лежу, в чём мать родила.  
Так же, как кукол в детстве укладывала.  
Да, точно так же.  
Мёрзну.  
Чтобы застелить мою постель,  
Косарь накопил траву,

Траву накосил косарь.  
Везёт, лелея с гор,  
Догонит в пути дождь.  
Заметёт косарь стог и  
Телом своим прикроет.  
Расколет ему спину Элия  
Плетью хлестнувшим громом –  
Надвое.  
Раскинется стог его с печалью и горем  
По свету.  
Я лежу, в чём мать родила.  
Так же, как кукол в детстве укладывала.  
Да, точно так же.  
Мёрзну.  
И мне в порванный рот вливают  
Отвар из трав.

*«всякое дерево, не приносящее доброго плода,  
срубают и бросают в огонь»*

Я земля.  
Земля есмь я.  
Сгниют корни мои,  
Накроют лава и потопы.  
Сгниют корни мои,  
Потому что больше нет во вселенной ни души знакомой.  
С тобою каждой ночью спать буду  
Гнилыми корнями, и почудится,  
Что экватор моей плоти лежит на городе,  
Где подошли не от голода –  
А пуповинами смотанные улицы  
Долгие лета,  
Как духи на тело Агиасму, из красок  
Наносили.

На Мтквари\* спустились в лохмотьях,  
И не вернулись.  
И выкопанные корпуса

В цоколях гнилых,  
Вялые зародыши храня,  
С распущенными волосами  
Утопились.  
Обезглавленный лежит Иоанн.

Чтобы мою постель застелить,  
Косарь накопил траву,  
Траву накопил косарь.  
Привёз, лелея, с гор.  
Заметал косарь стог.  
Подвернул одеяло под бок.  
Мёрзну.  
Расколет ему тело Элия  
На шее плетью хлестнувшим громом –  
надвое.  
Я есмь земля.  
Земля есмь я.  
Снимутся все проклятия, и  
Возьмёт посланец на себе грехи чужие...  
Снимутся все проклятия, и  
Пригвоздится одно тело – другим на помощь.  
Возвысится посланец к косарю на Елеонской горе  
И промолвит:  
– О мой, Отче...

На Мтквари в лохмотьях спустились и  
Ждут, в чём мать родила.

*\*Мтквари – река (Кура )*

# СЫН

И было как-то. Безднадёжно. Любовь. Привычка.  
Себя теряли. Коротая день. Вдвоём. Молча.  
И раздевалась зима, к ногам бросая тряпки.  
Запрещены ответ, вопросы. Слёзы всего лишь  
Едкая жидкость. И сколько раз взорвётся сердце –  
Столько же фальши.  
Говорю. Веришь.  
Стрелки два раза пересекут экватор, после  
Перебросят нас вне времени. Два раза тоже.

Я пишу так. Ты рядом. Во мне. Позади меня.  
Между моих слов. В моих словах. Хотя многое,  
Вроде сказано. Вроде одно. Вроде ничего.  
И сидим вдвоём, в доме, где на длинную веранду  
Мы не выйдем – нет веранды. Наш уютный дом  
Только для нас и накрывает маленький ужин.  
Взгляни на часы. И сколько раз взорвётся сердце,  
Столько и добра.  
Говорю. Веришь.  
Стрелки два раза пересекут экватор, залпом,  
День под ногами разобьётся. Два раза тоже.

Я так напишу:  
В твоих мыслях. Для тебя. В тебе.  
Запрещены ответ, вопросы. Если внезапно  
Рвётся одежда. За спиной опоры ищешь.  
Стена. Хочется уходить  
и снова вернуться.  
Ты отдохни в моих словах, хоть мимо слов этих,  
Но никогда не прикрывай лицо руками...  
Говорю.  
Веришь.  
Стрелки два раза пересекут экватор, после  
Перебросят нас через него. Два раза тоже.

...мои чернила на бумаге только не разлей –  
она белая...



Представь, что жизни приблизился конец нежданно,  
Проходим путь, и после невмочь начать с осколков,  
В чёрное вино, как хлеб ржаной, макнули «эго»,  
Друг с другом стали смелыми и сошлись настолько,  
Несвежих красок ищем мы на белом мольберте,  
Просто взгляд больше не отводим с наших закатов.

Представь, мы свои собственные согнули спины,  
Позвонки с нихбезнадёжно сыплются камнем,  
Годы, как старый рваный ранец, тянут нам плечи,  
Ищем друг друга, за дорогой дорога манит,  
Нам скромный ужин накрывает, голодным, вечер,  
И у костра ждёт наше общее знамение.

Представь, нас больше не заводят те собрания,  
Галантные, наполовину лит-элитные,  
Сателлитные антенны нам внедрены в рёбра,  
Когда мы ездим на метро и часто эн-туром  
В плановый круиз, вдруг кого-то не добираем,  
Молчим искусно, когда нам трудносоглашаться.

Представь, что нынче мы не знаем, где разбросаны,  
Время...пространство... наше древо, где затоплено,  
Душа родная, или просто к нам заселили,  
Читаем Ницше, бестселлер о Гарри Потере,  
Идти желаем или остаться к совести ближе  
Под сущим небом, чтобы сбежать в зелёный отель.

Представь, промчится время, много, да, может мало,  
Уже на лице мы землистые морщины застудим,  
Ни одно письмо не получим больше по почте,  
Одиночество – последняя покупка жизни,  
Встанет посреди улицы и прокричит: nonstop,  
В тёмном подвале кто-то листом поранит пальцы.

Представь, едва ли мы поэты, похожи только,  
И не один там не остался в речных глубинах,  
Под одним солнцем разноцветна гамма палитры,  
И оба могут сделать светлой погоду сами,  
Сами рождаем в подземелье свои же трупы,  
И потом землю покрывает белесый саван.

Представь, вовсе не существуют медаль, погоны,  
В сердцах друг друга без причины, когда беднеем.  
Нас, как деревья, участь в лесу вновь ветром кружит,  
И в том лесу, на наших ветвях, в ночнушках бродя,  
Наши призраки накрывают нам скромный ужин,  
Вмиг промелькнувшим кратким и вечным затмением.

*Перевод с грузинского Наны Келехидзе*



Юрист, прозаик. Лауреат многих литературных премий, в том числе финалист Пен-Марафона (2010) и финалист конкурса «Саба» (2012). Живет в Тбилиси.

*«В те времена отделились от горцев пховцы и дидойцы. Дидойцы ели сырую пищу, и братья брали в жены одну женщину; одни поклонялись невидимым бесам, а другие злым духам. А пховцы почитали крест и считали себя христианами. Они грабили, убивали и брали в плен, днем и ночью»*

*«Житие Картли», т.2, с. 11-112.*

Ушиша жил в одной глухой деревне. Пастбища в ущелье он сдавал в аренду пастухам с равнины, но сам никогда не работал и все свое время проводил в пьянстве. Из-за его вспыльчивого характера никто с ним не дружил, а охота в священных лесах окончательно рассорила его с соседями. «В этих краях наши отцы и деды даже деревья не рубили, а ты кровь проливаешь», – упрекали они его. «И лес, и поле, и горы – все это мой дом, и вы ничего не можете мне запретить. Всех убью, кто только хотя бы дотронется до одного волоска на моей голове», – огрызнулся он, и глаза его наливались кровью. Все знали, что Ушиша и весь его род были прокляты матерью дэвов, поэтому вражда с ним не обещала ничего хорошего. Его родные давно покинули эти места, а он остался здесь совсем один. Не было у него ни родителей, ни братьев, ни сестер. Кроме пастухов, ему не с кем было даже словечком перемолвиться. От них он узнал о замужестве Калшавы и в ту же ночь поскакал в деревню. Он даже не вздрогнул, когда на рассвете языки пламени охватили дом, внутри которого спала молодая семья. Не пожалел он об этом и потом, когда ему рассказали о страшной гибели молодоженов. «Отнял у меня женщину, а теперь пусть лежит рядом с ней в пепле», – бормотал он, обезумев от одиночества.

Однажды он отправился в деревню своей покойной тети, где жила жена его двоюродного брата. Он и раньше думал о ней, но не мог увести ее от мужа. А сейчас, когда Джарджи уехал за границу, бросив жену на произвол судьбы, все стало намного проще. Минани не стала сопротивляться и покорно пошла за ним. Отнять жену у родственника, конечно, не совсем достойный поступок для мужчины, но появление Минани стало настоящим счастьем в безрадостной жизни Ушиши. Женщина, уставшая от одиночества, не чувствовала

себя виноватой. Они поселились в деревне и начали новую жизнь. Ушиша по-прежнему сдавал пастбища в аренду, а за несколькими коровами и овцами присматривала Минани. Опершись на ствол ружья, он часто с улыбкой смотрел на свою жену, суетившуюся во дворе. Она оказалась работящей, навела в доме порядок, развела огород, а главное, родила ему детей. О большем он и мечтать не мог. Единственное, что его печалило, так это то, что Минани забеременела в третий раз. И чем ближе были роды, тем сильнее одолевала его печаль...

Мате и Саба наткнулись на него на тропинке. Ошалевший от горя, он и в тот день рыскал по лесу. С растрепанной бородой и шрамами на лице, точно после войны, он всех подавлял своим видом.

Дом Ушиши стоял на склоне горы. Правда, не было у него ни ограды, ни калитки, но по форме и по своему расположению он весьма напоминал крепость.

На пороге их встретила беременная Минани с двухлетним ребенком на руках. Даже смуглая кожа не могла скрыть синяков на ее лице. Она влажными глазами смотрела на мужа, будто стараясь без лишних слов, только по одному его движению или просто по глазам угадать любое его желание. Судя по животу, женщина была на последнем месяце беременности. Парни удивились, что она носит на руках такого тяжелого ребенка.

– Пусти его, настоящий мужик сам должен ходить, – проворчал Ушиши жене, когда они прошли через двор и остановились перед домом.

Услышав грубый голос отца, ребенок вздрогнул и задрогал голыми ножками. Минани послушно опустила мальчика на сырую землю, а сама пошла в кухню.

– Это сын мой, Цика, познакомьтесь! Он уже из автомата умеет стрелять, – с гордостью сказал он гостям.

Во дворе чего только не валялось: поленья, нарубленные дрова, ремни для конской упряжи, подковы, непригодные седла, топорища, стул со сломанной ножкой, ведро с вывалившимся дном, кукла с выколотыми глазами и даже заржавевший ствол карабина.

Мужчины сидели на тахте. Перед ними расстилалось все ущелье. Курили сигареты. Цика надувал подаренные ему воздушные шарик и время от времени проверял карманы, набитые конфетами, боясь, как бы они не высыпались оттуда. Он был весьма счастлив своим открытием: если надуть шарик и отпустить его, то он улетит. Скоро

к нему присоединилась только что проснувшаяся сестра, и если бы не грозный взгляд Ушиши, то они передрались бы, деля между собой подарки. Испуганные дети решили тихо все уладить и ушли оттуда подалее.

– В Рощу дэвов никто не ходит этой дорогой, не ходят туда и через ущелье, легче добираться через переход святилища Утурги, – осипшим баритоном начал хозяин. – Живу я здесь больше двадцати лет, но не слышал, чтобы кто-то ходил туда со стороны перевала Белого тура.

Было видно, что его интересовал не столько маршрут, сколько цель их поездки.

– Я-то обрадовался, думал, что все будут ходить туда этой дорогой, и не скучал бы я тут совсем один, – сказал он с грустью и обвел глазами рощу.

– Почему один, ведь у тебя же двое детей, и третий скоро будет, – с улыбкой сказал Мате.

– Да, уже ждем, – подтвердил он.

– Небось, мальчика хочешь? – спросил его Саба. Но он настолько был уверен в ответе, что это был скорее не вопрос, а просто сказанные для себя слова.

Ушиша вздрогнул, неожиданно нагнул голову, вперился невидящим взглядом в землю, а потом постарался своим обычным голосом изменить тему разговора.

– Мы должны выехать в шесть утра. До озер доедем на лошадях. Надо успеть добраться до перевала, пока трава покрывается росой, – но, не договорив, он встал и пошел к дому.

Нужно было вовремя подготовиться к холодной ночи. Минани возилась с ужином. Мате помогал хозяину рубить дрова и горячо спорил с ним о правилах охоты. Он утверждал, что не стоит убивать животных ради развлечения, а Ушиша охотился только ради этого. Мате и горец прерывали беседу небольшими паузами, устремив взгляд в одну и ту же точку, потом на мгновение замолкали и продолжали разговор с прежней энергией. В этот момент они были очень похожи друг на друга. Лежа на траве, Саба с улыбкой смотрел на них. Где смуглый, весь в шрамах, с мускулистым телом и мозолистыми руками Ушиша, а где Мате, худой, слегка ссутуленный, с синим беретом на голове. Но между ними было такое интересное сходство, что это не могло ускользнуть от внимательного взгляда фотографа.

Сели ужинать. Было уже за полночь, когда Ушиша заснул на тах-

те. Парни поднялись в отведенную для них комнату. На рассвете их разбудил холод. Лежа рядом и, скукожившись под одеялами, они шепотом переговаривались:

– Саба, ночью я слышал какой-то шум... и женский плач...

– Я тоже... – привстав с постели, Саба внимательно посмотрел другу в глаза.

– Что же получается...

– Хотел убедить себя, что мне приснилось все это во сне, но если и ты слышал, то я уже и не знаю, что думать...

– Странно, я то же самое подумал.

Их разговор прервал хриплый голос хозяина.

– Скорей, ребята, скорей! – звал он их из-за дверей.

Парни быстро встали и начали одеваться. Возможно, они не вспомнили бы подробностей своего прерванного разговора, если бы потом их сомнения не усилились бы еще больше. Они уже были готовы к отъезду, но Минани так и не появилась. Ушиша молча снаряжал лошадей. Как только парни поднялись на склон горы, им показалось, что в окне промелькнуло почерневшее лицо женщины. Но ни один из них не был уверен, увидел он ее на самом деле или ему померещилось. Было трудно различить что-либо, так как утро было туманное.

Ушиша погонял лошадей. Он взялся проводить их до перевала Белого тура...

\*\*\*

Возня вокруг каменного дома поутихла. Все собрались в бревенчатой кухне. Начиналось пиршество. Каждый обед превращался хозяевами в кутеж. Не расходились до поздней ночи. Местные парни старались понравиться городским девушкам. Они пели песни и читали стихи. Из кухни доносились смех, звуки гитары и звон стаканов. Только двое стояли снаружи, около палатки. Мате складывал свои вещи в рюкзак. «Спиртовка, чай, веревка, фонарь», – шептал он про себя, стараясь ничего не забыть.

– Сколько же они выпили сегодня? – деловито спросил он, завывая рюкзак.

– Последний литр водки, что девочки принесли, уже выпили, – ответил Саба.

– Добавь еще, – сказал он с улыбкой и протянул ему бутылку.

– Всю ночь продержимся, такая она крепкая, – также с улыбкой проговорил Саба.

– Иди, дай им это, мы должны пройти все ущелье, хочу при лунном свете сфотографировать заднюю стену крепости.

– Хорошо, – согласился Саба, а после короткого молчания добавил: «Я из-за Кесо переживаю, вдруг ради тебя вздумает пойти с нами».

– Она мне совершенно безразлична. Понять не могу, почему я встретил ее именно здесь? Как могли совпасть наши маршруты? – растерянно проговорил Мате.

– Не смей меня, я же постоянно наблюдаю за вами, да и по глазам видно все.

– Саба, мы теряем время, – сказал он, опустив голову.

Столовая была освещена едва проникавшим сквозь окна слабым светом, на фоне которого мелькали силуэты людей. Мате разобрал палатку. Утром они все равно должны были покинуть деревню, поэтому он хотел заранее подготовить все необходимое. Саба вернулся с весьма довольным лицом. Как они и предполагали, их идея никому не понравилась, и с ними никто не собирался идти.

Парни спустили основной багаж в маленький домик у реки, а потом стали подниматься по горному склону, засыпанному острыми камнями. Они несли рюкзак, набитый только теми вещами, которые могли им понадобиться в ту ночь. Луна, блуждающая над вершинами скал, медленно приближалась к той точке, откуда она могла осветить их северную часть, а это могло помочь парням взбираться по склону. Саба придумал фотосъемки только потому, чтобы отвлечь внимание местных жителей, так как свет фонарей мог раскрыть их замысел, и, возможно, их заметили бы из деревни.

Они поспешно пробирались по ущелью, вьющемуся меж скал, и, обогнув крепость, направились к Орлиному гумну. Они ступали по крутому склону вымеренными шагами, цепляясь кирками за выступы скал и, помогая друг другу, сокращали путь к намеченной цели.

Мате узнал о святилище богочеловека Утурги от местных жителей и сразу решил пойти туда. Он знал, что любая деталь могла иметь важное значение. Именно поэтому он не обращал внимания на строгие предупреждения. По верованиям горцев, посещение святилища богочеловека было оскорблением племени и тяжким преступлением, а нарушивший этот запрет мог стать жертвой страшно-



го проклятия.

Орлиным гумном называли вершину скалистой горы. Именно там они должны были найти развалины древнего языческого святилища. На скале показалась огромная каменная тахта. Трудно было понять, сама ли природа образовала пространство, напоминающее комнату, или она кем-то была вырублена в скале. В темноте было трудно различить что-либо. Они прямо на тахте постелили спальные мешки и присели. Луна висела на небе, словно лампочка. В ее свете четко различались контуры окрестных скал, между которыми, будто остров, возвышалось Орлиное гумно, которое сверху смотрело на все это. А небо было настолько близко, что, казалось, служило крышей святилищу богочеловека. Наверно, сам Утурги тоже верил в свое величие, раз он поселился в этой части скал. А внизу он возвел неприступную крепость, обнесенную, как изгородью, природными скальными выступами.

Дул ветерок. Парни сидели молча. Пили чай. Растворившись во времени, они словно дремали, спокойные, умиротворенные, потерявшие грань между сном и реальностью. Они пришли в себя только тогда, когда первый луч солнца упал на каменную тахту.

Встали, не обмолвившись ни единым словом. Начали сползать со склона. «Господи – Ты Путь и Истина», – шептали они про себя, как всегда перед началом любого похода. Пенящаяся река, которая, как будто только-что проснулась, со всей силой билась об огромные каменные глыбы. И лишь удары кирки о скалы нарушали тишину серой природы.

Они прошли скалистые горы и пошли по узкой тропинке. Им нужно было дойти до берега реки, где был оставлен багаж, а затем пробраться к святилищу. Именно там находилась деревня, ради которой они отправились в поход.

Вскоре они увидели два силуэта. Это были Баха и Кесо.

– Где вы? Целый час вас ищем! – увидев их, вскрикнула девушка.

Ответа не последовало.

Пьяный, с раскрасневшимся лицом, Баха еле передвигал ноги.

Мы там все обошли, а потом увидели, как вы оттуда спускались, – продолжала Кесо.

– Все-таки посмели туда подняться? – прошипел горец и схватил Мате за воротник.

Саба растерялся от неожиданности, но не успел он опомнить-

ся, как его товарищ бросил на землю горца и стал скручивать ему руки.

– Не прощу я вам этого, вернетесь в деревню, и убью вас! – хрипел Баха, распростертый на земле.

Испуганная Кесо стояла неподвижно и не знала, что делать.

– Саба, дай веревку, – крикнул Мате.

Вместе с веревкой он принес платок, чтоб заткнуть горцу рот.

Баха валялся на земле со связанными руками и ругался.

– Никуда от меня не денетесь, никуда не скроетесь, сами себе вынесли приговор, убью! – доносились до них его приглушенные ругательства.

Мате взял за руки Кесо и почти насильно увел ее. На лице побледневшей девушки одновременно отражались и страх, и удивление.

– Где остальные? – строго спросил Мате.

– Не знаю, пили до четырех утра, а потом он предложил мне прогуляться, вот я и пошла с ним, думала, вас увижу, – проговорила она сквозь слезы.

– Еще нет шести часов, наверно, они пока спят, – сказал Саба.

– Короче, слушайте внимательно, берем вещи и возвращаемся назад, к перевалу Белого тура, поняли? Ты была свидетельницей, тебя и спросят, знай. Вот ты и скажи, нет проблем, – говорил Мате, не сводя глаз с Кесо.

– А если они догонят вас? – спросила она, вытирая слезы.

– Не догонят, – сказал он и поцеловал девушку.

– Они не знают, почему мы здесь и куда мы собираемся идти, так что поверят, – добавил Саба.

– Иди, поднимись туда, развяжи Баху, тебе он ничего плохого не сделает. Скажи, что ты растерялась, ничего не поняла, притворись, короче.

Девушка покорно кивала головой, и слезы катились у нее из глаз. Парни вынесли из домика весь свой багаж. Они поспешно пустились по тропинке, которая шла прямо через деревню, где все еще мирно спали. Лучи солнца уже проникли в ущелье. Дома из скального камня дымились от испаряющейся влаги.

– Я сразу нашел выход, потому и сказал, что пойдём в сторону Белого тура, – начал Мате, когда деревня осталась далеко позади.

– Какой выход?

– Если мы перейдем реку и пройдем вон тот хребет, то окажемся как раз в том месте, ради которого мы сюда пришли. Правда, тро-

пинка не идет туда, но это и к лучшему. Это собьет с толку преследователей.

– Посмотри, какой крутой склон! – рукой показал Саба.

– Это отсюда так кажется, но перейти через него будет несложно. Так мы выиграем больше времени, главное продержаться до наступления ночи, а потом пусть ищут сколько хотят. Всё равно не найдут!

– Не знаю, человека-то мы избили, а назад вернулись той же дорогой, какой добирались сюда.

– Почему они должны нас заподозрить? – успокаивал себя Саба. Он последний раз окинул взглядом местность и ясно увидел предстоящий маршрут.

Свернули с дороги в кустарник и скоро вышли на каменный берег реки, окаймленный лесными полосами. Легко нашли брод. Сначала забрались в глубь леса, потом пошли в другую сторону и направились вверх по течению реки. Часто смотрели в ту сторону, откуда должны были появиться преследователи. Скоро парни увидели четырех всадников, выехавших из села и направлявшихся, как они думали, в сторону перевала Белого тура.

\*\*\*

...Ей было за семьдесят. Они извинились за беспокойство. Женщина без всяких эмоций вела их за собой к маленькому домику на окраине леса. За домом стояла полуразрушенная каменная башня. В лунном свете она отливала серебром, и развалины смотрелись весьма необычно. Старушка еще издали увидела огонь их фонарей и догадалась, что они сбились с пути. «Тропинки-то нигде нет, кто же это мог быть, если не вы», – шепелявила она, выйдя им на помощь. В одной руке она держала ружье, а в другой коптилку. У мальчиков горело все тело, ноги пекло. Знали, что Баха не сразу разгадает их замысел, но все же переживали. Уселись на деревянной скамейке. Ели мацони с черствым хлебом, принесенное старушкой, и осматривали слабоосвещенную комнату. Везде чувствовался запах сырости и старья. Не успел Мате подумать о том, как могла эта женщина жить здесь в стороне от всех, как Саба спросил ее:

– Вы одна живете?

– Нет, с мужем, просто я послала его в город за лекарствами, – сказала она и подложила в печку дрова. Раньше в другой деревне

жили, а здесь пастбища хорошие, вот и переселились сюда лет десять назад, – продолжала она спокойно.

– Почему эта деревня называется Рощей дэвов? – спросил ее Саба, когда старуха под села к ним и начала есть мацони.

– Устанете, а то я бы рассказала, не поленилась бы, все равно мне не заснуть, глаз уже не сомкну.

– Интересно, расскажите, – почти в один голос сказали они.

– Вот эти развалины башни – это остатки крепости. Раньше там была деревня, и жили в ней Абианури. Однажды старейшина рода нашел рубашку матери дэвов, да такую сияющую, что глаза слепило. Проклятая там же и спала. Проснулась, не нашла рубашки и от ужаса начала вопить. От ее крика сошла лавина с гор, реки вышли из берегов и затопили сеновалы, половину деревни смыло в ущелье. Старейшина не испугался. Он схватил ее за уши, а она взмолилась и говорит ему: «Верни мою рубашку, и я исполню любое твоё желание!». Так поработил старейшина Абианури мать дэвов. Рубашку он спрятал в сундук, а ее заставлял выполнять любую тяжелую работу. Она и землю пахала, и сено косила, и зерно молотила. В тот год урожай выдался большой. Люди перестали враждовать между собой, никто никого не убивал, и никто не совершал никакого греха. Все узнали, что произошло в селе Абианури. Люди приходили туда из других деревень, чтобы увидеть усмиренную мать дэвов. В то время Утурги воевал с грозными воинами. На них красовались бычьи головы, а от ударов их мечей сыпались искры. Утурги лишился в бою своей кольчуги, которая была на нем с самого рождения, но все же успел спастись бегством. Вернувшись домой, он узнал, что случилось с матерью дэвов, и сразу пошел к Абианури. Старейшина отказался освободить мать дэвов. Тогда Утурги мощным ударом меча разрубил ему голову. Он вернул рубашку матери дэвов, а сам начал расправляться с жителями деревни, пришедшими на помощь к старейшине. Не пощадил он ни женщин, ни детей. А все, что осталось, он предал огню, и все кругом померкло. Уцелела только эта башня, да и то потому, что в ней ночевали Утурги и мать дэвов.

– А почему Утурги помогал матери дэвов? – спросили они старушку.

– Утурги появился на свет с родимым пятном и окровавленной правой рукой, потому и стал он убийцей, а еще на нем была кольчуга, что говорило о его бессмертии. Рассказывали, что мать дэвов, которая была матерью всем чертям и дьяволам, была и его матерью,

– старушка немного помолчала, потом она положила банку на стол и продолжила свой рассказ.

– Утурги вышел из башни в своей кольчуге. Его встретили вооруженные воины. Теперь ему легко досталась победа в бою. Он дошел до страны своих врагов и не оставил там никого в живых.

– Потом? – чуть слышно проговорил Саба.

– После этих событий мать дэвов осталась жить здесь. В полночь она и сейчас бродит за ручейком. Окликнет человека по имени, а кто отзовется, то тот или сам покончит с собой или она его убьет. Ночью туда без огня не хожу. После того, что с ней случилось в деревне Абианури, она стала бояться света, – шепелявила старуха и подбавляла в печку дров.

– А что с ней там случилось?

– Горящее бревно спалило ей хвост.

– Пойду туда, с собой ничего не возьму, – с воодушевлением сказал Мате и посмотрел сначала на Сабу, а потом на старушку. Женщины равнодушно смотрела в сторону неосвященной комнаты.

– Ты крест должен снять с себя, сынок, а то она не появится, мать дэвов боится креста, – проговорила она, когда Мате уже собирался выходить из комнаты.

– А нож оставить?

– Оставь, чтобы чего не натворил.

Парень оставил только крест и ушел. Добравшись до развалин, он присел.

Саба продолжал свой разговор со старухой.

– А спасся кто-нибудь из рода Абианури?

– В тот страшный день двое ребятишек остались в живых, но мать дэвов прокляла весь их род. С тех пор у них в роду только двое мужчин. Если же рождается мальчик, то умирает или новорожденный, или его отец, или же кто-то другой. Они, сынок, никогда не будут счастливы. Вон там, в ущелье, один Ушиша и живет. Все знают, какая у него жизнь, потому и боятся его. Говорят, что он увел жену у двоюродного брата.

– А Ушиша последний из рода Абианури?

– Нет, у него мальчик есть. В роду теперь двое мужчин. Но жена у него беременная. Если родится мальчик, то один из них станет жертвой матери дэвов.

Саба уже собирался сказать, что Мате ведь тоже Абиануридзе и что если проклятие существовало бы на самом деле, то оно и его кос-

нулось бы, потому что в роду теперь трое мужчин. Выходит, что все это выдумки. Но почему-то он решил промолчать.

– А слышали ли вы что-нибудь об Абиануридзе? – спросил он старуху.

– Говорят, что дедушка Ушиши поселился в городе и стал Абиануридзе. Потом он пошел на войну, но перешел на сторону фашистов. Вскоре его убили. Осталась у него беременная жена. Видимо, девочка родилась, не то мать дэвов забрала бы к себе отца Ушиши или его брата.

Мате неподвижно лежал на булыжнике. Над его головой колыхались стебельки трав, выросших на каменной стене башни. Он силился следить за их движением. Вдруг он почувствовал, что у него стали отниматься ноги, когда из кустов крапивы на него неподвижно уставилось несколько пар блестящих глаз. Он хотел подняться или хотя бы перевернуться на другой бок, но тут услышал чей-то голос и остолбенел от вида странного гостя, у которого не было рта, хотя он все выговаривал довольно четко:

– Ты никогда не против, чтобы измениться, не хочешь быть неуверенным и нестабильным. Ты вечно страдаешь из-за того, что пытаешься свалить вину за собственные промахи на кого-то другого. В твоей жизни ничего не меняется, ты опять продолжаешь жить по старому. А душа болит у тебя от того, что обманываешь себя, прекрасно понимая, что причина всего таится в тебе самом. Но ты не хочешь признаться в этом, пытаешься подавить в себе это чувство, зарыть его глубоко в душе, похоронить его там, где оно родилось. Размышляешь, в чем смысл твоей жизни, счастлив ты или несчастлив. Ты вечно вспоминаешь каждый эпизод из своей жизни, любовь и одиночество, и опять одиночество и любовь. Ты точно так же стараешься убежать от одиночества, как и от людей. Но куда бы ты ни пошел, не убежал, везде эта девушка стоит перед тобой, именно она остается для тебя самым дорогим существом на свете. Наверно, ты понял, что то, что ты ищешь, и заставляет тебя метаться из стороны в сторону, бежать по дорогам и тропинкам, ведущим в небо, туда, где нет боли, нет лжи, а есть только правда. Даже простой булыжник лежит именно там, где он должен лежать, тем более человек имеет в жизни какую-то определенную цель, жизнь не может быть пустой. А у тебя вновь хаос, вновь дорога и вновь бесконечные поиски. И ты по-прежнему стараешься почувствовать грань между одиночеством и любовью.

Мате пронизывала дрожь, но он не мог шевелиться. Блестящие глаза были устремлены на него, и монолог продолжался.

– Ты когда-либо задумывался над тем, что человек начинает познавать самого себя только после попытки проникнуть в чужое подсознание. И даже если эта попытка бывает безуспешной, то все равно возникает желание познать что-то неведомое. За одной безуспешной попыткой следует другая, за другой третья и так продолжается до тех пор, пока ты не начинаешь понимать, что это пустая трата времени. Ты должен понять, что если ты не будешь стремиться познать самого себя, то ты никогда не сможешь подойти к зеркалу и, заглянув в глаза тому, кто там, сказать, что он пьяница, наркоман, невезучий человек. Не важно, что ты ему скажешь, потому что ты вновь столкнешься с самим собой. Ты уже не хочешь обманывать себя, и тебе хочется признаться в том, что тебя так беспокоит и гложет. В такие минуты, оставшись наедине с самим собой, легче признаться себе, чего тебе хочется, где бы тебе хотелось находиться. Ты начинаешь осознавать, что твои поиски не увенчались успехом, что тебе опять нужно копаться в чужом подсознании, и все это только для того, чтобы через несколько месяцев увидеть себя в зеркале немножко возмужавшим, но все с той же пустотой в глазах. Этот путь познания самого себя близок тебе, он для тебя превыше всего, хотя иногда тебя все равно одолевают сомнения. Как ты собираешься прекратить эти бессмысленные поиски? Но если ты поставишь на этом точку, то твоя жизнь потеряет всякий смысл. Это станет твоим концом. Не напрасно же ты верил, что главное – это поиски смысла жизни. Ведь именно с отчаяния ты стал пьянствовать. Но бывало, что ты, весь выпачканный в мазуте, зарабатывал жалкие гроши, а иногда ты весьма прилежно учился и старался углубить свои знания в надежде на что-то лучшее. Но чего ты достиг? Ты стал жалким человечком. Ты ничем не отличаешься от других. Счастье? Если ты это называешь счастьем, то оно весьма призрачное. Ты же прекрасно знаешь, что оно ничего общего не имеет с истинным счастьем. Иногда, словно зомбированный, ты думаешь, что делаешь то, чего тебе хочется, и учишься не прислушиваться к внутреннему голосу, который говорит тебе, что тебе этого не нужно, что это не ты, что ты обманываешь себя. В такие минуты ты наслаждаешься иллюзорным счастьем. И если тебе кто-то скажет, что любая собака счастливее тебя, то, возможно, он будет прав.

Почему ты упустил свое? Сколько раз ты жалел об этом, оставшись совершенно один. Потом счастье вновь приходило, и ты опять



цеплялся за новую любовь. Ты был вечно влюблен, а объекты все время были разные. Кто-то был похож на тебя, у кого-то характер был полегче, а у кого-то еще хуже, чем у тебя. Когда ты думаешь об этом, то тебе хочется сказать, что жизнь прекрасна, что ты прошел через все, был и ангелом, и дьяволом. И ты бежал от кого-то и от чего-то, убивал кого-то, а в придачу и себя. И это только потому, что ты хотел с чем-то покончить и начать все сначала. Это же глупость, не правда ли? Ведь ничего же не изменилось?

Ветерок усилился, прижав стебельки трав к стене башни. Мате почувствовал облегчение и присел. Над ним было усеянное звездами небо. «Видимо, эти звезды я принял за чьи-то глаза», – подумал он и стал прислушиваться, не доносится ли опять этот голос, но напрасно, рядом уже никого не было.

– Мате, нет никакого проклятия! Ушиша ведь тоже Абианури, слышишь! Вас же трое! Что ты делаешь! – кричал ему Саба, и сердце у него разрывалось. – Не делай этого, Мате.

Мате в синем берете сидел неподвижно, приставив лезвие ножа к своему горлу.

– Что ты делаешь! – закричал Саба, выхватив у него нож, – Что с тобой? Не говори, что видел мать дэвов? Опомнись, вас трое! Пойми же!

– А чего ты ко мне пристал? Я же просто подбородок хотел почесать этим ножом. Что ты паникуешь? – сказал он товарищу, а потом встал и начал спускаться вниз по склону.

– Что ты собираешься делать? – закричал ему вслед Саба и кинулся его догонять.

– Возьму багаж и пойду в святилище. Пойдешь со мной?

Саба с удивлением смотрел на друга и шел за ним, стараясь не отставать от него.

Сейчас, когда они уже все выяснили, ему трудно было понять своего друга.

Вернувшись в маленький домик и узнав у старушки, как добратся до святилища, они сразу же пустились по тропинке. Нахмурившись и опустив голову, Мате шел быстрыми шагами, даже не оглядываясь назад. А все началось после того, как он чудом спасся от смерти. Однажды во время рыбалки на замерзшем озере треснул лед, и он провалился в воду. Когда он пришел в себя, то ничего не помнил из того, что произошло с ним. Смотрел на суетившихся вокруг него врачей, на плачущую бабушку, которая с жалким видом



сидела в углу палаты. Никто не мог понять, как ему удалось добраться до берега и кто вытащил его из ледяной воды. После этого случая бабушка рассказала ему о родовом проклятии. «Сынок, ведь достаточно простого наблюдения, чтобы поверить в это, – говорила она ему ласковым голосом. – Судьба всех Абиануридзе была роковой и необычной. Все они глупо погибли. Прадед стал нацистом, и в 1946 году его убили в Варшаве. Даже все его подразделение полностью уничтожили. Дед был моряком и стал жертвой разбушевавшегося моря. Один из его братьев умер еще в колыбели от оконного стекла, разбитого порывом ветра, а второго брата поезд сбил. Отец упал с дерева в том самом месте, где кто-то воткнул в землю острый кол». Бабушкины рассказы мутили ему разум и раздирали душу.

– Только ты и остался у меня, сынок, побереги себя, не ходи в такие опасные места, – причитала старушка.

Мате старался развеять закраившиеся в душу сомнения. Он не хотел верить в существование этого проклятия, хотя жизнь его предков прекрасно показывала, что в роду на самом деле никогда не было троих мужчин. А вдруг это и вправду случайность? Бабушка говорила, что предки Абиануридзе были горскими Абианури, которые потом поселились на равнине. Ходили слухи, что кто-то из них убил там человека и, опасаясь возмездия, весь род был вынужден покинуть горы. Но, возможно, не все оттуда ушли? Может и сейчас живет в горах кто-то из его однофамильцев? Эти неотступные мысли не давали ему покоя. Едва выздоровев, он твердо решил узнать правду.

Мате уже не мог жить по-прежнему, не мог думать ни о чем другом, даже ушел с работы. Стал много читать, ходил по библиотекам, пытаясь за что-то ухватиться. Читал все подряд, начиная с церковного права и кончая географией. В указателе древнейших грузинских фамилий ему все же удалось найти скудную информацию о своих предках: «Абианури – древнейший род, проживавший в деревне Роцца дэвов». Потом он стал копаться в телефонных справочниках и в компьютерных базах, ходил даже в регистрационные службы актов гражданского состояния. И все напрасно: ни в одном справочнике не было такой фамилии. Оставалось лишь одно: собственными глазами увидеть родовую деревню. Он думал, что ему там удастся хотя бы что-то выяснить. Саба был единственным человеком, который мог его понять. Ему было трудно перечесть бабушке. Но вот настал этот день, и они двинулись в путь.

Мате с прикрепленным к берету фонарем почти бежал по тро-

пинке. Быстро устав, Саба еле поспевал за другом, всеми силами пытаясь побороть боль в ногах. Раньше он занимался спортом, потом начал вести довольно бурную жизнь. Но, вовремя опомнившись, пошел в церковь и только там обрел душевный покой. Сейчас он полностью следовал советам своего духовника. Дома его ругали, что он тянет с женитьбой, что он уже слишком взрослый. Саба же думал, что любовь – это Божья благодать и не стоит ее искать, она сама придет, когда этого пожелает Господь. А ты просто должен ждать ее, молиться, держать пост, слушаться своего духовника. Но однажды во время проповеди его духовник как-то обмолвился, что грузинское застолье является естественным продолжением церковной службы. Эти слова так подействовали на Сабу, что он начал пить и ничего не хотел слушать, даже самого духовника, сказавшего эти слова. Не нравилась ему и покорность родителей. Церковь не очень-то его изменила, хотя она вернула ему силы и вселила надежду.

Мате считал, что он без всяких усилий может получить любое религиозное знание, и ни с кем никогда не обсуждал эту тему. Собирались уйти в монастырь. Позвали с собой Сабу. Но он отказался идти с друзьями, сказав, что не готов к этому. Рассердившись, Мате вспомнил, как один из его друзей, который тоже отказывался от исповеди, оправдывался тем, что не готов к покаянию, а сам спрашивал себя: «Когда же человек будет готов говорить о своих грехах Самому Богу?»

Среди парней, собиравшихся вместе с Мате идти в монастырь, один был наркоманом, а другой – художником. И если послушать Сабу, то никто из них не заслуживал монастырской жизни. Наркоман шел туда, чтобы меньше думать о глупостях, а художник желал подавить свои греховные фантазии. И кто тогда думал о том, готов он к этому или нет. Мате знал, что не стоит с ними спорить. Саба вел себя точно так же, стараясь никому не навязывать своего мнения. Он не относился к тем верующим, которые во время поста просят благословения у священника на то, чтобы заедать чай булочкой.

Они продолжали идти молча. Сабе казалось, что он спит и все это видит во сне. Выбившись из сил, Мате тоже шел медленно. Остановились только под утро. Похоже, Мате был так погружен в свои мысли, что не замечал присутствия Сабы, который зря старался завязать с ним разговор. С побледневшим лицом Мате сидел у костра и куда-то смотрел.

Саба очнулся от странного шума. Можно было подумать, что где-

то сошла лавина. От страха он прижался к стенке палатки. Он даже не заметил, что Мате куда-то исчез. Вдруг в дверях показался человек с растрепанной бородой и улыбкой на лице, весьма напоминавший лесного духа Очопинтре.

– Бог тебе в помощь, – грубым голосом начал незнакомец. – Я Хтисо, старейшина этого ущелья, – с особой гордостью произнес он последние слова.

– Доброе утро! – поздоровался с ним Саба, а сам подумал: «Кому нужен в этом безлюдном ущелье старейшина?».

– Да, – начал бородатый, словно поняв мысли Сабы, – здесь давно уже никто не живет: кто на равнине поселился, кто умер. Здесь остался только я. Держу несколько коров, вот и сейчас веду их на верхние пастбища.

Потом оба замолкли.

– Как ты добрался сюда один, – спросил его Очопинтре, а сам протиснулся в палатку, сел у входа, положив рядом с собой дубинку.

– Я не один, я пришел со своим другом. Собираемся пробраться в святилище Утурги, – сказал он и выглянул из палатки. Дождевые облака закрывали солнце, поэтому утро было очень темным.

– Откуда вы пришли? – опять раздался голос Хтисо.

– Вчера спустились с верхних пастбищ, – соврал Саба.

– Странно, ведь вчера я ходил туда хлевы чистить, а вас там не видел.

– Темно уже было, – сказал Саба, стараясь казаться спокойным.

– Позавчера двое парней ходили в святилище Утурги. Баха узнал об этом и решил отомстить им за это. Он подстерег их на тропинке, но парни повалили его на землю, связали веревками, а сами пошли в сторону перевала Белого тура. Наверно, парни были сильными, с Бахой не так просто справиться. Говорят, что они куда-то пропали, местные везде их ищут, вот и подумал, может это...

– Нет, это не мы, – не дал ему договорить Саба. Он прекрасно понимал, что ему трудно сдерживать себя. Он нагнулся, чтобы достать из рюкзака сигарету и вдруг обнаружил, что вместе с Мате пропали и его вещи.

– Возьми, кури это, – сказал ему Хтисо, заметив, что он не может найти сигареты. Сначала Саба с удивлением разглядывал странную трубку в виде бычьей головы, а потом быстро зажег ее, сильно затя-

нулся и закашлялся.

– Сыннок, Бог дал мне столь долгую жизнь, что я уже и муравьиный язык понимаю, и шепот ветерка разобрать могу. Я так сросся со всем этим, что иногда даже не могу отделить себя от окружающих меня существ, от гор, от травы, – многозначительно произнес старейшина. Саба продолжал курить трубку и чувствовал необычное спокойствие от слов Очопинтре.

– Родители мои были язычниками и с детства водили меня в святилище. Я и тогда уже не верил. Мое сердце говорило совсем другое. Я был убежден, что Господь не требовал от людей принесения в жертву животных, – спокойным голосом продолжал странный гость. – Помню и тогдашнего старейшину. Он уверял всех, что мать дэвов похитила нашего односельчанина и убила его. Он убедил их, что умилостивить ее можно только жертвой. Тогда люди погнали к ручью Цихуры всех годовалых телят и принесли их в жертву матери дэвов. А через несколько месяцев я нашел тело погибшего в раставившей лавине. Я сразу понял, что это Хирчила. Его ружье я узнал бы среди тысяч других. Конечно, не могла же его забрать к себе мать дэвов?!

– А что сказали в деревне, небось, удивились?

– Нет, я его там похоронил и никому ничего не стал рассказывать. Все равно не смог бы переубедить людей. Они верили в существование матери дэвов и считали, что Хирчила был проклят ею, поэтому они никогда не предали бы земле этого беднягу и в тот же день сожгли бы на костре. Поэтому я и решил так поступить.

Вдруг Саба вспомнил, что Мате ушел, и его охватил страх. А Хтисо блаженствовал, курил трубку, затягивался и с воодушевлением продолжал:

– Мне было десять лет, когда отец взял меня в гости к названному брату. В тот год зима выдалась особенно снежной. Тогда впервые я увидел, как снежная лавина погребла под собой целую деревню, прямо на наших глазах она накрыла и людей, и коров, и собак, и даже башни. Отец взял меня на руки и крепко прижал к себе, он думал, что это напугает меня, и не хотел, чтобы я все это видел.

Очопинтре замолк, а потом опять обратился к парню:

– А знаешь, что я тогда чувствовал? Я чувствовал, что Всевышний во всем: и в деревьях, и в камнях, в каждом человеке, в ветре, и в сходе лавин...

– А Утурги ведь был реальным человеком, а значит, никто не вы-

думывал, что он имел власть над людьми и был кровопийцей, – проговорил Саба, весьма удивленный рассказом Очопинтре.

– Сынок, раз я тут один живу в горах, ты не думай, что я ничего не знаю. Разве на земле не было никого, могущественнее Утурги? Разве они не властвовали над людьми? Разве они не завоевывали гораздо больше земель? Но кто из них был равен Господу Богу?

Слова Хтисо озадачили парня. Он сидел молча.

– Если ты веришь в Бога, то ты должен верить и в существование дьявола, не так ли? – лицо Хтисо светилось воодушевлением, но, возможно, на него падали лучи солнца.

– Да, – согласился Саба.

– А дьявол вот здесь борется с нами, – сказал Хтисо и приложил руку к голове, – вот здесь, – проговорил он, повторив рукой то же самое движение. – Язычники поклонялись только идолам и выдуманным святыням, и никому, кроме них, не приносили жертву. А потом появился этот проклятый, образованный и беспощадный воин. Сначала он построил неприступную крепость, а потом подчинил сельчан своей воле и даже заставил их платить ему дань. Так он стал господствовать в горах. Он часто нападал на соседние племена, и все страшно боялись его. А в жизни язычников изменилось лишь то, что вместо бездушных идолов они стали поклоняться живому человеку. Вот так и обожествился он в их сознании, понимаешь, сынок? Потом появилось множество легенд, а на Орлином гумне и сегодня видны развалины его крепости, которые сейчас служат сельчанам святилищем.

Саба слушал его с удивлением.

– А не то, кто бы смог убить Бога? – захлебываясь продолжал Очопинтре.

– Говорят, что на нем была кольчуга, а сквозь нее кольца копье не проникало, – попытался сказать Саба.

– Он был весьма богат, и у него на самом деле могла быть кольчуга из закаленной стали. Видимо, это и поразило местных язычников, которые стали его почитать как бога.

– Точно так же, как индейцы приняли всадников Кортеса за богов, – невольно произнес Саба.

– А потом великий царь дал законы горцам и начал наводить в горах порядок. Тогда он и позвал к себе Утурги. Но по дороге какой-то воин убил богочеловека одним ударом копья, вот так и все было, – старейшина повернулся к Сабе и по-дружески похлопал его по пле-

чу. – Настоящий мужчина не должен верить в сказки для невеж.

От слов старика у Сабы голова шла кругом, он смотрел на него и не находил слов.

– Иди, отыщи своего друга, ему нужна твоя помощь. Иди! – повторил он еще раз и сунул ему в руки сумку.

Растрепанный Саба механически собрал вещи, разобрал палатку, а когда он уже собирался попрощаться с Хтисо, то там уже не было ни бородатого горца, ни его коров. Саба стал искать его следы на еще влажной от росы земле. Но все напрасно. Только маленькая сумка напоминала ему о посещении Очопинтре. Саба чувствовал, что сердце его бешено колотилось, он не мог успокоиться. Дрожащими руками он начал разворачивать бумагу. На ней что-то было написано мельчайшими буквами, но его глаза выхватили только одно предложение: «Как рассеивается дым, Ты рассей их; как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия».

Саба бессмысленно шел вперед, он чувствовал страшную усталость. В горах особенно тяжело даются первые шаги. Трудно дышать, и рюкзак мешает, да еще надо передвигаться, вымеривая каждый шаг. Одним словом, чувствуешь себя, словно только прилетел из космоса, хотя через пару дней просыпаешься в палатке, как в собственном доме, будто здесь родился и вырос. А потом тебе уже все равно, идет ли дождь, шумит ли ветер, наступает ночь или уже светает, голоден ты или сыт. Ты все идешь и идешь, а под ногами у тебя весь земной шар, будто ты вращаешь его по кругу. Все начинается с тебя, и все кончается тобой. Ты начинаешь чувствовать природу точно так же, как чувствуешь собственную боль и радость. В городе трудно представить, что рядом с тобой может жить стрекоза, мышь или кузнечик. А здесь все это так естественно, что ты даже не чувствуешь дискомфорта. Ты все по-другому воспринимаешь, все это дает много пищи твоему воображению, это единение всех твоих ощущений. Счастье становится для тебя таким же дорогим, как и несчастье, здесь все перемешано, и ничего невозможно отделить друг от друга. Здесь ты становишься первозданным человеком. Бог здесь единственный, кто могущественен, ибо ты ближе к Нему. Ты обретаешь здесь душевное спокойствие. В таком состоянии тебе никогда не захочется убить человека, побить собаку или сделать что-то ужасное. Саба улыбнулся, подумав про себя, что если бы он изложил все это на бумаге, то такому полету мыслей позавидовал бы сам Ошо. Он постарался восстановить в памяти свой разговор с Очопинтре.

Как только он вспомнил Хтисо, он невольно вспомнил и того проводника, который сопровождал его и Мате, когда они в прошлом году поднимались на вершину скалистой горы. Единственная обязанность проводника состояла в том, чтобы идти впереди отряда и помогать ребятам миновать опасные места. Так он зарабатывал себе на жизнь. Этот маршрут, наверно, он прошел раз сто и столько же раз он видел испуганные глаза державшихся за канат парней. Проводник жил в пограничной зоне. Ему часто приходилось видеть, как из-за территории, из-за клочка земли люди убивали друг у друга матерей, детей, братьев и сестер. А он любил только горы, которые он считал священными, ведь там молились монахи, а святые апостолы говорили с Господом Богом. Разве можно убивать из-за того, чтобы передвинуть границу? Кто может устанавливать Богу границы? Какое значение имеет, в какой стране будет возвышаться эта гора? Разве Богу не все равно, где ты будешь молиться? Спрашивал он себя и тут же находил ответы на все вопросы: границы, враги – это слова, придуманные безбожными людьми. Вот такая простая философия была у проводника. Ущелья и горные вершины были его лучшими собеседниками. Он был их сыном, они вырастили его. Он часто бродил в горах в полном одиночестве и шептал про себя: «Я ваш сын и ваш пленник». Каждый раз, поднимаясь на вершину горы, он стоял изумленный, вот уже в тысячный раз чувствуя величие природы. Он с восхищением смотрел на острые траверсы скал и часто повторял туристам: «Не говорите ничего плохого об этой горе, не вы покоряете ее вершины, а это она или допускают вас к себе или же не допускает. Вы или покоряете горы или нет. Не противьтесь им! Если вы хотите выжить, то вы должны прислушиваться к ним и доверять им». Эти слова вызывали у туристов противоречивые чувства. У одних возникали вопросы, некоторые же требовали больше аргументов, а другие вообще не обращали на это никакого внимания. Проводник молча принимал любую реакцию, а своим угрюмым выражением лица он как бы ставил многоточие после собственных слов.

Саба шел по тропинке, не останавливаясь ни на минуту. Дождевые облака насквозь были пронизаны лучами солнца, которое окрашивало день в радужные цвета.

\*\*\*

Саба еще издали заметил мальчугана со спущенными штанами. Он старался убедить себя, что это ему просто показалось от сильной



усталости. Скоро у подножия огромной горы он увидел выстроенные в ряд хлевы. Они были уже почти разрушены, с провалившимися крышами и обросшими крапивой стенами. Только один из них стоял чуть поодаль. В рамах вместо стекол красовалась засаленная бумага. Ничего подобного он никогда не видел, разве что читал в книгах. Перед постройками протекала река. Через нее было переброшено бревно. Саба подошел совсем близко к мальчику и разглядел его перепачканные грязью щеки, сжатые в кулак руки, покрытые прыщами. Он уже успел поднять штаны и теперь с удивлением смотрел на незнакомца. Саба оглянулся вокруг, но кроме них там никого не было.

– А вот, что у меня есть! – вскричал мальчуган, не двигаясь с места и не сводя своих синих глаз с незнакомца. Саба увидел, как мальчишка вытянул вперед руку, разжал кулак и из него вылетел уцелевший огромный жук, а другие, уже раздавленные, упали на землю. Мальчик улыбался. Он вовсе не обращал внимания на свои покусанные и окровавленные руки.

– Как тебя зовут? – почти шепотом спросил Саба.

– Утурги, – быстро сказал он и сел рядом с ним.

У Сабы пересохло в горле.

– Не болит? – еле проговорил он, показывая глазами на его руки.

– Птичек собираю, – пролепетал мальчик. Саба не разобрал его слов и опять переспросил его. Но тут маленький Утурги побежал в сторону коней, которые пощипывали траву. Приблизившись к ним, он сбавил шаг и весь как-то скорчился. Саба заметил, как он взмахнул рукой, хотя и не понял, что произошло. Мальчик опять подошел к нему.

– Ты мой папа? – спросил вдруг он Сабу.

Саба не знал, что ответить, и молча смотрел на него. Мальчик поднес к лицу зажатого в кулаке жука и издал какие-то непонятные звуки. Вдруг он взмахнул рукой и выпустил насекомое. Потом он опять уселся рядом с Сабой. Сначала он поцеловал его в щеку, а потом повис у него на шее.

– Ты же мой папа? – шептал он.

– А где мама? – спросил растерянный Саба.

– Утурги поднял руку наверх: «Там. Она вместе с папой коров должна пригнать».

Он опять показал рукой на небо и сказал: «Я попросил птичку,



сказать им, что я люблю их».

Саба хотел как можно быстрее уйти отсюда, но ему надо было узнать, что случилось с Мате. Только это удерживало его здесь. Вдруг кто-то раздвинул в оконной раме засаленную бумагу. Скоро показалась растрепанная голова женщины, которая мгновенно скрылась. Через некоторое время дверь открылась и вышла женщина средних лет.

– Руса, зайди в дом, – позвала она ребенка. Но мальчишка не слушал ее и опять побежал к лошадям.

Саба невольно подумал про себя, почему Руса, а не Утурги. В голове у него все перемешалось. Женщина стояла молча и не сводила глаз с Сабы, а потом заговорила:

– Этого помешанного ищите?

– Вы говорите о Мате? Вы видели его? Почему помешанный? – выпалил он.

– Не знаю, кто он и как зовут его. Вчера собака начала лаять. Вышла я из дому и вижу, что валяется он за хлевом весь мокрый, с вытаращенными глазами и не шевелится. Подошла близко и по одежде поняла, что он не здешний. На дьявола он не был похож, а то я бы на месте убила бы несчастного. Вот этим ружьем и пробила бы ему грудь, – сказала она и неожиданно направила дуло ружья прямо на Сабу. Потом она опустила ружье и опять начала говорить:

– Вот он оставил какую-то бумагу. Здесь н бессмысленные слова написаны. Сам он куда-то убежал. Собака понеслась за ним с лаем. Еле отогнала собаку, не то она разодрала бы его в клочья.

– А он ничего не сказал? – спросил Саба.

– Нет, ничего. Убежал, словно в него бес вселился. Только он может так свести человека с ума.

– А куда он побежал? – дрожащим голосом спросил Саба.

– Туда, – сказала женщина и показала рукой в сторону святилища Утурги. – Вчера он не добрался бы туда. Дорога там такая, что туда даже днем опасно ходить. Не могу вас понять, все ходите и ходите, все что-то выискиваете, – сказала она с некоторым раздражением в голосе.

– Это ваш ребенок? – тихо спросил он женщину.

– Нет.

– Я об Утурги спрашиваю.

– О ком? Здесь нет никакого Утурги.

– Кто же этот ребенок? Вы только что назвали его Русой, – Саба

начал глазами искать мальчика, но его нигде не было.

– Уходи немедленно отсюда, пока я не застрелила тебя! – неожиданно рассердилась женщина и направила на него дуло ружья.

– Ухожу, ухожу, спасибо! – растерянно говорил Саба, спеша удалиться.

Женщина скрылась в хлеве. Вдруг Саба вспомнил, что она говорила о какой-то бумаге, и почувствовал, что от волнения у него стали отниматься ноги. Саба тихо подкрался, поднял бумагу и побежал сломя голову. Потом он остановился и развернул ее. С трудом можно было разобрать слова, неразборчиво написанные простым карандашом: «Саба, тогда тебе не показалось, он правда ее избил, ты на самом деле слышал ее плач. Он убьет ее. Он верит в существование этого проклятия. Я должен успеть...». Саба опустил на колени, потом упал на землю и неподвижным взглядом стал смотреть на небо. «Ушиша бьет Минани, чтобы у нее был выкидыш, чтобы она не родила сына», – подумал он. Но времени на раздумья не оставалось. Он поспешно вышел на тропинку. Теперь он точно знал, куда идти.

\*\*\*

«Если мужчина отнимет у мужа жену, то муж этой женщины в течение года может враждовать с ним, жечь, красть, грабить, и это будет считаться не преступлением, а законной кровной мезтью».

«Уложение царского двора» Георгия V Блистательного, статья 22.

1334-1335 гг.

– Кесо? – Саба не смог скрыть удивления, когда на тропинке увидел стоящую на коленях девушку.

– Еле успела, хотел покончить с собой, – с трудом выговорила Кесо и погладила по голове побледневшего Мате.

– Хотел покончить с собой?

– Джарджи вернулся...

– Джарджи вернулся?

– Только что видела здешних пастухов. Они сказали, что Джарджи был здесь, настоящий муж Минани.

Саба окаменел.

– Всех вырезал, все поджег. Даже отсюда видно, – девушка показала рукой в сторону небольшой возвышенности, находящейся в шагах десяти от них.

– Мате видел все это?

– Не знаю, когда я пришла туда, он стоял под деревом с мертвенно-бледным лицом, пытаюсь затянуть петлю. «Не смог его спасти, – шептал он, – какой смысл имеет моя жизнь, все равно ничего не смог изменить».

– А ты нас пошла искать?

– На второй день после вашего ухода я встретила на тропинке странного старика, прямо вылитого Очопинтре. Он даже не поздоровался со мной и начал говорить об Абиануридзе. Он попросил, чтоб я непременно нашла вас и сказала, что Баха не тронет вас. Меня это очень удивило, но расспрашивать не стала, не было времени. Украла у Бахи коня и помчалась к вам.

– Видела по дороге Утурги? А хлевы?

– Нет, я пробиралась по горному хребту и не заметила деревню. А кто такой Утурги?

Саба ничего не ответил. Он лег рядом со своим другом, расprostертым на земле, и стал смотреть на небо.

Мате лежал неподвижно. Ветерок доносил запах дыма от горящего дома Ушиши.

*Перевод с грузинского доктора филологических наук,  
профессора И.Б. Капанадзе*



Родился в 1948 году. Автор 23 книг, в том числе для детей. Руководитель Союза писателей Южной Осетии и преподаватель истории литературы Юго-Осетинского государственного университета.  
Живет в Цхинвале.

У нас в горах издавна существовали суровые законы. Например, непристойно было молодежи садиться за общий стол с мужчинами почтенного возраста. И, не дай Бог, случись подобное в старину, тень ложилась на всю фамилию. Оступившийся мог быть даже отвергнут своим родом, и, поскольку такой участи не хотел никто, все соблюдали обычай.

Со временем обстоятельства изменились. Нынче и женщины могут разделить застолье, поддержать тосты, ссылаясь на равноправие. Случается, что и за Святого Уастирджи, чье имя женщинам даже произносить не велено, могут поднять бокал и попросить его о помощи. А кое-кто и обязанности тамады умудряется принять на себя. Недавно одна из моих соседок как подхватила песню о Святом Уастирджи. Да, да о Святом Уастирджи со словами:

*Ой, ой, болезни твои да будут моими,  
Ой, в жертву принести себя я готова  
Тебе, белоусый, белобородый, золотой Уастирджи!..*

Даже не додумалась назвать его, согласно заведенному правилу для женщин, Лагтыдзуар, то есть Покровитель мужчин.

Да, сегодня, конечно, допускаются некоторые вольности, но там, где речь идет о женском достоинстве, нелишне сдерживать себя, соблюдать все правила. И помнить, что женщина прекрасна женственностью своей, и что не может быть приятно, тем более желанна та, которая и пашет, и кулаками машет, и тосты произносит наравне с мужчинами.

Ну, да Бог с ними, со всеми. Я вам хочу рассказать только об одной, о Маре, которую узнал в конце прошлого столетия, когда сломалась прежняя жизнь.

Чреба город небольшой, резвый юноша мог бы обойти все дома от восхода солнца до заката, да и отдохнуть бы еще успел. Здесь люди знают друг друга или в лицо, или по рассказам других.

Но Мару я не знал до этой встречи. Невысокого роста, худощавая, коротко подстриженные волосы ее торчали во все стороны, как щепки. Серый выцветший плащ висел и делал ее похожей на птицу со сломанным крылом. Она шла и шаталась, при этом тонкие ноги, которые она еле передвигала, как-то странно заплетались.

Мне многое довелось видеть на улицах Чреба: и застолья, и невиданные по своему размаху свадьбы, и драки. Приходилось быть и свидетелем несчастных случаев. Что я там не видел никогда – это пьяную женщину. И не то, что пьяную, даже выпившую.

И вдруг такое. Даже солнце как будто стало уже не так светить.

– Вот тебе один...два, три... подожди-ка, подожди, – тщетно пыталась она сосчитать что-то на своих согнутых пальцах.

– Видишь, как получается, – в то же время продолжал наш разговор мой попутчик и приятель, изысканно одетый интеллигент Грицко. – В двадцатом веке, в нашу беспокойную эпоху, эпоху сосуществования двух противоположных формаций – социалистической и капиталистической, при таком недоверии людей друг к другу, человеку приходится быть в постоянном страхе и тревоге, опасаясь...

Меня уже не интересовало, что будет говорить дальше мой собеседник, и чего стоит опасаться. Я смотрел только на Мару, так я был ошеломлен и даже озлоблен: неужели она пьяна? Женщина в таком виде на улице! Днем, при людях?!

– Ты знаешь, что мы здесь не замечаем? – философствовал дальше мой собеседник.

Удивительно, – подумал я в свою очередь. – Почему каждая эпоха в начале своем и конце как-то особенно склонна к философствованию? И большие войны обычно бывают или в начале, или в конце войны. Выходит, в середине века все не так откровенно, или что-то можно прикрыть, не приметить? Может, в этом все же причина? А как же тогда известная истина, что веревка рвется посередине. Почему она не берется в расчет?

– Слушай, долго ты будешь так стоять? – потянул меня за рукав Грицко.

Я стоял, смотрел на женщину и никак не хотел верить, что она пьяна.

– Кто она?

– Мара. И знаешь, – пытался продолжить разговор Грицко ...

– Она психически здорова?

– Да ну ее. Будь она неладна! И знаешь, – ему никак не хотелось прерывать свои рассуждения. – От этого ежедневного стремления прорваться куда-то вперед, быть, во что бы то ни стало, первым...

– Подожди-ка, подожди... три... – продолжала считать и никак не могла сосчитать свои пальцы Мара.

– Может, она пьяна?

– Да, оставь ты ее! – Грицко начал раздражаться. – И так от каждодневной суеты и мыслей о том, что имеем сегодня, и что будет завтра, нервы, что натянутые струны, и голова пухнет... – где-то издалека, не то из села Дменис, не то из поселка Знаур, были слышны взрывы пушечных снарядов. Пешеходы заволновались.

От вида пьяной женщины что-то необъяснимое, похожее на тяжелый грязный поток, собиралось на душе и неприятно раздувало грудь...

Потом я видел ее чаще. Мару. Обычно – на перекрестке двух улиц, около торгующего напитками магазина. Там по соседству был еще и пивной ларек. На работу мне приходилось идти мимо магазина, поэтому она часто попадалась на глаза – словно подбитая птица, еле стоявшая на ногах.

Не всегда она бывала пьяной, но бессменный старый, серый плащ, порванные теплые чулки, которые носила в любую погоду, и поношенные чувяки делали ее жалкий вид еще более убогим. Еще и пиво это проклятое. Она пила его или из горла или поспешно совала две-три бутылки в свою грязную сумку.

– Вот, возьми еще сегодня эти бутылки, и бедной будешь, если еще появишься здесь, – выговаривал ей молодой упитанный хозяин ларька.

– Да иди ты, знаешь, куда, как будто даром мне их даешь, – бойко отвечала ему Мара.

Случилось, что ее не было видно довольно долго. Да и кому до нее было дело. В каждую минуту каждому можно было умереть даже от случайной пули. А потом, встретив ее, я заметил, как она старательно прикрывает живот плащом. И чем-то это движение напоминало состояние человека, избегающего постороннего глаза. Хотелось верить, что меня обманывают мои глаза, но, увы... Мало ли негодяев.

– Вот этого ей еще не хватало, – с какой-то досадой думал я.

Но мои раздумья о некоем негодяе разогнала жена:

– Замуж наша Мара вышла, замуж. Еще и соседкой нашей стала, – она показала на пятиэтажный дом по противоположной от нас стороне улицы.

А как-то по дороге на работу довелось мне и мужа ее увидеть – невысокий, большоголовый, худощавый мужчина. Со стороны казалось, что ему голову свою тяжелее нести, чем полную сумку. На вид он был намного старше жены. Мара отставала от него на несколько шагов. Шла медленно, прикрывая живот. И так как плащ стал узок, она прибегала к помощи скрещенных на животе рук.

Шедшая впереди меня пожилая женщина, остановилась, поравнявшись с Марой, посмотрела вслед мужчине и спросила:

– Это муж твой?

– Да. Что, не понравился? – Мара смущенно улыбнулась.

– Нет, почему...

– Что поделаешь, если бы был лучше... – и с той же улыбкой на лице она последовала за мужем.

Седая женщина тоже улыбнулась, задумалась, покачала головой и проронила:

– Какая же из тебя хозяйка? Бедный ребенок... Но, что делать, на все воля Божья... – где-то по близости начались пулеметные очереди, и улица зашевелилась.

Тем же вечером соседки на дворе весело смеялись, бурно обсуждая новость – Мара родила мальчика-крепыша.

Я от души пожелал новорожденному счастья. Но соседки усомнились в счастливом будущем ребенка. Мол, из гнилого бревна – ни досок, ни дров, и сообщили:

– Какое счастье, Мара, говорят, не успела родить, как попросила пива. Сколько, говорит, из-за этого ребенка я не пила, мол, хотела, чтобы он родился нормальным, чтобы не хуже других был.

Хотя и смеялись соседки, но чувствовалось, что они жалели, ох, как жалели только что увидевшего свет ребенка.

После этого Мара словно сквозь землю провалилась. Да и мне в повседневной суете не до нее было. Потом сложилось так, что несколько лет по государственным делам мне пришлось жить вне нашего города. Домой приезжал редко. И вот по возвращении как-то встретил ребят из редакции, с ними был и приятель мой Грицко. Обрадовались друг другу.

– Где ты пропадал столько времени? Как наша оборона с Ксанской стороны? Не забыл ли ты старых друзей? – его вопросы, как и он сам, были короткими, но своевременно.

В редакции газеты мы долго вместе проработали, и он по-родственному, по-братски относился ко мне, мог даже упрекнуть, если было, в чем.

К концу работы меня провожали дружно. От главной улицы все свернули направо, хотя Грицко нужно было идти прямо. Я думал, что они провожают меня из уважения, и остановился.

– Ге-ге-ге! Ну, до чего же забывчивое существо человек. Не помнишь? – воскликнул Грицко, показывая в сторону строения под высокими со-



снами. Это же – «телевизор». Или брезгуешь уже?

Это была шашлычная. Как только выстроили ее во время советской власти, мы были частыми гостями, особенно в дни зарплаты. Любили произносить здесь длинные, умные тосты. Подобно любому новому, заведение было образцовое, да и вино здесь было дешевле, так что можно было отдыхать с удовольствием. А «телевизором» прозвали за то, что сквозь его стеклянные стены все было видно на улице. Тогда еще не вышел «сухой закон», но как обычно бывает – если в столице начинают обрезать сухие ветки, то на периферии постараются все деревья срубить. Вот и стали везде продавать только дорогое вино. Как тут не удивляться и не радоваться тому, что в этой шашлычной все осталось по-прежнему.

Постепенно шашлычная стала терять свое лицо и добродушное имя. Перестали называть «телевизором», взамен она получила кличку – «Собачья столовая».

– Да ты не переживай! Сейчас посмотришь, как нас обслужат, какие нам шашлыки приготовят, – словно угадав мои мысли, смеясь, горделиво успокаивал меня Грицко.

«Они все-таки работники редакции, наверное, надеются на что-то путное, а то бы не шли туда», – размышлял и я.

И в самом деле, Грицко то одного из работников поприветствует, то другого. Видно, что ему все предельно рады. Грицко их даже поторапливал по-хозяйски:

– Давид, что будем пить, брат мой?

– Хазби, дорогой, сам знаешь, какие шашлыки твои братья любят.

– Зарета-сестричка, я и в своих снах твои хабизджыни ем. Только – двойные, как всегда!

В ответ ему смеялись все:

– Где ты пропал, где?

– Сейчас, сейчас, радость моя!

Уверенный, что на подобные походы у Грицко мало времени, я все же, шутя, заметил:

– Судя по радушному приему, как я вижу, ты здесь не самый, самый редкий гость.

На что друзья тут же весело ответили:

– Да здесь все от директора до судомойки его соседи. А хороший сосед, как родной человек, вот и рады ему.

Тут же в дальнем углу зала накрыли нам стол. Посетителям объявили, что выпивки уже нет, что конец рабочего дня, и они стали постепен-

но уходить. С их уходом и воздух стал освобождаться от табачного дыма и едкого запаха спиртного.

Настало время тоста за родителей, и тамада Грицко мобилизовал всю свою красноречивость:

– А теперь мы должны поднять бокал за ту, которая испокон веков не дала заклятым врагам до конца истребить нашу нацию; за ту, благодаря которой язык и обычаи наших славных предков от скифов и алан дошли до наших дней, сохранились для наших детей; за ту, с молоком которой с щедростью и любовью мы впитываем все лучшее, что было и есть у нашего народа; за ту, благодаря которой существует на земле наш народ – за славную осетинку-Мать! – возносил материнские достоинства Грицко. Не успел он закончить и насладиться своей речью, как посыпались оживленные реплики:

– Кто сказал, что не придет?

– Слова тоста в свою честь приняла, наверное.

Слышно было так же, как официантка вполголоса, почти шепотом, выговаривает кому-то у входа:

– Уходи, уходи. Буфет закрыт уже. И буфетчик уже ушел домой. Уйди, как тебе не стыдно. Не вернется же он из-за тебя обратно.

– Одну, всего одну бутылку... Осталось же, наверное, где-то после посетителей... Не может быть, чтобы все всё до конца выпили... – перед официанткой, как мокрая курица, стояла Мара.

Грицко тоже услышал их разговор. Прервав свой тост, уставился на них. Заметив, что и я прислушался к спору двух женщин, сперва потерял дар речи. Потом – покраснел. Потом – почернел. В конце концов, разозлился:

– Ну, не позорище это? Никогда не даст спокойно посидеть. Потом человек от увиденного неделю не может прийти в себя.

И начал раздраженно попрекать Мару не очень громко, но и не шепотом. После этого нервно постучал пальцем по бутылке вина:

– Нельзя это пить, нельзя! Рассудка лишает человека, рассудка, будь оно проклято! С ума человек сходит, с ума!

– Да, да, нельзя. Не годится, человека ума лишает, – легко соглашалась с ним Мара. Она отодвинула официантку в сторону и направилась к нам. – А что же ты тогда его пьешь?

Все засмеялись, и это еще больше разозлило подвыпившего Грицко. Он вскочил с места:

– Я мужчина, мужчина, я брюки ношу!.. Я шапку на голове ношу!.. Вот посмотри!

Смех, разозливший Грицко, придал Маре смелости:

– Брюки женщины тоже носят, мы давно уже с вами наравне...

Грицко понял, что слова его падают в пустоту, теряют смысл и обреченно перевел взгляд на меня:

– Вот так всегда. И без этого человек ничего хорошего не слышит, кроме как война, ракеты, танки, ежедневные убийства, нейтрон и черт знает что, а тут еще вот все это видеть...

– А ты не смотри, – не унималась Мара. Видно, что где-то она уже приняла: пьяная улыбка не сходит с лица. – Может, у вас найдется лишняя бутылка, а то мне некогда... И уйду.

Бывают моменты, когда нравоучения вообще излишни, лучше и легче отдать, что просят. Так поступили и мы. Она заулыбалась, засобиралась, благодаря нас на ходу, опять проводя согнутыми пальцами по бутылке и сосчитывая неизвестно что.

– На, вот возьми, не пей без закуски! – протягивая куриную ляжку, от души крикнул ей вслед Грицко.

Она сначала приняла это за шутку и засмеялась, показывая почерневшие зубы, затем подумала и, повернувшись, произнесла.

– Сыну отнесу.

– Мара... – я первый раз назвал ее по имени, и произношение у меня что-то не получилось. – Как твой мальчик?

– Который, второй? – пристально посмотрела она на меня и улыбнулась. Я был поражен. Это уже была не улыбка слабоумной, уставшей пить женщины. В этой улыбке зацвела и вырвалась наружу скрытая, притаившаяся радость.

– Двое их у нее уже, – пробурчал Грицко.

– Спасибо. Они хорошие у меня. Все хорошо с ними. Ой, как бы не заплакались они без меня, – сунув угощение в карман и обняв бутылку словно ребенка, Мара заспешила к выходу.

Она заспешила, но глаза мои не спешили оторваться от пола. Хотел представить детей Мары, лишенных родительской заботы и доброго наставника. Размышлял о том, как мы будем все сваливать на тяжелые военные времена, чтобы никто никогда нас не упрекнул в том, что кому-то могли помочь, но не помогли.

Настроение у всех было испорчено, застолье уже не было в радость, и мы разошлись по домам.

Дома жена и сын внимательно слушали, как дочь, давась со смеху и размахивая пустой матерчатой сумкой, явно копируя чьи-то движения, оживленно пересказывала: «Прямо на пороге, так брезгливо, держа че-

тырмья пальцами сумку за дно, вытряхнула все и передала мне обратно со словами: «Отнеси это матери».

Как выяснилось, она инсценировала свою встречу с только что вернувшейся из шашлычной Марой, когда по просьбе матери передавала ей вещи, из которых вырос наш сын, мальчиком Мары. Так, оказывается, делали все наши соседи.

И, вправду, часто можно было встретить Мару со своими сыновьями-крепышами на улицах Чреба, выпившую или с похмелья. А бесшумный выцветший плащ ее и теплые цветастые чулки будто родились вместе с ней и должны были прожить с ней жизнь. Никогда не было обновок и на мальчиках. Все с чужого плеча. Даже неопытный глаз мог определить, что не по снятым с них меркам была выкроена и сшита их одежда. Ну, это бы еще ничего. Но создавалось впечатление, что и мать их была не по ним выкроена: совсем им не подходила. Смени их одежду, и ничего бы не осталось общего. Мальчики идти даже с ней не хотели, убегали от нее. А она, как обезумевшая наседка, кудахтала и догоняла их, пыталась крепко держать их за руки, но они опять вырывались.

Как-то стояли мы, я с сослуживцами, на улице около научно-исследовательского института. Они втроем проходили мимо нас. Старший сын, насупившись, шел впереди. Младший еле держался на ногах, мать старалась поддержать его, но он резко отталкивал ее руку. И по тому, как он прижался к дереву, и по багровому лицу было видно, что с ним творится что-то неладное.

Мара, бедная, металась в отчаянии и умоляюще приговаривала:

– Потерпи чуть-чуть, мы почти у дома. Люди же не знают, что ты болен, – показывала она в нашу сторону.

– Ну, что с тобой, мужик? – не выдержал я и направился в их сторону, но Мара, словно настоящая наседка, бросилась навстречу и преградила мне дорогу.

– Нет-нет. Не подходи к нему близко! Не подходи! Ты куришь, – и, выдавив из себя что-то подобное улыбке, произнесла: – Ветрянка у него. При таком больном ничего нельзя: ни пить, ни курить, ни ругаться.

На этот раз, как ни странно, но и сама она была абсолютно трезвой. И плащ ее был тщательно выстиран. Правда, позабыла погладить утюгом.

Позже стало известно, что оба ее сына уехали учиться во Владикавказ, в профтехучилище, хотя и в Чреба есть подобные училища. Всем была понятна причина их переезда: они сбежали от матери, потому что устали от стыда за нее.

А бедная мать после этого вообще не просыхала. Часто, сидя прямо на улице, плакала и причитала:

– Умереть бы мне лучше. Может, они голодные там? – И продолжала, как и раньше, делать условные мерки на бутылке, определяя, сколько стаканов там должно быть. – Один...два...три...

Даже человека, живущего припеваючи, как любит поговаривать Грицко, ежедневные заботы, суета и раздумья о том, что сегодня, и что будет завтра, держат в постоянной тревоге. А каково было несчастной Маре под тяжестью своего недуга...

Как-то по улице 13 Коммунаров несли покойницу на кладбище. Говорили, что снайперы сняли ее прямо на улице. Кому не известны многочисленные похороны осетин. Но за этим гробом шла горстка, по-видимому, не обласканных судьбой людей. Это выглядело странно, и я поинтересовался:

– Кого хоронят?

– Да, одну любительницу выпить. Мару.

Прямо за гробом в новой форме учащихся профтехучилища шли два крепко сложенные юноши.

В них нетрудно было узнать детей Мары. Теперь им не придется больше стыдиться за мать. И вырвалась в слезах на волю та горечь, что скопилась их в юных душах за короткую их жизнь. Они шли, плача навзрыд.

*Авторизованный перевод с осетинского Фаризы Бежаевой*



Автор 9 поэтических сборников, лауреат премии литературного журнала «Алашара». Ее стихи печатались в периодических изданиях России, Хорватии, Индии, Италии, Сирии. Перевела на абхазский язык Псалтырь, Детскую Библию, духовные песнопения, произведения русских поэтов Золотого и Серебряного веков. С 1993 по 1999 год автор и ведущая тематических программ на абхазском радио. Директор Государственного фонда абхазского языка. Живет в Сухуме.

\* \* \*

Небо было велико,  
Вдруг пролилось молоко.  
В три рожденья,  
в смерти три  
я вгляделась по пути,  
В трех рожденьях,  
в трех колодцах  
убаюкана была.  
Муку той,  
что зачерпнула,  
а не радость принесла.  
Изгороди троесмертья,  
Заблудившись, перешла.  
Троесмертье – след от пули,  
Как незримая стрела.

Шли босыми эти двое,  
Рук сплетенных не разнять,  
Двух сердец дыханье – в лад...  
Шли они – я умерла,  
В землю рядом полегла.  
Старую иль молодую умерла –  
Я не припомню,  
Духом или же травую там легла –

никто не понял.

Двое шли, накинув ветер,  
как одежды,  
она – вся в золотистом свете,  
он – отмечен божьей метой.  
Двое шли, а я же, тихо  
замерев, от них отстала;  
шелест, шепот слыша, все же  
смысла слов не понимала.  
Закатилось солнце, встало ль  
в золотистой той стране?  
Шли они иль улетели?

Двое

Не увидеть это мне.  
Ведь душа моя отстала  
от не ведающих смерти  
в этой освященной дали...  
Двое шли – а я стояла  
рядом, но никто не вспомнил.  
Старою иль молодою,  
Духом или же травую –  
не припомню.

*Перевод с абхазского Адгура Кове*

\* \* \*

Гулкий звон  
    в темноте –  
    и опять тишина.  
Это кони позвякивают  
    бубенцами.  
Ночь глуха, неподвижна,  
    как будто она  
По-хозяйски стреножена  
    вместе с конями.  
Ветер виснет,  
    как грива,  
    на холках коней.  
Что застыли, скрестив  
    горделивые шеи.  
Им не ноги связал  
    властелин лошадей.  
А стреножил сердца –  
    это много больше.  
Отчего же так смутно  
    и в сердце моем?  
Словно бег табуна  
    взбаламутил речушку.  
Словно травы  
    нещадно  
    прибиты дождем –  
Как заплаканная  
    от обиды подушка...



Вместе с ночью  
прислушиваюсь к тишине.  
Ветер  
    в спутанных гривах  
        повис без движенья.  
Для того,  
        кто стреножил  
                и ночь, и коней.  
Гулкий звон бубенцов –  
    Словно песнь утешенья.

*Перевод Сергея Кузнецова*

\* \* \*

Осень, боюсь я  
твоего ухода,  
как боялась твоего возвращения.  
Все переносит земля:  
и лето, и зиму, и весну, и осень,  
лишь со мною не знает,  
что делать.  
Бой часов моих не дает мне уснуть,  
повторяя: «Кто ты, кто, кто ты?»  
А я пятая часть года,  
проходящая между домами,  
я узнаю тебя по бою твоих часов,  
как меня узнают по крику летящих птиц.  
Мне часы не дают уснуть,  
разделяя, как время,  
на глухие периоды ночи.  
И луна поднимает мою тень на стене.  
Вернись же, осень,  
без тебя моя тень темнее.

\* \* \*

Под дождем без зонта,  
чтобы, как лошади, стать

продолжением дождя.  
Дождь - конь - человек.  
Пастбище дождя зеленое, летнее,  
и зеленое, летнее сердце в груди у меня.  
Ах почему я не встретила  
всадников дождя и людей дождя.  
Я держу огромное небо-зонт,  
но у нас дождь идет лишь над спинами лошадей.  
Если кончится дождь, то знайте –  
он идет внутри лошадей.  
Лошади стоят под обрывом дождей,  
Я стою под зонтом,  
дождь - конь - человек под небом.

\* \* \*

Ты стоял впереди меня шагов  
на десять, я тосковала десятью шагами,  
Ты не видел меня,  
В твоём одиночестве я иное угадывала.  
Я боялась, что ты уйдешь еще на десять шагов,  
и пространство тоски моей вырастет вдвое.  
Ты не видел меня,  
В твоём одиночестве продолжалась моя неволя.

*Перевод Надежды Венедиктовой*

\*\*\*

Вначале пришел звук рассвета,  
Затем сам рассвет,  
Затем я –  
виновница света,  
Затем мой виновник – отец.  
Сейчас, где вы все?  
Звук рассвета,  
Рассвет,  
Мой отец?..  
А я?  
Одинока, как слово,

Я виновница слова,  
Рассветного звука,  
Рассвета,  
Отца.

\*\*\*

Тесная ночь –  
За грани не выйдешь,  
Если и выйдешь,  
Назад не войдешь.  
Длинная тень –  
До неба доходит,  
Земле, где ты ходишь,  
Удачу вернешь.  
Страшное имя –  
В нем все, что ты прожил,  
Эхом доносится  
И пропадет.  
Что впереди нас,  
Узнать мы не сможем,  
В зеркале чудном  
Увидишь – пройдет.

\*\*\*

Однажды проснулась я  
Ночью у гор -  
Спустились и смотрят  
Звезды в упор,  
В глаза ко мне смотрят,  
Сердце пленят,  
Потерянный мной  
Они ищут бриллиант.  
Луна ярко светит  
Лучами звеня,  
В папирусе неба  
Строчка моя.

*Перевод Алины Ажиба*



Родилась в 1979 году. С 2008 репортер грузинской службы «Радио Свобода». Автор двух поэтических сборников, лауреат нескольких литературных конкурсов и победитель журналистских конкурсов. Живет в Тбилиси.

Такая была битва.  
Покалеченные, лежали мы утром,  
Ночь и я.  
Я победила, но про небо забыла – восток покраснел.  
Так давила лбом на вихрь,  
Чтобы сквозь меня он не прошел. Позади стояла крепость  
– как паруса, раздула мне одежду,  
Шею-башню сломала,  
Как будто кровоточащее мясо увидело  
Чудовище. С воем отвернулось, ушло.

Взглянула на платье. Встать не могу от тяжести –  
Камнями была полна.  
Когда набрала, не вспомнила.  
Пока проснется, подумала, построю стену,  
В глине обвалила, яйцо добавила – легенду помнила.

Проснувшись, сказала, война приснилась.  
Разноцветный мел подкинула –  
Волка, лес, пруд, цветы нарисовала.  
На свободном месте до вечера как безумные писали желанья.  
Битва – чтобы не уснула.  
Не мое это дело было,  
Как пуля, застряло сомненье в легком – так я умею, когда влюблена.  
Сама не достала, чтобы вынуть.  
Наутро обратилась к врачу,  
Дыши глубоко – решила со спины в сердце добраться.

Говорю ей, спаси,  
Тяжелый металл растворился в моих жилах,  
Такой теплый и густой,

Не могу победить, не могу оставить,  
Яд выписала. Печаль.  
Воевала с горьким привкусом.

Такая была битва. Сорокодневная.  
Обе ноги остались,  
Крепость еще стояла.  
Только земля показалась мала. Не хватило.  
Что ж вы землю забрали?

## Уход

На цыпочках,  
Как февральский снег,  
Пересечет сезон ветров.  
Грязный, февральский холодный ветер раздавит об подножья гор.  
Как последний пассажир с перрона  
Развивающимся платком  
Отправляется поздним поездом.  
Пульс вчерашней ночи – оборванной веной.  
Медленно,  
Как шатающийся пьяница, последним покидает  
Наполовину собранный на поминки стол,  
И гость  
Уставшей хозяйке до рассвета  
Никчемную посылает хвалу.  
Идет так.  
Растворяется.  
Как серебро на пальце – до старости.  
Грудь – на теле.  
Украдкой уходит.  
Как собака перед смертью  
Оставляет сторожевой двор другой собаке,  
И, спотыкаясь, проходя по дороге,  
Сожалеет о пропавших хозяевах.  
Осторожно, затаив дыханье,

Как мать,  
Закрывает дверь комнаты младенца, когда он спит.  
Как вор,  
С полными карманами чужих денег – чужой будущей горечи –  
Убегает тихо из города.  
Так без стыда,  
Как на расстрел чужих сердец,  
Уходит мое сердце.  
До ухода – волшебной силой надеваю  
Подаренные тобою крылатые сандалии  
С заговором,  
Чтобы завтра вернулись,  
Дорогу знают.  
Чтобы вернулись.  
Чтобы вернулись.

был тяжёлый день  
утром волосы начесали, и банты, и одежда  
и от тёплого молока не отказались  
долго думали, чтобы не забыть что-нибудь  
сумку несколько раз собрали и выложили  
мужчина долго стоял в двери – провожал  
я отвела его ребёнка на смерть  
я толкнула с радостью  
сказала – ты тут останься. Что случится  
один раз присмотри за обедом на огне  
ты нас встретить. Мы вернёмся

дверь дома одна открыла

а он до сих пор винит каких-то президентов  
в моих снах, которые постоянно мастурбируют

когда взрывается школа  
в это время они тянут за свои постаревшие гениталии  
и блаженство к ним не проходит  
а в это время взрывается школа  
а они, как будто к ним зашли в неудобное время  
с растерянными лицами выражают соболезнования  
тысячам зажжённых камер рассказывают  
...что минимальными потерями....  
.... операция....  
как спаслось пятьсот и погибло триста  
осталось триста и умерло сто  
умер один  
один ведь умер  
как будто бы мало

али в чёрном шлеме так не раздражает  
от него никто не ждет уступок и жалости –  
вместе с пятью детьми, вместе с женой, вместе с домом  
и сожжённой деревней закопал в землю.  
али я понимаю  
и он не знает, по чьей воле, по чьему приказу  
и я не понимаю  
как получилось  
с ситом в руках, уставившись в телевизор  
именно в этот день совпало  
когда поручили дело, смерть его женщины и ребёнка  
так в живых я не считаюсь

Кто решил, в следующем кадре  
на руки переложу её взорвавшееся тело  
и скажу мужчине  
посмотри, не узнаёшь? это твой ребёнок, я родила,  
почему отвернулся.  
что не нравится в её разорванном окровавленном теле  
что не нравится в переломленном позвоночнике  
оставшимся открытым одним глазом и позеленевшем лице

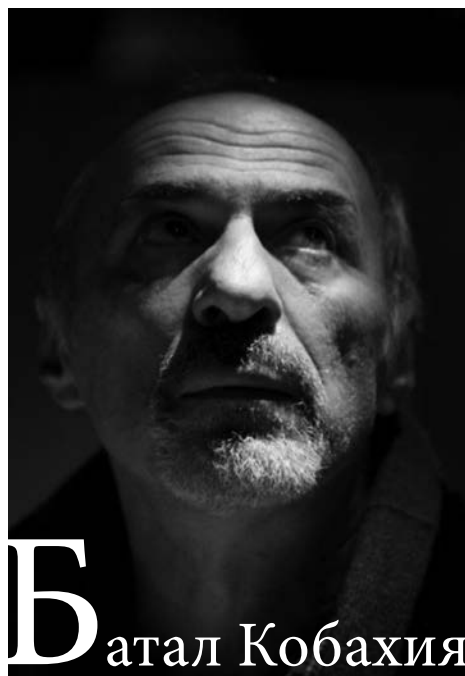
или я понимаю  
я бы тоже пожертвовала



постоянное это чувство – ноша  
чтобы ни делала  
держу так, как будто голодной в африке  
дали мешок муки  
африку помню с экрана  
мы тоже головой качнули, когда ребёнок, кожа да кости  
о пирожном мечтал  
тому репортёру за эти кадры выписали, наверно, премию  
вокруг нас точно также толпились, зрелище  
держу, как мёртвую птицу  
как воздух  
как всё тяжелое, лёгкое не может столько весить

вечера глухие  
привычкой стало  
ночь – для утра готовлю платье  
ставлю третью тарелку на стол  
сидим молча. Заговор  
ни слова об умершей – в прошлом  
ты мертвец

ибо в этом доме  
в любой сезон стоит первый день осени  
и звонок давно прозвенел



Родился в 1955 году. Известный общественный деятель, публицист, блоггер. Печатался в периодических изданиях. Живет в Сухуме.

Первый раз я увидел Ляльку Аршба 19 августа в ресторане Эшера. Утром мы едва пришли в себя от осознания необходимости оставить свой город. Казалось бы, мы должны были отстаивать свои позиции, но почему-то кто-то отдает приказ оставить их спешно. Оставить и отходить за Гумисту. Мы прекратили бой. Попытка вернуться назад в город, предпринятая Мушни через пару часов, закончилась безрезультатно. Если не считать того, что этим внезапным решением он не дал нам упасть духом. Мы поверили в себя и в то, что мы готовы и можем, подчиняться только тем приказам, которые соответствуют нашим представлениям о необходимости. Приказ отступить и оставить город, в котором оставались все наши близкие, тогда нас оглушил. Мы выполнили его, но потом не подчинились. Правда, это случилось с опозданием в два часа. То, что мы потеряли за два часа, мы потом восстанавливали год и месяц.

Итак, вот в то утро я начал подготавливать третий за эти три дня эвакуационный пункт. Мне приглянулся стеклянный боковой бар ресторана «Эшера». Во-первых, там были две изолированные комнаты. Во-вторых, окна были на всю стену, и они смотрели прямо на город. Тогда никем и не мыслилось, что мы покинули его надолго.

Вокруг сновало много людей. Не все имели оружие. Было много женщин. Некоторые из них жили в самой Эшере. Скопившиеся на площадке у ресторана люди были сухумчанами, которые спешно с ополчением сами отступали из города. В комнату, которую мы приводили в порядок, зашли две девушки и сели так тихо в углу. Одна из них маленькая, смуглая. С угрюмым и решительным лицом.

– Ты живешь здесь? – спросил я скорее по инерции.

– Нет, я из Ткуарчала.

– Тебе надо ехать в Гудауту. Там собираются беженцы. Там что-нибудь предпримут для тебя.

– Мне незачем ехать в Гудауту, у меня в Эшере живут родственники, – не очень дружелюбно, можно сказать, даже грубовато, ответила она.

– В таком случае иди к родственникам, если это не опасно. Но сидеть здесь не надо. Нам надо подготовиться к работе.

Она помолчала. Немного сдвинулась с дивана. Переглянулась с под-

ругой.

Я не стал ее донимать. Наверно ошалела от стрельбы. Придет в себя, уйдет, подумал я. Другая девушка оказалась медсестрой. Так, во всяком случае, сказала она мне.

–Тогда оставайся. А то у нас нет медсестер. Честно говоря, и укол то сделать некому.

К вечеру смотрю, смуглая все еще сидит. Перспектива оставлять ее на ночь мне совсем не нравится. Уже несколько дней мы не спали, а она упорно сидит на диване. Так, пожалуй, до него не доберешься. Но она не уходит. Те несколько дней, что мы помогли раненым, мне показались вечностью, и я с усталостью фронтового врача сказал:

–Тут, между прочим, могут начать стрелять, и будет небезопасно.

–Ну и что же? Вы же здесь!

–Мы, между прочим, врачи и бойцы, – сказал я, странно, но я почти был в этом уверен.

–Я тоже врач.

–Ты что, медицинский окончила?

–Нет.Техникум, радиотехнический.

–Ну, так может, пойдешь в штаб, радистом?

–Можно подумать, вы тут все врачи.

Да, она не зря тут тихо сидела! Внимательно прислушиваясь к разговорам, видимо, уяснила для себя, что мы все, конечно, собрались тут кто угодно, только не медики. Я пытался ее еще раз погнать, уж очень хотелось плюхнуться на диван. Но это было бесполезно. Она угрюмо забилась в угол, стреляя в меня укориженными взглядами. Я решил ее просто не замечать. Тем более что было не до неё. И вообще я устал, я хочу спать. Мне надо собраться с мыслями. Надо решить, что делать с группой, которую уже успел собрать за эти два-три дня. А она уже была немаленькая. Человек двадцать и кое-какой транспорт.

Диван таки она уступила. Держалась за него до последнего, но, увидев, что я, не обращая на нее внимания, плюхнулся на него, а там, следом за мной еще несколько человек, быстро отступила. Пару дней она все слонялась по эвакуопункту. Иногда что-то переносила с места на место. Но почему-то далеко от него не отходила, как бы боясь потерять право потом в него вернуться. Интуитивно она уже тогда нашла себе место. Как впрочем, и все мы.

Её подружку уже на следующий день пришлось выгнать. Каждого

раненого она встречала воплем и причитаниями. Хорошо, что хоть стрижка короткая, а то бы еще и волосы распустила бы. Ничего не могла толком делать. И вдобавок медсестра она была не больше, чем я доктор. Я ее предупредил, что если она еще будет вопить и причитать при виде раненых бойцов я ее выгоню немедленно. Она удивилась. Посмотрела на меня и спросила.

– Что же мне их пением и плясками встречать? Надо ведь жалеть людей.

– Надо. Но не надо это показывать всем и, в первую очередь, раненым. А то после твоих воплей они теряют последние остатки желания выжить.

Но она ушла сама через день, напугав, что вернется к вечеру. Больше ее я так не видел. Нет, один раз мы все-таки встретились: через несколько месяцев, в Гудауте. Она подошла ко мне и, извиняясь, объясняла, что хотела потом вернуться, но не получилось. Не смогла преодолеть что-то в себе. Боже мой, как будто я ее осуждаю! Это нормально, что она в Гудауте. Это даже хорошо!

Лялька не ушла, несмотря на все мои попытки и интриги. Еще несколько дней она, бедная, не знала, чем себя занять. Но потихоньку стала убирать на эвакуопункте, подносить медикаменты, воду. Но делала все это, насупившись и исподлобья поглядывая на меня. К тому времени ко мне на эвакуопункт пришли и опытные медсестры Таня Хиценко и Ира Папба. Танька в первый же день приехала из Афона, в котором она жила, в красных туфлях на высокой шпильке. Халат крутой, весь их себя накрахмаленный, под ним узкая юбка с длиннющим разрезом. Такая блондинка. В глазах резкость. Вытащила вязальные спицы, заняла единственный целый стул на эвакуопункте, стала вязать и поглядывать по сторонам. Так сказать, адаптировалась. Я подумал еще, не хватает только телефона и тетрадки для записи звонков и жалоб пациентов. Скорая помощь, короче, на боевом выезде. Но смолчал. Думаю, придет время, посмотрим, чем нам эта барышня на шпильках тут может сгодиться. Пока вроде спокойно. Как-то раз, испытывающим взглядом посмотрев на Ляльку, она вдруг тихо наклонилась ко мне и, моргнув мне как сообщнику, сказала:

– Она молчит, но себе на уме!

Я воспринял было вначале сказанное как комплимент, но вдруг почувствовал не очень здоровый тон женщины и замолчал. Опять началось тут. Женские дела. Но, слава богу, больше она к этому не возвращалась.

Посмотрел я тут на Ляльку. И жалко стало. Что-то было такое, смешное и трогательное, в ее горящей спине под моими случайными пристальными взглядами. Но лицо при этом вызывающе нагловатенькое и решительное. Проходя частенько мимо меня, она демонстрировала, что никуда не собирается уходить. Но мне не до неё было. Бог с ней, пусть ходит! Потом привык к ней и стал следить, чтобы не осталась голодной. Как-то, раздобыв где-то первые 10 комплектов формы, я стал распределять их между девушками. Ребята, которые работали с нами на машинах для вывоза раненых, даже и не претендовали на них. Ясно, что в первую очередь надо одеть девушек. Нехорошо, что они тут бегают по горам в широченных юбках. Лялька сидела в углу и совсем не смотрела в нашу сторону. Ну, просто совсем в другую.

– Арахь бай! («Пооди сюда» по-абхазски) – сказал я ей.

Встрепенулась.

– Исымыкуой уара, иутахый? Сыупырхагома? («Ну что ты досташь меня, что тебе надо от меня? Мешаю я тебе, что ли?»)

– Форму возьми, нечего тут форсить в гражданских панталонах.

Я, конечно, язвил. На ней было одето что-то вроде джинсов. Именно что-то вроде. Потому как за эти три-четыре дня, и потом неизвестно когда она в Эшере к родственникам приехала до нас, то, что на ней было одето, уже было нечто среднее между штанами и панталонами, неизвестного цвета и происхождения.

Она встрепенулась. Вдруг спинка выпрямилась. Как лань, засемила ко мне. Не пробежала, а засемила. Видно было, что так и не осознавала еще вполне то, что я принимаю ее в группу, раз уж предлагаю самое ценное, что мы на тот период добыли на разбомбленном складе в Нижней Эшере: 10 глянцеvitых роб со штанами типа галифе моды времен Второй Отечественной войны. Иначе как воспринимать, что я ей предлагаю форму? Девушки и ребята потеплели в глазах. Они уже давно заметили мой полный и демонстративный игнор.

– На, возьми. Приоденься.

Потом посмотрел на нее, улыбнулся и так ласково съязвил:

– Все равно слишком малый размер, никому и не подойдет.

Видимо, привыкнув уже к моему отношению, не моргнув глазом, не пикнув, она быстренько выхватила робу из моих рук, не веря до конца, что действительно может быть ее обладательницей. Когда

форма оказалась та-ки у нее в руках, оглянула всех с улыбкой Джульетты Мазины и пошла тихо вглубь эвакуопункта переодеваться.

Вот тогда и я, и она, и все, кто стоял рядом, поняли, что она остается. И всем стало радостно. Господи, надо же напомнить, что остается она на передовой, в двух шагах от боевых позиций, и ей каждый день, каждую минуту, рискуя жизнью, надо будет думать только о бойцах, о том, как оказать им помощь. В общем, мы к тому времени уже вполне привыкли к тому, что происходит вокруг. И никто уже и не мыслил, что мог иначе, что мог спуститься вниз в тыл и, тем более, эвакуироваться куда-то еще дальше.

Не прошло и часа, а время на войне имеет особенность из мгновений превращаться в вечность и наоборот, Лялька стала самым незаменимым человеком. За период конфронтации она сумела быстренько понять, что и где находится на эвакуопункте, систематизировала имеющейся перевязочный материал, насобираала носилок, на которых полеживали уставшие от боев ополченцы, ак-куратненько сложила их у эвакуопункта и бдительно следила за тем, чтобы их никто не трогал, что было весьма важно. Мало того, она тут же принялась вымывать нашу операционную, так ее окрестили бойцы, и через пару дней в ней была почти стерильная чистота и порядок. Все время только и слышно было:

– Лялька, где бинты? Лялька где носилки? Ляля, есть что-нибудь поесть? Ляля....

Ляля радостно и не без важности, задрав носик, не заставляя повторяться, мигом обеспечивала санитаров и бойцов необходимыми материалами. Однако через пару дней она опять помрачнела и стала прицельно поглядывать на меня, сменяя обожание в глазах на молчаливый укор, в удобное, точнее, свободное от вывоза раненых время, и в минуты моих перекуров, когда я смолил перепадавшие мне от бойцов сигареты. Мне некогда было разбираться в тонкостях душевных потрясений, тем более, что причин могло быть множество, а вникать в нюансы мне не хотелось. Все мои силы тогда были сосредоточены на трех вещах: вынести раненого вовремя, даже если пули свистят не смолкая, не осрамиться, поддавшись испугу во время безумных бомбежек, и выжить. Чет-вертая мысль тогда могла полностью лишить меня сил.

Надо сказать, что эвакуопункт располагался в весьма живописном месте у знаменитого ресторана «Эшера». Построен он был в вакхическую эпоху Михи Бгажба, руководителя Абхазии в 60-х годах, в рас-

щелине между гор, а на площадке располагались апацха и современные строения, в которых находились бар и магазин. Эвакопункт наш расположился в баре, с французскими окнами от пола вместо стен. Это потом я понял, что никому и в голову не пришло его занимать, потому как стеклянные стены его взирали на живописное подножие гор и устремлялись в сторону Сухума. Только через несколько дней, во время прицельной бомбежки, я понял, что это самое опасное место, поскольку оно было наиболее открытым для обстрелов. Но в начале мы наслаждались пре-красным видом и печально взирали на город, который мы покинули.

В основном бойцы подвозили раненых к эвакопункту, там им оказывали первую помощь и на машинах скорой помощи отправляли в госпиталь в Гудауту. Тогда санитарная дружина, так я ее называл, была незначительная еще и едва составляла 40 человек, включая нескольких ребят, работавших на различных машинах, которые мы называли «скорыми». Однако больше всех на «скорую» был похож пирожковоз, который мне удалось неожиданно раздобыть вместе с водителем.

История с пирожковозом, точнее с его хозяином, настолько неожиданная, что о ней отдельно. Буквально через пару дней, как мы отошли от Сухума и дислоцировались в Верхней Эшере, я увидел слоняющегося без дела возле штаба, который располагался около нас, парня. Я спросил его, чем он занят и кого обслуживает. Он грустно, чуть ли не в слезах ответил, что вот уже третий день ищет оружие, но ему не дают, поскольку не на всех хватает. Он предложил свои услуги в качестве водителя и свою машину. Однако ему ответили отказом. Я обрадовался. Такая удача. Мне как раз не на чем вывозить раненых с моста и по гумистинской трассе. Не драматизируя, чтобы его не упустить, нарочито просто предложил ему:

– Не хочешь ко мне, в санитарную дружину? Мне надо иногда вывозить раненых, – не стал я говорить ему о том, что ехать чаще всего надо по обстреливаемой дороге, куда уже нельзя было ездить на транспорте, и позволяли только мне, иначе раненых было не дотащить иной раз. Он обрадовался и тут же выпалил:

– Конечно, хочу! Хотя что-нибудь буду делать полезное, а то слоняюсь тут без дела, в глаза людям не могу смотреть. Все идут в бой, люди гибнут, а я неприкаянный тут. Только надо спросить у командующего, чтобы не подумали, что я дезертировал!



Я радостно побежал к Мушни, который тогда руководил ополчением, и вкратце рассказал ему о проблемах вывоза раненых и том, что хочу забрать машину. Он пристально посмотрел на меня:

– Мизан, что ли? Да зачем он тебе нужен? Не в порядке он, – уже на абхазском коротко отрезал Мушни.

Честно говоря, был артобстрел, и я не очень то и услышал, но, главное, понял, что там что-то не в порядке, с машиной или с Мезаном. Подумал немного и ответил ему, что меня это устраивает, да и какой тут может быть сейчас порядок, подумал я. Мушни пожал плечами и отстранено сказал, что предупредил меня и лучше найти другую машину. Я побежал к парню, объявив ему о том, что отныне он в моем распоряжении.

Мизан, засияв от радости, с важным видом мне и выдал:

– Только смотри, у меня заднего хода нет.

Ну вот, началось, подумал я. Успел я уже насмотреться, кто тут имеет задний ход, а кто нет. Но, боясь его потерять, еще не совсем и заполучив, уклончиво, но не без яда ответил ему:

– Мы тоже тут носом воду не пьем и задний ход не даем. Посмотрим при боевом выезде, на что ты способен. А сейчас давай готовь машину, надо поехать в госпиталь за медикаментами. Я сам с тобой поеду, чтобы взять все, что полагается.

Он радостно пошел заводить машину, но, когда мы тронулись в путь, уже ближе к серпантину, еще раз, смеясь, сказал:

– Но имей в виду, у меня заднего хода нет!

Ну, думаю, видимо, размышляет парень о завтрашней вылазке. А завтра мы собирались брать город, и могло быть много раненых. Я решил, что на нем и поеду.

– Ну, вот завтра и увидим, что это значит для тебя! Заднего хода у него нет! Завтра и увидим, что там у тебя с ним!

Он немного с удивлением посмотрел на меня, и больше не стал говорить о мнимом мужестве, как мне показалось. Только мы вернулись из госпиталя, узнаю, что в результате обстрела имеются раненые на мосту. Надо срочно их вывозить. Некому. Машин не хватает. Командую новому водителю: выезжаем. По дороге быстро объясняю ему, как делать перевязки если что, и что он должен будет мне помогать с ранеными.

– Только уколы не заставляй меня делать, остальное все, что скажешь, сделаю! Я с детства уколов боюсь!

Господи, боится он уколов! Тут война, люди гибнут, и что нам

еще предстоит, а он уколов боится! Но, чтобы его поддержать духом, все-таки первый выезд на боевую позицию, я решил его своеобразно успокоить, без телячьих нежностей:

– Да кто тебе доверит пока уколы делать?! У меня на каждом счету ампулы с противошоковыми, всего пару коробок анальгина, да кордиамина. Так я тебе и дал тут в их руки! Носилки будешь со мной тащить и бинты подавать, – уже веселее стало мне, пока мы выезжали в опасную зону к Гумистинскому мосту.

Вдруг на середине трассы от эвакупункта к мосту начался безумный артиллерийский обстрел дороги. А мы мчимся ему навстречу. Слышу окрики из окопа вдоль трассы:

– Сворачивайте, безумцы, отсидеться надо минут 20!

Ну, думаю, куда едем: и людей не вывезу, и сами на верную гибель. А трасса то узкая, особо и не развернёшься, надо подыскать место, где дорога пошире, чтобы на скорости развернуться. Медлить, это значит, что нас разорвёт на части. И вдруг вижу спасительное расширение, а он, набирая скорость, мчится вперед, не реагируя:

– Разворачивай машину. Ты что, не слышишь что ли, совсем оглох? Акантузия ухи италама? (шутливое «контузия вошла в тебя через голову?») )

– Не могу назад! Я же говорил тебе, что машина заднего хода не имеет!

– Так машина или ты это о себе говорил? – и тут до меня доходит истинный смысл. – Ты что с ума сошел? Как мог ты на такой машине ехать со мной за ранеными?! – кричу я и вижу, как мы все быстрее набираем обороты и, прорываясь через град снарядов, приближаемся уже к Гумистинскому мосту, за которым начинается территория, контролируемая уже не нами.

Около моста есть небольшая площадка, там он, наконец-то, развернул передним ходом машину и повернул ее опять в нашу сторону. Бойцы, сидевшие у моста, смотрели на нас как на безумных героев. Ну, и раз уж мы на месте, быстренько упаковали в нее четырех раненых. Тали и Надя, девушки-санструктора, что были на посту с ними, уже слегка их перевязали, и мы рванули наверх, к эвакупункту.

– Ну, ты даешь? – охал я в пути, – заднего хода он не имеет! Да у тебя не задний ход в машине отсутствует, а в голове винтиков не хватает!

Но, чем ближе мы уходили от смерти и приближались к безопас-

ному, на тот период, месту, тем больше тепла я испытывал к этому странному парню, который не имеет заднего хода! Нас встречали как героев. Не стал я им говорить, что это произошло случайно. Но вечером отправил машину в Гудауту – чинить задний ход. А заднего хода у него и впрямь не было, потом не раз было проверено, а машина разбилась через месяц после того, как ее капитально починили.

В те выезды я предпочитал ехать сам и не пускать девушек. Те девушки, что сидели с бойцами в батальонах, были под их прикрытием и в окопах. Да и потом они как-то изначально, по мере формирования, с первых дней оказались батальонными медсестрами и шли вместе со всеми, пока я еще не начал заниматься сандружиной. Потому я уже и не мог и решать, быть им там или нет. Они были там, и все. На местах девчонки оказывали первую помощь и ждали потом нас, либо с бойцами выносили на носилках к трассе, когда стихали обстрелы. Лялька рвалась вперед, со мной. И потому была недовольна, считая, что я опять пытаюсь лишить ее прав, ограждая от опасности, к которой она готова.

Буквально через несколько дней после того, как мы без заднего хода санитарии до моста, случился танковый прорыв. Я выехал со всеми бойцами. Опять жуткий обстрел. Останавливаю машину, и вдруг оттуда выходит слегка ошарашенная перестрелкой, но с полной решимостью на лице Лялька. Оказывается, она украдкой залезла в не просматриваемый салон, и, как мышка, молчала всю дорогу. Но было уже поздно что-то обсуждать, и поэтому я сделал вид, что ничего страшного не происходит, и пусть она приготовится к бою и оказанию помощи нуждающимся. Мы стали все у оврага, но и он уже не защищал нас от обстрела. Я в тот день, впервые за 10 дней после начала войны, нашел время постирать свои вещи. А был я в ту пору в белоснежных штанах, желтой майке и босоножках. Именно в этом фривольном одеянии меня застала война на раскопках в Сухумской крепости. И именно 14 августа нам, наконец-то, удалось вкопаться в раннеантичный слой, в который мы вгрызались с таким удовольствием, что пару часов не слышали артобстрелов с неба в городе и никак не хотели, да и некогда было, понять, что началась война. В таком виде я и попал на передовую, и в нем пришлось провести первые дни своего боевого крещения. Поверх него я носил белый халат, подаренный мне кем-то, одев его задом наперед, думая, что так именно и надо. Ходил в этом весьма странном для боевых позиций облачении,

не снимая, более недели. Находкой для снайперов прозвали меня, потому что потом я пришел крестом на спину и рукав еще красные лоскуты, найденные в одном из брошенных домов. Так вот именно перед выездом я, наконец-то, постирался и весь в белом и чистом оказался на передовой, врасплох перед обстрелом. Вдруг слышим все команду:

– Ложись! Прижмитесь к оврагу все!

Куда ложись? Да я ведь штаны запачкаю! Ни за что! Все залегли, я один, весь в белоснежном, с ужасом стою, но не решаюсь кинуться на землю. Вдруг новый шквал и оглушительный грохот, перебиваемые криками:

– Хейлага, учкажь! (абх. «сумасшедший, ложись!»)

Но, по всей видимости, я настолько оглох, что не в состоянии был оценить реальное положение вещей. Как бы не так, едва сквозит в голове, не стану вываливать чистые штаны в грязь. Вдруг неожиданно Лялька вскакивает, как рысь на добычу, хватая меня и, опрокидывая лопатками на землю, прикрывает меня всем телом:

– Ты что? Ты в своем уме? Ты что себе позволяешь? Ты что на меня накнулась? Ты что не видишь, что я могу запачкаться? Вот погоню тебя, будешь мне знать свое место! – рычу я и пытаюсь освободиться. Но не тут то было:

– Молчи, слушай! Лежи спокойно! – и замахнулась ручонкой на меня, прижимая теснее к земле.

И сколько воли и силы в голосе! И я вдруг осознаю, что происходит вокруг. Затихаю, пытаюсь снять ее со своей груди и прикрыть собою, но мне не удаётся. В ней столько силы, да и веса. Ничего себе, а ведь совсем мышонок. Потом, когда все закончилось, и мы все стали тихо подыматься и отряхиваться, я заглянул в ее глаза, и понял. Господи, до чего же они лучистые, и какие искорки в них, и какая она высокая и красивая, и какой чудный цвет лица. И вдруг я понял, что ее жизнь – это самое бесценное, что сейчас есть рядом со мной, с нами. И не я ее прикрыл, а она меня. Она вдвое меньше меня ростом, да и весом. Девочка, совсем еще ребенок. Лялька, читая мои мысли, вдруг говорит тоном, ласковым, но не терпящим возражений:

– И совсем я не ребенок, мне уже тридцать пять! Ну, будет через 10 лет! И теперь одного тебя мы не пустим сюда. Тебе нужны помощники. Не для тебя только война одна, мы тоже в ней. Не бойся за нас. Друг друга и будем оберегать! Думаешь, если мы женщины, у нас сил нет, что ли? Мы крепкие, выдержим все и вместе с вами будем! Не

смотри, что я такая маленькая. Это ростом таким меня Всевышний наградил. Но я жилистая. И силы во мне есть. Я знаешь, как наравне с братьями землю пахала во время сева. Они за мной не поспевали.

Я стоял как вкопанный, оглушенный мощным и неожиданным обстрелом и осознанием того, что я не один, а все, кто рядом сейчас, со мной, тут, в этом аду, мои самые-самые, пока еще безымянные, но самые близкие. И отныне вот эта маленькая чернушка – есть смысл моей жизни. И оберегать ее моя обязанность. Нет, я не один, с ними мне ничего не страшно.

С того дня Лялька забросила эвакуопункт, выезжая по множеству раз, в любое время суток, везде, где мы слышали залпы и шли бои, поскольку раций тогда было мало, и не на всех позициях, и мы не всегда могли знать – есть там кто-нибудь, нуждающийся в нашей помощи.

Постепенно свыкаясь с войной, она часто поражала нас житейской хваткой, скрашивая наш быт лакомствами, которые умудрялась доставать с селе, в котором мы дислоцировались, благо у нее там жили родственники. Чуть попозже к нам присоединилась еще одна женщина. Так и пришла в Эшеру на эвакуопункт, и с порога, сев на табурет, валявшийся рядом, заявила:

– Короче, беженка я, и жить мне негде и есть нечего. Пришла вот к вам, на передовую. Буду обстирывать, перевязывать, кормить всех.

– Тут тоже, знаешь, не дом отдыха с трехразовым питанием, – пытался я ее уговорить, но, посмотрев на ее решительный взгляд, несуразную юбку с накинутым поверх нее, уже раздобытым где-то в пути до эвакуопункта, военным бушлатом, не выдержал и оставил. – Только чтобы ноги твоей не видел на боевых позициях, вес вон какой у тебя, и не девочка совсем. А там бегать надо быстрее пули.

Через пару минут она раздобыла уже где-то печку и пыталась из сухих наших пайков сделать что-то вроде супа и приличной еды. Готовила она гениально, находя в самых невероятных условиях припасы, и часто таскала их с собой по позициям, чтобы скормить солдатам даже во время боя. Так и прозвали ее Мама-Мзия за добротность фигуры и вечную беззубую улыбку. Они с Лялькой и подружились. Насмерть. Неразлучно. Часу не могли друг без друга. Так и ходили вдвоем за мной везде. Ночью, когда мы все устраивались на ночлег в минуты затишья, они с Мамой-Мзией на правах хозяек заваливались на диван вдвоем, оставляя большую половину места для меня. Так

и спали мы несколько месяцев втроем на одном диване, который по сравнению с носилками казался нам просто аэродромом.

Один раз надо было выделить двух медсестёр для батальона, который заступал на боевые позиции ближе к передовой. Они упростили меня отправить их туда. Перед уходом я строго сказал, чтобы вели себя спокойно и не бегали зря по позициям, дал им задание:

– Вот вам двухтомник Машковского (медицинский словарь по медикаментам), через два дня заеду к вам, будете мне экзамен сдавать. Чтобы назубок выучили значение лекарств и в каких случаях их употреблять.

– Есть, командир, – весело сказала Мама-Мзия, подхватив под мышку оба тома и хитро улыбаясь явно напуганной сложным заданием Ляльке, – зачем пару дней, вечером будем уже читать его наизусть, как конфет!

Я-то понимал, что они сейчас готовы на все, лишь бы я не передумал их отпускать с батальоном. Но ничего, я приеду к ним.

Через пару дней едем туда с Ликой Ачба. Она профессиональный врач, но решила идти не в госпиталь, а к нам на эвакуопункт. Ходила с фонендоскопом, первое время пугая им бойцов. Подъехав тихо, без включенных фар по обычаю, а потому и незамеченными, к школе, в которой разместился батальон, мы заглянули в окно комнаты, в которой они находились при тусклом свете одной свечи, и вдруг слышим такой тихий разговор:

– Мама-Мзия, ну, ты будешь когда-нибудь учить Машковского? Вот приедет Батал, проверит нас, а мы на второй странице застряли. Выгонит нас с передовой. Куда мы пойдём с тобой? Куда голову приткнем? Ты еще его не знаешь, какой у него вредный характер. Чего мне стоило остаться тут, вспоминать не хочу даже.

Мама-Мзия в это время с благоговением и экстазом делала котлеты из мяса, что ей привезли солдаты армянского батальона, к которому они были прикреплены. Мы успели увидеть огромную лохань пышных и манящих к себе деликатесов. Замешивая очередную порцию фарша, она ласково ворковала:

– Ой, Лялька, ты же знаешь, что я не люблю читать. И потом ты знаешь, я на слух лучше всегда учу. Так и в школе делала, сестру заставляла мне уроки читать. Ты читай вслух, я же не мешаю тебе, а я тихо готовлю и слушаю тебя. Клянусь мамой, все запоминаю! А Батал, хоть и рычит на нас иногда, как собака, но это он от любви и кусать

совсем не умеет. Не бойся, не выгонит нас. У меня есть к нему подход! Ах, если бы он сейчас тут был, какие котлеты мы с тобой сделали! Он их так любит! Да и ребят жалко, пока я буду тут с тобой эти книжки читать, кто их накормит. Они же не академию наук собираются брать с оружием в руках, а наш город.

Застали мы их врасплох. Ляльку, с измученным лицом нерадивого школьника, и Маму-Мзию по локоть в фарше, который она стала быстренько стирать тряпочкой, как будто котлеты, горой лежащие на столе, случайно были завезены тыловым снабженцем.

Обнялись радостно, словно вечность не виделись:

– Ну, как занятия? Выучили? Вот мы с Ликой приехали у вас экзамены принимать.

– Ну, что прямо с порога о плохом сразу говоришь? Вначале зайдите, садитесь и немного подкрепитесь. Небось, без нас с Лялькой вы уже и не ели пару дней, как нас там нет, на эвакуопункте толком.

Уводя от темы, Мама-Мзия, сразу перешла в атаку:

– Видишь, как я распределила медикаменты грамотно, как ты учил, Батик!

И мы глянули. На столе лежали два длинных библиотечных ящичка, перегороденные карточками. Между ними лежали всякие таблетки. И надписи на карточках: от головы, от ног, от живота, от спины и далее перечисление всех органов тела. Но самое большое отделение было подписано жирными буквами: от всего.

– А от всего, это что там за медикаменты?

– А вот те, что ты мне вкусные таблетки давал, помнишь? Их у меня много. Витамины всякие, вкусные, есть некоторые без вкуса. Витамин С, который крупный, все любят. Он сладкий, а вот этот почему-то горький, не все берут. Но ты знаешь, ребятам именно эти таблетки от всего и помогают? Дефицит всегда на них.

Мы с Ликой с недоумением смотрели на то, как она дифференцировала медикаменты.

– Ты, видимо, Машковского всего изучила? – съязвил я.

– Ну, зачем с порога на нас рычишь, а где у меня время тут книжки читать? Если бы такая умная была, могла бы в Гудауту пойти в пресс-центр работать. А я вот здесь с ребятами, смотри, какие котлеты пышные, если сейчас же не покушаете, очень мы с Лялькой будем обижены! А Лялька, молодец такая, уже несколько раз прочитала книжки мне вслух. Но, честно говоря, ничего мы с ней не поняли, не мучайте вы нас, и так голова кругом идет, контузия в голове у нас от всего!



Нас прорвало, мы смеялись так, что в комнату ворвались бойцы, решив, что у кого-то крыша съехала. Видя такой оборот, девчонки обрадовались, отшвырнули книжки прочь и стали нас угощать. Даже спирт нашелся по случаю.

Потом было мартовское наступление. С огромными человеческими потерями. Они вдвоем в течение нескольких дней, под дождем, в грязи, под градом пуль, оказывали раненым помощь прямо у реки и поднимали их в блиндаж к трассе.

В ту пору я иногда останавливался в одном доме в Гудауте, ключи от которого мне дал один местный армянин, в это время находившийся в Питере. Туда приходили многие девчонки – привести себя в порядок, передохнуть денек-другой. После жуткого марта Лялька смолкла. Она слышала, что дети в блокадном Ткварчале голодают. Перестала есть мясо. Потом перестала есть сладкое, сахар. Постепенно перешла на один хлеб. Наши уговоры не помогали. Она решила так и делает так, как решила. Обет, говорит, дала, что пока не поедет в Ткуарчал, есть не будет ничего. Однажды она приехала в Гудауту и слегла. Молчит. Я тогда в перерывах между боевыми действиями пытался отправить на Восточный фронт кое-какие медикаменты, которые перевозили на вертолётах. Был май месяц. Иногда на вертолётах отправлялись и ополченцы в Ткуарчал. Мест свободных всегда не было. Очень сложно было в него сесть. Лялька вдруг решительно мне говорит:

– Я должна поехать домой, в Ткуарчал. Ты отпусти меня. Поговори с начальством, если ты захочешь, меня сразу же посадят в вертолет. Я только родных увижу, посею кукурузу, время уже подошло, и сразу же вернусь. Ведь ты знаешь, без тебя и Мамы-Мзии, да и без всех вас, но вы особенно, я уже не смогу и дня быть. Все сделаю и вернусь. Чувствую я, что, если не поеду, совсем мне плохо будет.

Нет, нет, и нет! Не пущу я ее, не пущу, и все. Я не могу больше думать о вертолёте. После 14 декабря, когда сбили вертолет с женщинами и детьми, мысль о полете туда просто сводила меня с ума. Я уговаривал ее недели две. Она уже все больше лежала, обессиленная от недоедания, и вдруг сказала тихо:

– Завтра я перестаю пить воду, если ты мне не дашь слово, что отправишь меня домой.

И я знал, что она так и поступит. И я помог ей уехать. За день до вылета она попросила, чтобы я ее окрестил в церкви.

– Жаль, нельзя, чтобы ты был крестным братом, так мне было бы



ближе. Ну, тогда будешь моим крестным отцом, хотя у меня к тебе чувство, как будто я старшая сестра.

И что-то в этом было. За семь месяцев, что мы были вместе, она мне уже была как сестра, и как будто бы и не младшая. Медсестра. Сестра. Моя сестра.

В ночь перед вылетом она лежала на кровати, обессиленная, держала мою руку и гладила. Без слов. Только утром, поднимаясь в вертолёт, вдруг лучисто улыбаясь, с искринками в глазах, сказала, обернувшись:

– Ты же знаешь, что я приеду. Вот сделаю все дела дома и приеду. Братьям, наверное, некогда. С оружием они, не до посева. А старики мои уже не в силах. И я сразу вернусь.

Я молча смотрел ей вслед, сердце резануло, и опять предчувствие, что мы больше не увидимся. Точно также улетала в декабре на вертолёт другая моя крестница, наша медсестричка Жанна. Вообще-то мы должны были лететь вместе. Но мне дали отбой. Ослепительной красоты девчонка, лихая, бешеная энергия, солнечная. И тоже в ночь перед вылетом примчалась на эвакуопункт, и вдруг всю ночь, держась за руки, мы говорили обо всем на свете. И тогда, когда она улетала, я испытывал те же чувства. Я скоро прилечу и привезу твою сестру оттуда, обещаю. Она выполнила обещание, посадив на вертолет мою сестру и детей, и осталась с ними. Навсегда. В том вертолете, в 14-ом декабря. Ее я опознал по белому ремешку, который как-то где-то раздобыл и подарил нескольким медсестрам. Подарил и Ляльке тоже. В нем она и улетала тогда в мае.

– Ты не прилетай. Там тоже нужны медсестры. Там оставайся. Потом все встретимся. Не думай о нас.

Улыбнулась, затянула ремешок, обняла и села в вертолёт.

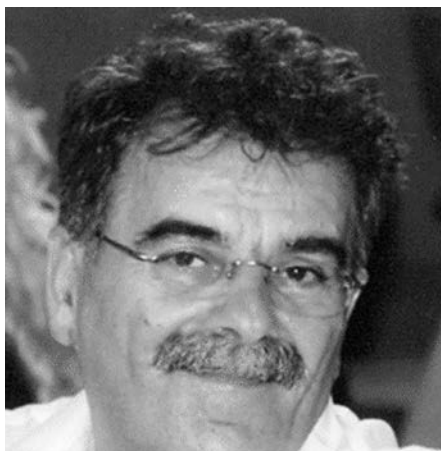
Она успела вспахать поле и засеять его, хотя все отговаривали ее, ссылаясь на то, что рановато для посева кукурузы, привела в порядок свой дом, увидела родных и через неделю решила вернуться.

Сбитый вертолет искали несколько дней. Я опознал ее по кусочку белого широкого ремня. Мы похоронили ее останки у родственников в Эшере, у которых она жила, когда я ее увидел в первый раз. После завершения боевых действий родня решила ее перезахоронить и увезти в Ткварчал. Я не поехал. Не мог. Для меня она оставалась Лялькой из Верхней Эшеры. Лялькой с задорной искринкой в глазах. Там мы познакомились, там прожили бок о бок много месяцев, там

она нашла свой покой. Она осталась для меня именно там. Я так и не принял ее смерть. Уже не было сил. Вместо боли - пустота. Нет, и все.

Был май 93 года. И впереди был еще более тяжелый путь. Но это потом. Потом я вспомню, не сейчас.

*Сухум, 1994-2012*



## Акоп Мовсес

Родился в 1952 году. Окончил филфак Ереванского Государственного Педагогического института им. Х. Абовяна, работал учителем в с. Бужакан Апаранского района. С 1979 года сотрудничал в журнале “Гарун”. С 1991 по 1995 год министр культуры Армении.

Живет в Ереване.

## Август

Пришёл и замер над водой у плёса,  
безмолвно в двери света постучал,  
меж тем как в поле золотоголоса  
твой, август, хор ликующе звучал.  
И красное виденье шаг за шагом  
меня сопровождало, и когда  
я обернулся вспять, нездешним благом  
поодаль золотилась резеда  
и, чудилось, творится пантомима,  
тянулась к свету роща женских рук,  
приблизился же – ни души, помимо  
колышущихся лилий, нет вокруг.

Ах, что за месяц, я сказал, о Боже,  
что за столпы восторга, молвил я,  
которые вверху, не зная дрожи,  
поддерживают своды бытия!  
Насельники твои идут с осанной,  
под сводами помедлят только миг  
и на восток уходят первозданной  
дорогою смиренья напрямик.  
Их шествие в далёкой дымке тонет,  
и, проводив всех тех, кто был таков,  
резвятся дети и на выпас гонят  
брыкающихся тёлки и бычков.

И вот он я, смотри, твой сын и крестник,  
прими меня с обузой неудач,  
души, а с ней великодушья месяц,  
надежд неподражаемый трубач!  
Ты даришь нам ночей твоих безлюдных  
зарницами сверкающую мглу;  
возьми ж и ты – на золочёных блюдах  
тебе подносят женщины золу.

Что дал нам ты? потерю какую  
отметился? что ждёт нас впереди?  
Так сладко в забытьи прильнуть щекою  
к твоей громадной – на просвет – груди.  
Как сладко там услышать вечно бодрых  
творцов и ликований и страстей,  
что звонко пишут на людских надгробьях  
о неизбывной щедрости твоей.

\* \* \*

Есть миг, и никто не причастен к нему:  
вдруг уединённо заплачут свирели,  
и неумолимо вплетётся во тьму  
Двенадцати скорбь, безутешнее трели.

Разверзнется бездна предвестьем беды,  
как по мановенью волшебного жезла,  
и суша исчезнет в пучине воды,  
как если бы рана, всосавшись, исчезла.

Поймите, ей больше не хочется быть,  
являть нам свой норов свирепый и милость,  
а хочет она бытие – прекратить,  
дабы что ни есть – всё в ничто превратилось.

Вселенское око в тот миг соберёт  
лучи, что везде и повсюду сияли,  
нет, не распахнётся, но наоборот –  
замкнётся, закроется, словно вначале.

И в воздухе высей, пустом изнутри,  
не станет ни слова, ни света, ни сини,  
и – зеркало вдребезги (бей, не робей),  
и ты прикоснёшься, что ни говори,  
к навеки раскрывшейся первопричине  
щемящих мучительных слёз и скорбей.

\* \* \*

В мои долины изумрудные вступили  
верблюды, лошади, ослы в налётах пыли.

Искусный кормчий возглавляет караван;  
знаком ли бархатный свирели голос вам?

В его устах – янтарь посулов, притчей, былей;  
кинжал на поясе, в руках охапка лилий.

Он, кажется, во сне со мною говорил.  
Узнал! Конечно же, архангел Гавриил!

Откуда движетесь, пространство раскроя?  
Что привезли нам в наши дивные края?

Какие пальцы набивали ваши ситцы?  
Кем будут шали привезённые носится

и кто, накинув их на плечи, ощутит  
прощальных дальних поцелуев страсть и стыд?

– Эй, сёстры, раскрывайте шире двери!  
Не плачьте! Пойте весело, как пери!

Какие жемчуга, взгляните! И коралл!  
А эти бусы для тебя он подобрал.

Купите зеркало – пошире иль поуже, –  
глядясь в которое, мы видим наши души.

– Сестра, вот роза! Отчего молчишь в тоске?  
Она так смотрится на девичьем виске!

Я охотник, чтоб вы ни сказали,  
кто бы головою ни качал.  
Поглядите на мои сандали  
и на полный стрелами колчан!

Я охрип от крика, связки сели,  
кто меня толкнул, я не пойму...  
Потому все стрелы мимо цели  
пролетели, только потому.

Не нашёл я дичи ни за лугом  
в роще, ни в лесу, ни на пруду.  
Следственно, вооружившись луком,  
снова на охоту я иду.

(Свыше наставленья прозвучало:  
«Дичь на волю отпусти; да, так!  
Чтобы подстрелить её, сначала  
сердцем улови особый знак.

Славный ты охотник!» – голос лился,  
и стезю указывал, и звал.  
Только почему ж Он прослезился  
и меня в глаза поцеловал?)

Почему сбежал олень в долине  
и ни разу не попался лось,  
почему мне никого доньше  
подстрелить, увы, не удалось?

Дичь я упустил, остались тени,  
и была в горах, да вся сплыла:  
навсегда фазаны улетели,  
скрылись навсегда перепела.

Может, снова всё впустую, Боже?

Может, промахнусь опять? Прости.  
Птицы всё же хороши до дрожи,  
и я знаю, где мне их найти.

## Царский гонец

Протрубил, оглашая дворец,  
рог чистейший твой, царский гонец.

Ты вручил нам, тревогою раня,  
треугольное свыше посланье.

Мы раскрыли его, а внутри –  
наставление, что до зари,

бессловесное, точно над бездной,  
снизошло с высоты поднебесной.

Мы найдём, что промолвить в ответ,  
золотой письмоносец наш? Нет.

Разве лишь наподобье истицы  
наша песня из уст заструится.  
Подпевайте, небесные птицы!

Назначение слова? Не вспять  
отступать, а предметы распрячь,

чтоб они вознеслись и вздохнули,  
чтобы сердце своё распахнули,

а наутро сквозь гомон и гам  
вновь припали к его ногам.



Я видел трёх горлинок, мама,  
летали, не ведая бед;  
одна была ночи темнее,  
другая – как ясный рассвет.  
Одна заглянула в глаза мне  
и плачет – да что же с ней? –  
другая крыла простёрла,  
заворковала нежней.

Три горлинки мне приснились,  
я видел их, трёх подруг:  
одна – словно север белый,  
другая похожа на юг.  
Одна из них пела, мама,  
присев на кровли села,  
другая в полях парила,  
раскидывая крыла.

Я видел трёх горлинок, мама,  
трёх горлиц видел во сне,  
одна надо мною кружила,  
и пела другая мне.  
Одна пропала, как песня,  
другую – как сбили влёт;  
лишь третья со мной осталась –  
молчит, воркует, поёт.

Ах, мама, она спустилась,  
она на груди у меня –  
как месяц в глухую полночь,  
как солнышко среди дня.  
И днём со мною в дорогу,  
и в ночь со мной – на ночлег,  
поскольку нет её, не было  
и не будет вовек.

*Перевод с армянского Георгия Кубатьяна*



Физик по образованию, кандидат в мастера спорта по шахматам. Автор нескольких прозаических книг. Пишет на абхазском и русском языках. В 2007 в Москве вышел его роман «Берег ночи». Министр образования Республики Абхазия. Живет в Сухуме.

вырубив леса по всей земле люди взяли в кольцо последнее дерево каждый из них держал по топору и казалось они растут прямо из их туловища и были они так остры что могли волос тонкий расколоть на части отдельно же от всех в молчаливой гордыне стоял предводитель который левой рукой прижимал к груди огромную книгу а в правой его руке колыхалось знамя с багровым тесаком на зеленом поле и холодные льдинки его глаз смотрели в неведомую даль и не видели того с какой решительностью взрезалось дерево в слепящую синь небосвода и макушка его терялась в заоблачной выси отчего люди замерли в испуге и не только они даже росшие из их туловищ топоры сникли вдруг без прежней свирепости потому что с таким исполином было совладать не так легко и немигающее смотревшие поверх голов глаза предводителя застыли потому что напряженное молчанье толпы встревожило его и он спрашивал себя что бы это значило и сердце подсказывало что они столкнулись с доселе невиданным но он не знал с чем это связать с небом ли о котором они толковали непрерывно или же с деревом которое они люто ненавидели но как бы ни было ждать нельзя надо что-то предпринимать и в это время некто вышел из толпы и встал перед народом и он не держал топора что всех удивило несказанно и они с презрением оглядели его с головы до ног потом вновь уставились на дерево но когда он заговорил нехотя обернулись к нему и удивились вновь но на этот раз гораздо больше так как он сказал что не надо убивать дерево и слова эти были страшны для них и они возмущенно зашумели потом воззвали к предводителю и предводитель не дав остыть их праведному гневу спросил слышали ли они что сказал некто а люди услышав голос предводителя утихомирились и замерли обратившись в слух ибо вот уже долгие месяцы как они заприметили вдали колышущуюся в мареве над горизонтом тень дерева и шли к нему через пустыню не зная устали но дерево было все так же недосягаемо словно с каждым их шагом отдалялось все дальше и дальше но не это их угнетало ибо до дерева они и так добрались бы рано или поздно а угнетало их равнодушное молчанье предводителя потому что молнией пронзавший их дерево сердца родной голос его давно не слышали потому были подавлены а он во время отдыха не видя никого вокруг утыкался в книгу и

когда трогались в путь вновь шествовал впереди так они достигли распластанной по пустыне громадной тени дерева и в их рядах стал раздаваться сперва робкий но час от часу набиравший силу ропот и он прослышав об их недовольстве пригрозил тогда если не уймутся лишит их топоров и они довольные тем что предводитель снизошел до них и заговорил весь остальной путь до дерева только о том и говорили какой большой души и какого большого ума их предводитель как он заботлив что отец родной как печется о них и если вдуматься в его на первый взгляд резкие слова о том что отнимет топоры то поймешь глубоко запрятанный в них смысл призывающий собрать все силы и держаться так как недолго осталось до цели и дерева они достигли полные решимости и вот опять он заговорил и они дружно ответствовали ему что слышали несправедливые слова некоего на что предводитель сказал что они больно ударили по их сердцам что как кулак были они едины до сегодняшнего дня что они идут путем указанным предками идут к заветной цели что остался только шаг что не могут позволить кому бы ни было сбить их с истинного пути и что человек этот их враг и слова предводителя сплывали людей в отлитую пулю и люди ощущали в себе такую мощь что им казалось что само небо смогли бы сорвать с выси и прижать недвижно к земле и вдруг опять раздался голос бестопорного который повторил что не надо убивать дерево что он слышал от деда будто люди происходят от дерева и сказано было это в книге в настоящей книге дед читал ее на что предводитель сказал что бестопорный врет потому что есть только одна настоящая книга и он поднял книгу которую держал прижатой к груди и показал толпе и толпа возопила от восторга но бестопорный не унимался утверждая что была еще другая книга и в ней было написано что жизнь в смычке сна и яви что день без дерева неполный день что если день неполный то и сны человека неполны и тогда предводитель спросил что означает сон кто его видел и толпа дружно отвечала что никто никогда не видел снов но бестопорный стоял на своем доказывая что в той настоящей книге говорилось о снах любви и смерти на что предводитель возразил что нет смерти с нею давно покончили и толпа с ликованием подтвердила что смерти нет и некоторое время было тихо и дерево все так же решительно взрезалось в небо не обращая внимания на людей и вдруг заговорил предводитель сказав что не может решиться повторить слова этого безумца потому что они могут как зараза поразить их и об этом предупреждает книга в ней есть список слов которые вредны которые надо забыть выки-

нуть и он открыл книгу и уставился в нее и сказал если кто не верит пусть подойдет и посмотрит и толпа с обидой на это сказала что они верят своему предводителю и они заволновались не понимая в чем провинились что он заговорил с ними так и сомкнули головы посовещались потом один из них вышел и встал перед предводителем и попросил чтобы он простил их глупых недалеких если они по своему неразумию ранили его большое сердце в котором умещается такая любовь к ним и предводитель некоторое время хранил молчанье дав народу поволноваться потом закрыл книгу прижал к груди и как ни в чем ни бывало сказал что бестопорный трус потому что без топора а люди были в недоумении что предводитель ничего не ответил на их просьбу но когда он заговорил так словно ничего не случилось они пришли в себя и дружно возгласили что бестопорный и вправду трус что он бросил топор что он предатель а бестопорный продолжал свое будто не слышал угроз толпы и говорил о том что мы те же деревья которые когда-то вырвали свои корни и двинулись по земле потому что даль звала нас мы хотели испытать ее и так мы свернули с назначенного пути и кто знает если мы не тронем это дерево может сумеем вернуться к себе на свое место и загладить былую ошибку но предводитель не дал договорить ему сказав что смотря на дерево они всегда чувствовали себя жалкими и ничтожными что дерево всегда унижало и презирало их и толпа заревела что дерево всегда унижало и презирало их и опять установилась тишина и тогда предводитель сказал что они всегда жаждали неба и подумал про себя что и он наконец увидит небо и поймет что они такого в нем нашли и тогда толпа вдруг забурлила задвигалась сорвалась с места и растоптав предводителя и бестопорного с криками неба неба ринулась к дереву а ветер трепал пустые листы книги лежащей на земле

*Перевод с абхазского автора*

## 1

Раз Баджга позвал сыновей и сказал им: «Когда обращаю стопы свои прочь отсюда, несите меня не на кладбище отцов, а захороните в другом, неприметном, месте, подальше от глаз».

На их памяти о женщинах и смерти отец никогда не заговаривал, его слова были неожиданными, они оторопели, не зная, что и подумать. Потому, наверно, запомнили их по-разному: старшему слышалось «заройте», младшему «засыпьте».

Хоть в этом и разошлись они, обоим стало ясно: отец захотел, чтобы его, не обременив ничьим сочувствием, забросали землей и забыли напрочь.

Старший, Арчил, выучился кой-какой грамоте, и теперь город стал ему приютом. Пять дней был затерян он в его многошумье и суете, отбывал жизнь среди чужих людей. На шестой являлся к родным, прихватив хлеб, сахар, сладости, другую мелочь – то, в чем они нуждались. Выходных не пропускал, но для отца и брата его приезд всегда был как снег на голову. Случай человека, которого не ждут. Только сестра Нара, чья молодость уже опадала осенним желтолистьем, радовалась ему, как дитя, и в дни, что он пребывал дома, ее нежность и любовь оберегали Арчила.

И уезжал он точно так же тихо, незаметно, как с заходом солнца исчезающая тень, не позволив никому привыкнуть к себе...

Арчил подумал: может, отец услышал голос, который, обратив его взор к приближающемуся концу, наполнил его уши нестерпимым гулом? Как бы ни было, не придется ему отныне тащиться сюда каждую субботу, отныне... «Свободен».

Младший же, Ардашил, подумал о том, что неплохо бы, как справят годовщину отца, завести себе жену. Самое время. Должен ведь и он оставить след, неужели томящая его ночами сила обречена истечь впустую, не вызрев ни в чьем лоне.

## 2

Сасария свой возраст мерила не годами. «Стольких пережила, нан\*, царство им небесное!» – вздыхала она, когда спрашивали,

сколько ей лет, и начинала перечислять их, пережитых. Не всех, конечно, кто на ее веку, отряхнув с подошв своих прах этого брэнного мира, прошествовал в то самое царство небесное, а тех, кого она знала лично, кто был ей близок, родней, друзьями.

Разные ученые люди так интересовались ее многолетием, навещали с огромными портфелями, набитыми бумагами. Что-то записывали, удивленно качали головами, словно оттуда, из запредельности, глядя на нее сквозь толстые стекла очков. Чему дивятся, порази их гром?! Что тут особенного?! Хотя, что скрывать, в глубине души Сасария тоже считала, что зажила на свете, что вдоволь насытилась горькой сладостью жизни, и уже не худо бы упрятать ее подалее от глаз.

Прибирая обычно по старшинству, Апсцваха\*\*, то ли от усталости, то ли от скуки, вдруг нарушал правило и забирал тех, кто вроде бы не подходил, отставив тех, кто на очереди. Может, и Сасария таким образом выпала из его поля зрения и осталась позабытой? Но Апсцваха лишь слуга, хотя, как всякий слуга, не прочь иногда посамовольничать, и связан по рукам и ногам: без одобрения сверху шагу не сделает. Раз так, почему Всевышний все отдалял уход Сасарии? Может, дело в ее призвании плакальщицы? Ведь ни одни похороны в округе не проходили без ее причитаний, здесь она не знала равных, и каждая семья, в которой поселилось горе, считала честью для себя присутствие Сасарии в скорбном ритуале.

Наступило время, когда она очутилась в страшном одиночестве – вокруг никаких знакомых лиц, все повально чужие. Но постепенно стали появляться люди, похожие на тех, кого она считала безвозвратно ушедшими и кто был запрятан глубоко в ее памяти. Будто исходив свой потусторонний путь, они вновь топчут поюсторонний. И обликом, и повадкой, и судьбой они повторяли тех, первых. Имена носили современные, но вот они, давние знакомцы: Тамбей, Бардгу, Шханькуа, Чанта...

Сасарию они не знали и не помнили. Но сколько раз, бывало, уставятся на нее и, кажется, вот-вот узнают. В их глазах застыл немой вопрос: «Мы видели тебя; где? когда?» Но слова узнавания, разломав разделявший их лед беспамьятства, только собирались слететь с губ, как их будто уносило ветром, и они отворачивались. Им было невдомек, что они живали здесь и раньше, потому, возродись они хоть сотни, хоть тысячи раз, не вспомнили бы Сасарию.

Не все возвращались оттуда, некоторых она так и не увидела, кто знает, что их задержало, куда они подались. В том числе и ее родные, братья, сестры, отец, мать, дедушка, бабушка, многие ушли туда. Но похожих лиц, голосов она ни разу так и не встретила, не слышала.

Когда вдруг перестаешь видеть родные лица, слышать родные голоса, ты невольно начинаешь думать, что тебя предали. Помимо этого, каждый из них, уходя, уносил крупицу ее молодости, чудесной поры, даруемой человеку только раз. Вот так по крупице и унесли ее всю. Правда, молодость изредка давала о себе знать внезапной болью, остро сжимавшей сердце. Но иногда родные приходили к ней во сне, и это ее утешало.

Раз приснились Сасарии люди, стоящие неподвижно, будто окаменевшие, когда-то знакомые, но давно умершие, она ходит между ними, ходит и ходит, а их много, целый лес. Так всю ночь она проплутала среди них, как заблудившаяся. Стоят, смотрят на нее, молчат, но она слышит: «Одна ты осталась, кто помнит нас. Пока ты жива, живы и мы».

Только ушедшие и снились. Были и такие, кто ни за что не являлся в ее сны – те, кто оделись в смерть, как в броню, и теперь не бросали вспять тоскующих взглядов. Им было отрадно, что они покинули этот мир, и хотели только одного: чтобы их забыли навсегда. Но большинство тянулись обратно: «Хотя бы день жизни... хотя бы до полудня...»

В последнее время Сасария была беспокойна: она не видела снов. Не то, чтобы не могла обойтись без них, но сон означал, что на следующий день у ворот будет стоять безутешный родственник: «Сасария, просьба к тебе: укрась наши похороны, укрась покойника!»

Если кто решит, что Сасария радовалась чужой смерти, то он будет глубоко неправ. Любая смерть вызывала в ней грусть. Еще бывало ей грустно, когда она, оговорившись, вместо «переменил мир» говорила «умер». В ее причитанья слово «умер» иногда затесывалось, конечно, но она тут же осаживала его другими словами. Лишь произнесенное отдельно, оно имело силу и могло обмануть несведущего.

Нет, смер... простите, перемена мира человеком печалила Сасарию. Но и здесь нужен порядок, считала она, Апсцваху свою работу должен делать аккуратно, без перебоев. Неужто люди перестали умирать, спрашивала она себя, когда вот так оставалась без снов.



дений. Какие бы страдания не претерпел человек в жизни, впереди его ждет безбрежная радость: угасание, сон, забвенье. Еще Сасария знала, что каждый умирает так, как жил. В последний час все, что каждый из нас утаивал при жизни, становится явным. Ничего не скроешь, ибо нет у тебя никаких тайн – ты умер.

Человеку всегда жаждет иного, ему подавай все новое и новое, может, на этот раз он придумал что-то получше смерти? Как бы ни так! Лишь обессилив и сникнув, человек пытается сравнять смерть и смертоубийство – войны, что прогромыхали на ее веку, убедили ее в этом. Но в последнее время люди вроде поуспокоились, если не говорить о вялых взаимоистреблениях где-то на краю земли. Потому Сасария ждала, когда у ворот ее появится мрачный родственник очередного умершего.

### 3

Ужас, на что ты решился, Баджга, ужас! Ни соседи, ни поселок, ни село в целом не ожидали от тебя этого, всех ты поверг в недоумение, в боязливое перешептыванье: а что бы это значило?

Правда, ничего особенного ты не сделал. В одну ночь, то ли по стечению судьбы, то ли по собственному желанию, ты взял да и умер, как умирали до тебя и будут умирать после тебя все без исключения. Но от этих «всех», кому сызмальства посвятил всего себя, если верить твоим словам, ты всегда держался особняком, не хотел растворяться в их безликой серой толпе, да и никто никогда не смешивал тебя с ними. Удачно пронес ты эту маску, ничего не скажешь!

Но удел «всех» не миновал и тебя, настал тот день...

Напрасно не думай, что тебя кто-то пожалел, что в ком-то смерть твоя отозвалась болью. Вначале, когда прошел слух, что ты умер, никто не поверил, но и потом, убедившись, что ты и впрямь ушел в другой мир, чтобы и его выесть до сердцевины, и его испоганить, и тогда ни в чьем сердце не шевельнулась жалость к тебе.

Речь не о твоём предсмертном крике. В округе все слышали его. К концу долгой зимней ночи раздался он, и все повыскакивали с постелей и как были в исподнем выбежали во двор. Никто не понимал, откуда этот истошный вопль, но кто бы его ни издавал, человек или зверь, не пожалеть его невозможно было.

Баджга, ты давно предчувствовал, что не днем, а ночью будет решена твоя участь. В кромешной тьме, во мраке, когда глубокий

сон потушит людей, и никого вокруг, кому сказать свою исповедь. Тебе не хотелось, чтобы так было. Позвал тех двоих, что из крови твоей произошли, и сказал им, где должно быть твое последнее пристанище. (О дочке разговор отдельный. Ее присутствие было невыносимо: ты видел в ней незабвенные черты матери и считал, что она рождена тебе на страдание.)

«Кто они и что делают в моем доме?» – не раз с недоумением спрашивал ты себя. Не то что ты их не любил, как-никак твоя кровь, и все же... Были они не только разных возрастов, разны были во всем – обликом, нравом. Не скажешь, что родные братья. Но ведь должно быть что-то, что выше схожести объединяет людей: кровь. Но и это самообман...

«Когда обращаю стопы свои прочь...» – так ты начал, Баджга. Сыновья ждали молча. (Дочь, которая больше всех любила тебя, и которую ты любил больше всех, не позвал, ей не полагалось.) Вместо «когда умру». Не потому, что не хотел пугать их такой откровенностью. Самому тебе тяжело было говорить о смерти, и ты переименовал ее имя, слабое утешение напоследок.

«Когда обращаю стопы свои прочь...»

Утром, проснувшись, первое, о чем ты подумал – не доживешь до заката, вместе с солнцем угаснет и твое изношенное старое тело. Если не сегодня, то до завтра – сработало давнее предчувствие – уж точно не протянешь, тебя поглотит ночь. А ты хотел, чтобы наяву, при живом солнце: вряд ли сподобишься увидеть Его, то хоть Его слуге Апсцвахе посмотришь в глаза и тогда, кто знает, может, надежда какая зародится в душе.

Но, правду говоря, ты не боялся умереть. Ты боялся другого – не услышать голос. Тот голос, которого ты до сих пор не удостоился.

Баджга, ты никогда не верил рассказам о том, будто твои отцы, как настанет им срок покинуть жизнь, слышат голос. Впервые узнал об этом еще мальчишкой от бабушки. Что-то натворил, несносный был уже тогда, а бабушка, стараясь не обидеть, но достаточно твердо отругав, добавила: «Если будешь так себя вести, знай, голоса не услышишь». Ты пристал, и она рассказала о голосе, который слышали перед смертью твои предки.

Твой отец тоже стал слышать его, Баджга, и ушел с улыбкой на лице. Свихнулся старик, подумал ты тогда, но был неправ. Твои отцы не головой старились, а ногами: ноги не выдерживали тяжести пронесенных лет и в старости отказывали. Видимо, не случай-

но было им так назначено: чтобы в стороне, в одиночестве услышать голос. Если ноги все еще готовы с прежней прытью донести до оглушительного сборища людей, голос тот затаивается, его не будет слышно.

С трудом доплетались старики до тени грушевого дерева, и пока день не погаснет, проводили там. В непогоду устраивались на крыльце акуаскьи\*\*\* и сидели, уставившись в даль, отринувшую их из-за их слабых ног. Переживали. Пока не услышат тот голос. Тогда их лица озарялись, будто услышали долгожданную радостную весть, и потом, до ухода в мир иной, их лица так и оставались озаренными нездешним светом.

Ты просил Бога, хотя никого из живущих никогда ни о чем не просил. В последнее время ты все чаще думал о нем, не то, что раньше. Раньше... Раньше было по-другому, если и вспоминал, то когда произносил тосты: «Да благословит нас Бог!.. Да будет Бог с вами!.. Да посмотрит Бог на вас!..» Наедине с собой же забывал Бога, тебе не до него было. Теперь же неустанно молил: «Голос! Голос, который слышали мои отцы. Больше ни о чем не прошу».

Сколько уже просишь с тех пор, как ослабли ноги, до этого не знавшие устали, по стольким дорогам, по стольким горам исходившие, а теперь годные лишь на то, чтобы с трудом проволочить тебя до грушевого дерева. Ведь твои отцы именно тогда, как ты сейчас, и начинали слышать голос.

Но у Бога, видимо, свои расчеты, не услышал он твоей просьбы, не снизошел. В непроглядной тьме должна решиться твоя участь, с этим ты примирился; с чем не мог примириться, так это с тем, что не услышишь голоса.

Не верил до самого последнего мгновения. Вот сейчас, вот-вот, рассеяв тьму, до слуха коснется тот умиротворяющий, тот сладчайший голос, и лицо твое озарит никем прежде не виденная улыбка. Кто знает, может, потом эта сияющая улыбка так и останется на окаменевшем твоём лице.

Но все было тщетно. И когда ты понял, что не будет тебе голоса, ты закричал, Баджга. Закричал, собрав все силы.

#### 4

Накануне похорон тьякканье Тигра заставил Сасарию выйти из амацурты\*\*\*\*. «Что на этот раз привиделось ему?» – пробурчала она. Собачонка была несносная, не раз выводила ее из себя.

Когда она уходила на похороны, Тигр ластился, вымаливая забрать с собой и его. Но Сасария была непреклонна: «Сегодня оставайся дома, охраняй кур и цыплят, а то нет покоя от лис и ястребов». Тигр слушал, все так же любовно и умоляюще смотря на нее, помахивал хвостом. «Будь дома, не видишь, лисы и ястребы разорили нас!» – пыталась вразумить Тигра Сасария, но Тигр не хотел вразумляться. «Какой же ты несносный, как хвост, не отстаешь от меня! Оставайся дома, иначе, клянусь живыми и мертвыми, получишь по башке!» – и в подтверждение нешуточности своих угроз помахиwała палкой перед носом Тигра. Но Тигр был настолько толстокож и непонятлив, что, даже истреби лисы и ястребы всех кур, не мог отказаться от своего желания и всё смотрел умоляющими глазками на хозяйку, пытаясь разжалобить ее. Но и грозно ходившую над ним палку не упускал из виду, косясь на нее бегающими глазками, чтобы при явности намерений хозяйки и опасном приближении тут же отпрянуть в сторону, ибо не раз преобильно настигала она его. Но и другое заметил Тигр: в последнее время все реже и реже настигала она его, и, осмелев, он стал чаще не слушаться Сасарии.

...Она посмотрела и увидела у ворот кого-то. «Заткнись, если такой смелый, подойди к нему, на расстоянии мы все храбрецы.

Более трусливого пса не встречала... Заходи, нан, он не кусается!»

Вылитый Баджга стоял перед нею. Перешагнувший молодость и в пору зрелости вступивший мужчина. Такой же тяжелый взгляд, с некоторым презрением. Вылитый Баджга, но только на первый взгляд. Если присмотреться, было видно, что и материнское тоже есть в нем. Кровь разбавлена.

«Отец... завтра... похороны...» – с трудом выговорил Ардашил.

Эти три дня тяжело дались ему. Арчил не соглашался, но и он не уступил. Последнее слово умирающего выше всего, в крайнем случае, раз он так захотел, похороним его в конце сада, сказал Арчил: и от дома недалеко, и место укромное. И это при том, что на взгорье есть родовое кладбище, где покоятся их предки! После похорон он уедет к себе в город, а ему оставаться, и ему ничего не забудут. Милая Нара поддержала его, ей не хотелось обижать Арчила, но убедила его, что нет другого выхода.

Ардашил никогда не шел наперекор отцу, но сейчас пришлось пойти, ему хотелось пойти: надо заявить о себе, все сроки вышли.

И пришел он к Сасарии потому, что знал, что говорили на селе об отце, с детства ему было тяжело это слышать. Не затем, чтобы Сасария украсила похороны, она скажет нужные слова, как есть на самом деле, что правдивее того, что видят глаза, слышат уши. Не может, чтобы отец не оказался под крылом этой правды.

Баджга стоял перед нею, и когда он открыл рот и голосом Баджги сказал несколько слов, она поняла, что произошло. Она была уверена в том, что кровь Баджги так сильна, что и его детям, и детям его детей до седьмого колена хватит ее. Через семь колен дух Баджги иссякнет. Но, оказывается, в Баджге не было крови, что хватило бы на семь колен, он сам израсходовал ее всю. Ее хватило только на самое простое – сохранить его внешний облик, но не нутро. Голос подражал голосу Баджги, только и всего, от Сасарии это не укрылось.

Она обманулась: напрасно думала, что кровь Баджги способна на большее.

– Нан, приду, как не приду... как не оплакать несчастного Баджгу.

## 5

...Сказал бы, похороните, как всех, еще куда ни шло, а он: закопайте поглубже, холмик могильный с землей сравняйте, камня с именем у изголовья не ставьте, не ограждайте, пусть зарастет и сгинет то место навсегда... Так говоришь, будто рядом был, когда он испускал свой поганый дух. Я что, люди говорят; верно, услышал кто-то... Кто? Чужих не было с ним в ту ночь, только сыновья и дочь. Может, они и сказали. Как же, скажут они тебе! Особенно этот, как бы младший. И Нара не баба какая-нибудь, трепать языком не в ее нраве. Но такое не очень-то и скроешь, люди рано или поздно прознают, молва пойдет. Глянь-глянь, что стервец Ардашил вытворяет поперек старшему брату. Сказывают, не дал ему и рта раскрыть. Отца похороним, где положено, там, где покоятся его родные, отрезал он. Сам, говоришь, захотел? Последний, говоришь, его наказ? Здрасте! Мало ли что взбредет в голову глупому старику... Арчил на это: надо уважить волю отца – и праху его мир, и сердцам нашим покой. Ардашил ни в какую: не будем делать из себя посмешище. Сцепились. Только благодаря Наре до мордобоя не дошло. Пожалейте отца, взмолилась она, стыд и срам, он еще не остыл, а вы тут... Но кто слышит... Да, заткнул его: ты уехал отсюда, твое слово здесь ничего не значит, а мне ничего не простят. А ведь

он прав... Отца родного не могли поделить... Да и он тоже, царство ему небесное, не подумал о тех, кого оставляет после себя... Он только о себе думал. И не царство небесное, а ад ему место. Не приукрашивай, нашелся добрый. Не нам с тобой судить, какое место Бог ему назначит. Если он там наверху не ослеп вовсе и ему еще есть дело до нас, ручаюсь, гореть нашему Баджге в аду. Оставьте Бога в покое, поговорим о земных делах. Раз начали, расскажите побольше о покойнике. Я к тому, что, как положено, надо было благословить их и отойти спокойно в мир иной, а он... Черт его попутал, нашептал неподвадное на ухо, и все пошло кубарем. Нару жаль больше всех, состарилась, а счастья никакого. Благодаря ей до сих пор семья держалась. Попробуй успири трех головорезов. Сто раз вышла бы замуж, если не отец. В каждом женихе находил изъян: то ростом не вышел, то неприлично высок и дюж, то смугл, что твой арап, то белокур и светел, то фамилия неподходящая... Она же не посмела его послушаться. Откуда берете вы все это? Каким ветром надуло? Народ говорит, а народ всё знает. А он, народ ваш, случаем не знает, за что Баджга так себя казнил под конец? Знает, как не знает, но не говорит. Почему же? Дело давнее, какой толк ворошить, отныне ему судья Всевышний, не мы. Когда надо было судить, молчали, в рот воды набравши... Тогда другое было время, не то что сейчас... И все же, что такого натворил Баджга, что захотел быть похороненным не на фамильном кладбище? Точно никто не знает. Слухи всё. Он делал то, что делали другие. Говорят, будучи председателем колхоза, сдал многих своих недоброжелателей. Но я не верю в это. Я так знаю, что в молодости новые хозяева использовали его, чтобы тайно убирать неудобных, и таким способом не одну душу загубил. Впервые слышу об этом. Ты не слышал, но так было. Сегодня всё стало известно. Зачем было убирать тайно, когда могли наяву? Это потом стали наяву, когда пошли издержки с планом, а до этого прибегали к услугам таких, как Баджга. Он как, задарма губил души или же ему звонкой монетой отсыпали? Поди, спроси его, видишь, где он лежит? Чтоб и тебе лежать так в скором времени! Тогда зачем глупые вопросы задаешь! Баджга задарма и курице шею не свернул бы, не то что человеку... Когда стали наяву уничтожать народ, Баджга остепенился, вернулся в родное село, занялся хозяйством. Потом началась большая война, тогда он уже был председателем, это его и спасло. Женился... На той, что была младше него на тридцать лет. У него родились дети. Правда, несчастная Ликор умерла через

пять лет. А так у него все было нормально. До сегодняшнего дня. Ну, все мы рано или поздно умираем... Если хотите знать правду, из-за женитьбы за ним и волочились все эти слухи. Это как? Некоторые помнят. Родители ее были против. Она еще ребенок, а он порядком поизносившийся. На вид был крепок, бугая мог запросто взять за рога и свалить, а до выпить-поесть охоч был по-прежнему, никому не уступал, на всех застольях тамадой он... Около года тянулось это дело. В конце ее родители все же согласились; наверно, надоело отказывать, а он не отстает. К тому времени она была беременна от него. Вот они подальше от позора... Лошадь у него была, Арапка. Большая, сильная. На ней объезжал чайные плантации, смотрел, как идет работа. Кто не вышел на работу или опоздал, тому несдобровать. Был он страшно крут и легок на расправу. Все боялись его. Так вот, в тот день видели, как до самого вечера Арапка стояла привязанной к грабу возле плантации Ликор, а их не было нигде. После этого они и поженились... На сегодня хватит. Лучше пойдёмте, ополоснем руки, к столу зовут...

## 6

В день похорон Сасария только собралась, а Тигр уже ждал ее, улегшись в тени шелковицы, росшей вне двора, у тропинки на большак. Если раньше, видя, что он не отстанет, она примирительно выговаривала: «Ладно, так и быть, сегодня возьму тебя, но знай: в следующий раз ни за что!», то сейчас лишь процедила сквозь зубы: «Твоя взяла, негодник!»

Сасария, когда шла оплакивать усопшего, никогда не придумывала заранее, какими словами она будет причитать на этот раз: ведь умершие схожи только в смерти, а в жизни были разные, потому и разное следует говорить о них. Ей достаточно было присесть у изголовья покойника, посмотреть на его холодное потустороннее лицо, как слова приходили сами. И теперь было то же: она только взглянула на усмиренного смертью Баджгу, чье ожесточенное сердце было сокрушено, как нужные слова пришли сразу.

...Собравшиеся, и старики, и молодые, мужчины, женщины плакали по несчастному Баджге, который сделал им столько зла. Оплакивали как родного, моля Бога о том, чтобы все лучшее, что есть там, куда ушел Баджга, перепало ему. Похороны эти были необычными – присутствующие обливались слезами не потому, что, вспомнив умерших близких или свою близкую ли, дальнюю ли кончину, исходили жалостью, они сокрушались по Баджге, и только по



нему.

Гроб поставили на стол, стоявший в середине двора, и старик, который должен был говорить об усопшем, воткнул свой посох в землю, снял папаху и накинул на него. Он оглядел скорбно молчащих людей, плотно обступивших гроб, и понял, что слова тут излишни, они могут ослабить то, что объединило их, что, смыв с их сердец мелкое, уродливое, озаряло теперь их лица. Он подошел к гробу и провел ладонью по груди Баджги (все ощутили, как бережно, как нежно, боясь причинить боль, провел он ладонью по холодной, окаменевшей груди Баджги), потом поцеловал его в лоб (все ощутили, как бережно, нежно, боясь причинить боль, поцеловал он холодный, окаменевший лоб Баджги). «Земля тебе пухом», – одел папаху, взял посох и встал на свое место.

Люди подходили к гробу, проводили рукой по груди Баджги, целовали его в лоб и отходили на свои места.

...Зимний день клонился к закату. Небо вновь покрылось тучами, начало сыпать снежком.

Ребята подняли гроб, водрузили на плечи и понесли. Сделав несколько шагов, они приспустили гроб и слегка коснулись земли, и так трижды, пока не покинули двор. Впереди шли соседские дети, раскидывая цветы. Цветов было мало, поэтому дети берегли их, чтобы хватило до кладбища, раскидывали подальше друг от друга. Это резче проявляло красоту цветов, шедшие за ними невольно задерживали на них взгляды. Казалось, это следы, оставляемые людьми на подернутой снегом земле.

## 7

Видал, каким агнцем выставила злодея! Ничего не скажешь, Сасария дока по этой части, и камень разжалобит. Ксиву дала ему в лапы, может, выручит она его, примут там бедняжку. А кого не принимали, примут, еще как примут, обратно ни за что не пустят. Он тоже был человек, его тоже создал Бог, кто знает... А ты всё сглаживай, всё сглаживай! Сасария не вечна, придет и ее черед, и тогда тебя посадим вместо нее, потом сглаживай сколько душе угодно. Всё кусаешься... Не кусаюсь, а говорю как есть!



Люди расходились. Увиденное и пережитое сегодня надолго запомнится им. Одного из виновников этого они предали земле и забыли.

Другая виновница, Сасария, шла домой. Нара проводила ее, внимательная, добрая Нара. Старухе она сказала столько хороших слов, что Сасария чуть не растаяла, шла, будто летела, Тигр не мог угнаться за нею.

Но и о ней тоже забыли расходившиеся люди, до следующих похорон и не вспомнят. Но Сасария привыкла к этому, она не обижалась. Она считала, что так и должно быть. Плакальщица, сделав свое дело, должна уйти в тень, она уже не нужна.

Думала же она о палке, которая стала ей великовата. Постарела я, сказала она про себя, всё клонюсь к земле, которая примет и успокоит.

Потом повернулась к Тигру и пригрозила:

– Попробуй, негодник, в другой раз увязаться за мной, чтоб Алышкентыр<sup>\*\*\*\*\*</sup> тебя взял!

\* Нан (абх.) – ласковое обращение женщины к младшим.

\*\* Апсцваха (абх.) – бог смерти в абхазских традиционных верованиях.

\*\*\* Акуаскья (абх.) – большой дом в абхазской усадьбе.

\*\*\*\* Амацурта (абх.) – отдельный кухонный домик.

\*\*\*\*\* Алышкентыр (абх.) – божество собак в абхазской мифологии.

*Перевод с абхазского автора*



Поэт-преводчик. Родился в 1958 году в Агдаме. Обладатель премии Расула Рзы и Чеслава Милоша (Польша). Автор 3-х книг.  
Живет в Баку.

– Ах, Карабах!..  
Земля,  
что влечет меня, где бы я ни был,  
припасть на ее материнскую грудь.  
Воздух,  
что в грудь проникает мою  
легко и свободно, без всяких препон.  
Ледяные, кипящие, сладкие  
воды  
сквозь камни пробившись,  
рассёкши скалы,  
сочатся, текут, стремятся потоком.  
Ночи тоску и тьму побеждая,  
звездные, сказочные  
простерлись  
твои небеса.  
Летающие мимо, плывущие мимо,  
бьют в барабаны, грохочут над нами,  
чтоб нас пробудить от печали и горя,  
большими и малыми  
плачут дождями  
здешние тучи.  
Реки,  
кристальные как родники,  
звонко бурлят, до небес вскипают,  
горы незыблемые колеблют.  
Твой голос детей убаюкает нежно,  
а нужно – мужчин рыдать он заставит,  
зовущий на бой,  
за собою влекущий  
голос.  
Влекущий к истокам и памяти предков,  
и к древности славной,  
ты – вечные узы меж мною и небом,  
и Вечным Владыкой,  
– О, мой Карабах!..

## Приграничная деревня

На въезде – шлагбаум,  
на выезде – рвы.  
Это деревня у края войны.  
Но нет ни покоя,  
ни тишины  
в этой тиши и в этой глуши.  
И бык не мычит, и не блеет баран,  
от страха  
засох, не налившись, гранат,  
орехи не падают ночью с кустов –  
здесь на шорох любой  
открывают огонь.  
Свадебный слышен в палатке напев...  
Дворы нежилые пусты, а в домах  
плесень и мох вместо цветов  
окна теперь заплетают. С дерев  
сбило обстрелами гнезда, в глазах  
встречных – тревога.  
Свечи, сгорая, трепещут во тьме,  
память из прошлого вызовет мне  
белые домики в белом селе...

Встань, соберись,  
слезы спрячь от врага,  
разом стряхни эти копоть и пыль!..  
Встречай у входа в живой «музей»

тех, кто приехал здесь все осмотреть –  
и провожай их.

От нас же самих,  
от оставленных сёл  
нас беспощадно отсёк  
упавший шлагбаум:  
«Стой! Въезд запрещен!»  
Сколько еще дней или лет  
лишь после досмотра, по пропускам  
будем входить мы в родное село?..  
Пусти меня, черный шлагбаум, пусти!..  
Колючей проволоки кусты  
руками распутаю,  
переброшу  
рельсы через окопы и рвы.  
Вагоны уснувшие в поезд сцепив,  
его поведу в родные края  
(с теми, кто в этих вагонах живет)...

Так дай мне покончить с этой бедой –  
Пусти меня, черный шлагбаум, пусти!..

Горькие,  
черные письма в свитке судьбы твоей,  
Беженцев сын.

Твой двор - пустыни пылящий край,  
(примета – крохотный рядом медпункт),  
крайняя слева палатка - твой дом,  
постель твоя – угол палатки той.  
Беженца сын...

В бумагах твоих – печатей не счесть,  
имя твое – в списках ООН,  
на лепту «Красных Крестов» растешь ты,  
фото твое – в альбомах  
важных посольств,

Ребенок-беженец

среди тысяч других, обездоленных веком,  
Беженцев сын.

Твой учитель – такой же бедняк  
бездомный, школа – одна из палаток,  
а перед фамилией вечно и всюду  
стоит примечание:  
«Беженца сын».

Взгляд твой несмел,  
но во всех твоих взглядах,  
и в руках, и во всей небольшой фигуре  
таится отчаянное желанье  
когда-нибудь с гордостью продиктовать  
спросившим свой адрес и номер дома...  
Без вины виноватый, лишний  
в этом мире он –  
Беженцев сын.

Ни точного места рожденья, ни дня,  
ни месяца, ни родового гнезда,  
ни памяти прадедов и прабабок –  
в палатке родился, в палатке растет  
Беженца сын.

Твой облик так непохож на прочих  
сверстников – речь, и лицо, и одежда.  
Взгляд твой старше на десятилетия тебя самого,  
на плечах твоих виснет  
груз непосильный...  
Тайного, страшного рока дитя,  
с сердцем в сквозных  
кровоточащих ранах –  
Беженцев сын.

*Моя мать – вынужденная переселенка  
лишь пару раз отвлеклась, оживилась  
в жизни своей городской - так было,  
когда я принес ей с базара орехов к праздничному столу...*

...На старом орехе  
вороны горланят.  
Под листьями, что намело в эти годы  
столько орехов в земле истлевает.  
Девять деревьев было у нас на дворе,  
девять могучих красавцев,  
братьев статных  
с ветвистою кроной.  
(А сколько их было в садах соседских...)  
Но вот уже столько лет  
в запустенье  
и сад наш, и жизнь наша.  
Как же так вышло,  
что нынче вороны в кронах резвятся,  
созревшим орехом в нас же кидают  
и ранят нам темя...

Среди бесхозных сирот-деревьев  
есть те, кто засох, почернел от горя,  
кто был искромсан, искрошен в щепку  
вражьими хищными топорами,  
а кто-то разграблен, растащен кусками...  
Может, сегодня прячется где-то  
в чьих-то шкафах  
моя детская память –  
вот откроют дверку комода,  
и рассыплются в комнатах чьих-то, в доме чужом  
наши воспоминанья.  
А может, путями неисповедимыми  
попав к соседям моим,

они прячутся  
в ящичках, в полках –  
как бы там ни было, стон протяжный мебельной дверцы  
душу царапает мне и пугает.  
Вот рама оконная ждет дуновенья  
ветра, что с родины милой веет,  
и слезы стоят в глазах стеклянных...  
(...А может быть, ставши паркетным настилом,  
скрочены в досках воспоминанья мои...)

Я – тот, кто навеки лишился права  
бросить в тебя мальчишечью битку...  
Ах, старое дерево, старый орех,  
в стане врагов томящийся нынче,  
прошу, умоляю, не плачь так же горько,  
как мама моя...

К вагону подвешенная колыбель

К вагону подвешенная колыбель,  
сегодня малыш подрастает в ней –  
не ведая горя отцов, матерей,  
крошка-малыш спит тихонечко в ней.

Спит безмятежно, не плачет, не хнычет,  
как спит где-то в мире ровесник-счастливчик,  
спит так же, как спал бы спокойно и сладко  
в объятьях резной дорогой кровати.

Откуда же знать тебе, что творится  
в мире большом и о том, что, как птицы,  
выводок нянек умелых кружится  
над тем, кому повезло родиться.  
О том, что есть в мире леса и поля –  
не только пустынная эта земля.

Что мир не составлен из старых вагонов...  
Забравшись вовнутрь, завесивши окна,



Уснуть под напев колыбельный колес,  
Не знать ни тоски, ни печали, ни слез.

Зачем на пути на твоём он встает –  
Вагон, что вовек никуда не идет?..  
Люлька качается, ты в ней сопишь,  
Под вагоном растущий малыш...  
И не добраться в родные места –  
Лишь в сказочных снах ты летаешь туда.

Что толку от правды, открытой тобой,  
что мне с напророченной делать судьбой?..  
Что было, что будет в жизни моей,  
что, хмурясь, читаешь в ладони моей?..

Лучше раскинь на грядущее мира...  
Что ж ты мою не пускаешь руку?..  
Не рассуждай о моих печалях с лицом сокрушенным,  
да разве все это – и вправду горе?..  
А если и в самом деле горе – беды мои,  
скажи, как же можно тогда назвать  
горе огромного целого мира?..

Бродят по миру те, кто лишился отчего края,  
с тоской вдыхают  
запах родной земли, в горсти зажатой –  
на их судьбу погадай, гадалка,  
об их судьбе расскажи мне...

...Взгляни на ладони этого мира,  
его судьбу по ним прочитай.

*перевод Алины Талыбовой*



Родился в 1966 году. Автор трех книг, активно публикуется в литературных периодических изданиях. Участник форумов молодых кавказских писателей и молодых писателей России. Лауреат «Русской премии» (2008). Премирован журналом «Нева» за лучшую публикацию 2008 года. Живет в Цхинвале.

*Мы как на острове; нас отключили  
От новостей, а слухам нет конца:  
Там человек убит, там дом спалили, –  
Но выдумки не отличить от были...  
Постройте дом в пустом гнезде скворца!  
Возводят баррикады; брат на брата  
Встает, и внятн лишь язык свинца.  
Сегодня по дороге два солдата  
Труп юноши проволокли куда-то...  
Постройте дом в пустом гнезде скворца!  
Уильям Йейтс*

Сделав двадцать отжиманий на кулаках, Алан бодро вскочил на кривые ноги и, подойдя к пыльному трюмо возле окна, стал рассматривать свое рельефное тело. Чем я не Брюс Ли, подумал он и, пройдясь по комнате и отдышавшись, снова принял упор лежа. Вошедшая в комнату мать поставила ведро с водой на пол и задвинула его под стол, накрытый клеенчатой скатертью.

– Родниковая? – спросил Алан, не переставая отжиматься.

– Из Мамисантубани принесла, – пробормотала мать и устало опустилась на стул.

– Двадцать, – рявкнул Алан поднимаясь. Снова походив по комнате и отдышавшись, он остановился возле своей кровати с неубранной постелью, лег и, натянув на себя одеяло, изрек: – Не ходи туда, я тебя миллион раз просил.

– Толстого Гочу у родника видела, – продолжала задумчиво мать. – Он сказал, чтобы ты больше не ходил в Мамисантубани, они тебя там ждут и убьют, как только появишься.

Она медленно встала со стула, прошлепала босыми ногами к дивану в углу и тоже легла.

– Пойду когда захочу, – зевнул Алан. – Пусть они сами поберегутся...

Алан проснулся от своего храпа, встал и начал одеваться. Завязав

шнурки на кроссовках, он вытащил из-под кровати пулемет и направился к входной двери, однако не спешил выйти.

– А с кем был Гоча? – спросил он, взясь с пулеметом. – Черт, опять патрон застрял в патроннике...

Мать, вздрогнув, приподняла всклокоченную голову и забормотала:

– Не знаю, они все были в форме. Дай мне поспать...

– Ладно, сегодня так и быть я не пойду в Мамисантубани, а вот завтра нагряну туда с ребятами.

Алан резко отдернул затвор, и застрявший патрон, вылетев из патронника, покатился по полу. Он не стал его поднимать, просто перезарядил пулемет и, выпив кружку воды, исчез за дверью.

Опять очки забыл, подумал Алан, шурясь на готовое расплавить его солнце. Вернуться, что ли, за ними? Нет, разбужу мать, и потом сегодня ведь я не иду в Мамисантубани. Вот где надо быть начеку и смотреть в оба, а на Лиахве на хрен они мне нужны. В прошлый раз вылезая из воды, хочу протереть линзы и щупаю пустоту на переносице. Не сразу дошло, что их волной смыло. Обидно было и смешно до чертиков. Алан закрыл за собой дырявую створку ворот и зашагал по мощеной, будто вымершей улице. Свернув за угол, он двинулся вверх по асфальтовой дороге в сторону города. Возле заброшенного двухэтажного дома напротив поминальной плиты Алан увидел желтую «шекстерку» с затемненными стеклами и остановился в тени абрикосового дерева. Не спуская взгляда с автомобиля, он подобрал падалицу, разломал пополам перезревший плод и, выбив щелчком из сочной мякоти абрикоса извивающегося червячка, отправил половинку в рот, из другой он выдавил косточку большим пальцем и тоже съел. Окно в дверце машины спустилось, и оттуда выглянул одноклассник Алана, Мита, с которым он дрался в школе из-за Ирмы, вышедшей потом замуж за Толстого Гочу.

– Смотреть на них не могу, – сморщился Мита, – так я объелся...

Алан взглянул на веснушчатое светлое, как абрикос, лицо одноклассника, затем потянулся к ветке, однако ягод не сорвал, только листья, сплюнул и, поправляя на плече ремень пулемета, направился к машине.

– Ты на этой тачке сюда приехал? – спросил Алан, открывая дверцу и садясь на заднее сиденье рядом с черным мускулистым человечком по кличке Куку. Тот, взглянув на нового пассажира, отодвинулся в са-

мый угол и, завалившись на бок, не то плакал, не то трясся от смеха. Салон насквозь пропах анашой, потом и еще какой-то дрянью, и Алан, закашлявшись, оставил дверь открытой, пулемет он положил на колени. Сидящий за рулем Мита повернулся к нему и, стараясь быть серьезным, сказал:

– Мы прилетели сюда на летающей тарелке, землянин.

– С Марса, – пропищал Куку, дрыгая ногами. – Мы марсиане...

Мита, отвернувшись, уронил голову на руль и корчился от смеха.

– Мост заминирован, – сказал Алан. – Неужели на посту вам не сказали об этом?

– Говорили, – бормотал, обнявший руль Мита. – Но я послал их. Мы просто везучие, понимаешь? У меня вчера родился сын, а неделю назад мы украли девушку вот этому коротышке.

– Поздравляю, – улыбнулся Алан. – Но у меня к вам большая просьба: идите обратно пешком.

Куку перестал смеяться и строго спросил:

– А на чем мы вернемся на Марс?

Алан немного подумал и произнес:

– Ну, если так, дайте и мне курнуть.

– Нету, – Мита, оторвавшись от руля, повернул к Алану абрикосовое лицо. – Все запасы скурили, потому и заехали в этот зачуханный район. Не знаешь, кто тут торгует анашой?

– Был один, – вздохнул Алан, – да недавно умер от передоза.

– Опоздали, значит, – огорчился Куку. – А жаль, заработал бы деньги или по морде.

– Памятник ему поставили? – спросил Мита, кивнув в сторону поминальной плиты.

– Соседке, – ответил Алан. – В нее ракета попала, сгорела вся, одну только ногу нашли от бедной и похоронили в саду в маленьком гробике.

– Ни хрена себе, – присвистнул Мита. – Не повезло ей. А вот нам прет. Ну-ка, Куку, давай наган.

Куку достал револьвер, покрутил барабан и, приставив ствол к виску, спустил курок. Мита выхватил у него оружие и быстро, как будто боялся спугнуть удачу, проделал то же самое. Четыре глаза уставились на Алана. Дрожащей рукой он потянулся к револьверу и, поднеся холодный ствол к голове, чуть выше уха, зажмурившись, трижды нажал на спусковой крючок.

Взмокший Алан бросил наган на сиденье и вылез из машины со счастливым, но бледным лицом. Закинув пулемет на плечо, он зашагал в сторону малого моста над каналом и даже не обернулся, когда за его спиной раздался выстрел и крики. Алан повернул налево в узкий проулок и спрятался за угловым деревянным домом, из открытого окна которого виднелась голова старушки в черном платке. Мимо на бешеной скорости промчалась желтая «шестерка», и Алан не сомневался, что с ней будет, когда она достигнет малого моста, но все-таки вздрогнул от взрыва, согнулся и, закрыв голову руками от посыпавшихся на него сверху всяких ошметков, подбежал к вывалившейся из окна старушке.

– Черт, – пробормотал Алан, закрыв нос ладонью, – она же мертвая и уже давно, судя по запаху.

Он отошел от трупа и, выглянув из-за угла дома, увидел за мостом охваченную пламенем перевернутую машину. Деревья вокруг были увешаны автомобильными и человеческими фрагментами и напоминали новогодние елки. Вдруг Алан насторожился, ему показалось, что кто-то смотрит на него, и, посмотрев наверх, встретился взглядом с Митой, вернее, с его оторванной головой, застрявшей в ветвях цветущей липы. Надо убираться отсюда, пока никого нет, а то сейчас прибегут с поста и достанут вопросами, что да как и почему. Он быстренько вышел из тесного проулка и очутился над пахнущей рыбой и дерьмом Лиавхой, проносающей свои мутные воды вниз через Мамисантубани.

Тропинка, спрятанная в акациях, привела Алана к пустому каменистому берегу, возле старого деревянного моста. Он уселся на большой нагретый солнцем валун и уставился на воду. Жаль безголового Миту, царствие ему небесное, жена ему сына родила, а он... Эх... Куку тоже докуковался... А могли бы послушаться меня и спокойно вернуться в город пешком, и черт с ней, с машиной. Впрочем, они все равно доигрались бы в русскую рулетку. Сначала я думал, они на понт меня берут и крутят пустой барабан, а потом увидел патрон, но уже не захотел идти на попятную. Сумасшедшие, только я оказался безумнее их и трижды спустил курок у виска. Черт, после этого так жить захотелось. Нарочно бросил наган на сиденье: а так вам слабо? Интересно, кто был следующий? Похоже, Мита, он ведь был без царя в голове. Двоечник. В школе к Ирме клеился, хотя прекрасно знал, что я люблю ее. Тоже мне товарищ. И подрались из-за нее, а Толстый Гоча спокойно стоял в сторонке и вместе со всеми наблюдал, как два дурака размазывают друга друга

по камням и песку. Ирма тоже смотрела на драку с моста. Хитрый гад, этот Толстый Гоча. Никто и не догадывался, что это он ее дрочит. Только в девятом классе, когда уже нельзя было скрыть пузо под школьной формой, всё прояснилось: учителя подняли скандал, и толстый Гоча увез Ирму на красной «девятке» в свой большой дом в Мамисантубани. Теперь там руины. Интересно, он знает, кто поджиг его особняк? Плевать. Надо будет убить Толстого Гочу, и тогда Ирма вернется к родителям, и кто помешает Алану жениться на ней, Мита?

Алан заметил на другом камне обмылок и встал. Как кстати, сейчас освежусь. Осторожно, чтобы песок не попал в механизм пулемета, он прислонил свое оружие к валуну, скинул одежду, взял мыло и, обжигая в песке ступни, подошел к воде. Отсюда хорошо был виден высокий берег Мамисантубани, где Толстый Гоча с друзьями поджидал его в засаде. Алан вошел в реку в том месте, где течение было не очень сильным, и, нащупав ногами песчаное дно, остановился. Здесь вода была ему по пояс. Окунувшись с головой, он принялся намыливать себя, пока не стал похож на глазированную фигурку. Шум реки приглушил звук выстрела, и мыльная пена на груди Алана стала розовой. Он попытался выбраться на берег, но потом как будто раздумал и, махнув рукой, погрузился в воду...

Толстый Гоча, поборовшись с течением, выплыл на берег и, тяжело дыша, опустил свое волосатое брюхо на раскаленный песок. Он посмотрел на сидящего рядом Кучу и попросил прикурить ему сигарету.

– Курить вредно, – сказал Куча и полез в нагрудный карман камуфляжа. – Не надо было говорить матери Алана, что мы поджидаем ее сына.

– Не хочу его убивать, дурака, – вздохнул Толстый Гоча и, перевернувшись на спину, попытался смотреть на солнце открытыми глазами.

– Он же твой дом поджиг.

– Знаю, все равно не хочу, мать его...

Куча протянул прикуренную сигарету Толстому Гоче, и тот, затянувшись, блаженно улыбнулся. – Куча, скажи мне, почему вы, маленькие, такие злые, вонючие и кровожадные, а?

Куча собрался ему ответить, но тут прогремел взрыв, и сигарета выпала изо рта Толстого Гочи прямо на волосатую грудь. Запахло паленой шерстью.

– Горю! – крикнул Толстый Гоча, хлопая себя по животу и ляжкам.

Тлеющий окурок, искрясь под ударами Гочиных лап, скатился вниз и прожег его семейные трусы.

– Ныряй, в воду ныряй, дебил! – орал Куча, катаясь по песку, перебирая ножками, обутыми в тяжелые солдатские ботинки. – Ох не могу, сейчас сдохну от смеха!

Толстый Гоча бросился в реку, поплавал немного и вылез на берег. Он внимательно осмотрел трусы и, подмигнув приятелю, просунул палец в дырку.

– Я же тебе сказал, что курить вредно, – сказал Куча, берясь за винтовку с оптическим прицелом. – Пойду погляжу, что там случилось.

– Зря не пали, – предупредил Толстый Гоча.

– Ладно.

Куча скрылся в зарослях ивняка, а Толстый Гоча, сняв трусы и отжав их, подошел к кусту, где в тени лежала примятая сверху автоматом форма с нашивками солдата грузинской армии. Он уже оделся, когда раздался выстрел, и через минуту из кустов вылез взволнованный Куча. Положив винтовку на плоский камень, он стал снимать с себя форму.

– Я подстрелил осетина, он был очень далеко и мылся... Думал, не попаду в него с такого расстояния, а он бултых в воду. Сейчас его сюда принесет.

Толстый Гоча первым увидел труп и как был, в одежде, бросился в воду и вытащил его за волосы на берег.

Вечером к роднику в Мамисантубани пришла старушка с бидоном и, набрав воды, хотела уйти, но грузная фигура преградила ей путь.

– Гамарджоба, бабо Оли, – сказал Толстый Гоча.

– А, Гоча, это ты? – пролепетала испуганная старушка. – Салам, гамарджоба, сынок. Как поживаешь?

– Как можно жить во время войны... Конечно, плохо.

– Да, хорошего сейчас мало, – согласилась старушка, она хотела еще что-то добавить, но Толстый Гоча перебил ее.

– Алан лежит в моем доме, – сказал он, показав рукой на руины, где уцелела одна из комнат. – Пусть приходят за ним и забирают, похороны я беру на себя...

– Хорошо, сынок, – всхлипнула старушка, – я все передам.

– Алан был моим другом... И скажи его матери, что мне очень жаль...





Родилась в 1978 году в Цхинвале. Активно публикуется в печатных изданиях Северного Кавказа, постоянный автор журнала «Дарьял». С 2009 года участник совещаний молодых писателей Северного Кавказа и форума молодых писателей России, организованных Фондом интеллектуальных программ А.А. Филатова. Работает в газете «Владикавказ». Живет во Владикавказе.

В детстве я часто пропадала в сапожничкой, пристроенной к нашей хрущевской четырехэтажке. Поутру дядя Тамази открывал двери своей мастерской. «Апчи! Доброе утро!» – изнутри вырывался спертый и терпкий дух клея, кожи и пыли. Я обычно поджидала за углом. Стою

там с кружкой каких-нибудь ягод, а Тамаз не удивляется моему присутствию, привык, что я его встречаю в такой ранний час. У мастера были рыжие, как солома, волосы, красные щеки, нос-клюв и голубые глаза. Он редко улыбался, но лицо было добродушным. Всегда что-то насвистывал. Пока сапожник искал нужный ключ в связке, похожей на осьминога, я терпеливо ждала. Когда он открывал дверь и входил, я бесшумно проскальзывала следом и влезала на свою табуреточку, аккуратно подогнанную под угол будки.

Это была квадратная планета, с осью в центре – железной ногой, глядя на которую, я представляла, что есть и другая нога, и поскольку эта торчит из пола, значит, ее пара ушла в землю: ноги сделали шпагат и застыли в нем навсегда. На этой оси и держался домик. Я до мелочей изучила каждый предмет в нем: жестяные банки из-под индийского чая, полные мелких гвоздиков; аккуратно сложенные молотки из почерневшей, но в месте ударов оголенной и блестящей стали; сапожные ножи и ножницы; круглую электроплитку с миской, внутри которой желтой карамелью загустел клей. В углу, рядом со станком – гора сапожек, туфель-лодочек, босоножек с длинными греческими ремешками или скромными металлическими застежками; детских сандаликов и ботиночек, сморщенных или лакированных; солидных мужских ботинок; мягких молодежных джексонов, туфель-калманов, и кроссовок, которые называли «ботосами»... Обувь была разложена и на узеньких полочках

по правую руку от сапожника. Стены – обклеены вырезками из иностранных журналов, на которых бесстыдно красовались девушки в бикини или без. Я не глядела на них подолгу, понимая, что это, наверно, нехорошо, хотя очень хотелось получше изучить этих раздетых, будто так и принято, женщин, не похожих ни на маму, ни на бабушку. Эти инопланетянки будоражили мое воображение. А дядя Тамаз, равнодушно и бесстрастно скользя взглядом по тоносмотрящим девам, вешал кепку на гвоздь, вбитый между полных грудей пышноволодой блондинки в красном лифчике. По моим предположениям, это была его любимица, и он прятал ее от чужих взглядов.

Сапожник устраивал сверток с едой на полке, надевал длинный рабочий фартук, расчищал стол под окошком засаленной тряпкой, поднимая в воздух кувыркающиеся в солнечных лучах пылинки.

Усевшись, он включал радиолу, понижал звук и начинал рассматривать список первоочередных заказов. Я лакомилась ягодами, а он усердно клеивал, штопал, стучал молотком, выставляя на столе своих излеченных пациентов, которых скоро забирали хозяева. За обувь приходили жители Привокзальной и Октябрьской улиц, просовывали в окошко деньги. Мастер возвращал сдачу и складывал разноцветные рубли и монетки в ящик стола, вычеркивая имена из списка.

Ближе к полудню Тамази выкуривал сигаретку из красной пачки «Примы», я убегала домой подкрепиться, а если задерживалась в мастерской, бабушка или дедушка приходили за мной, здоровались с Тамазом, спрашивали, не мешаю ли я, вежливо советуя ему выставлять меня, если надо, но сапожник отвечал: карги-ра, рас мишлис\* ... и продолжал трудиться. После обеда я возвращалась – иногда сразу же, если во дворе не было моих друзей или игра была неинтересной. В будке пахло вином, луком и потом. Тамаз, слегка навеселе, затягивал песню или повышал звук радиолы, я иногда подпевала, желая обратить на себя внимание. Он пел хорошим грудным тенором, правда, вполсилы, легко контролируя свой послушный, гибкий голос: «Че-ми гули-и-и, мхолод шени-и-и- я\*\* ...», а я подпевала песенкой из мультфильма: «... чеми-я, чеми-я, чеми-я\*\*\* ...». Тамаз сбивался и обращался ко мне «Ара, гого, «чеми» ара – «шени»\*\*\*\* ...» А я все тянула свое: чеми-я, чеми-я... Когда Тамаз понимал, что я балуюсь, то со смехом пригова-

ривал: ууу, ше-ма-мадзагъло-шена\*\* ... Иногда даже ласково трепал меня по голове своей широкой шершавой ладонью. А, если кто-то из соседских мальчишек, разгоряченных, шkodных, врвался в наше идиллическое пространство, дядя Тамаз, как правило, прогонял незваного маленького гостя сразу же, как тот начинал шалить – хватать гвоздики и другие нужные предметы или протыкать палочкой застывший клей. Я кидала на мальчугана победоносный взгляд, за что в отместку получала щелчок или дерганье за косичку.

Так и продолжалась жизнь девочки с Привокзальной улицы, пока табуреточка в углу сапожной мастерской не стала слишком маленькой, а смущение от вида обнаженных красавиц на стенах не усилилось. Я больше не встречала Тамаза по утрам, лишь иногда замечая его мельком из окна или ловя едва различимый звук его радиолы в обеденное время...

В начале 90-х, когда началось грузино-осетинское противостояние, Тамаз не сбежал в Грузию, а остался в городе и воевал с осетинами против грузин... Неожиданно выяснилось, что он и не грузин вовсе, а полукровка, к тому же женат на осетинке. Он перестал говорить по-грузински и начал изъясняться на осетинском, хоть и с трудом, потому что знал его плохо. Мастер все реже бывал в сапожничкой. Перестав чинить обувь, он начал нуждаться: продал квартиру в центре города, переселился на окраину и каждый день в течение трех лет аккуратно посещал военный штаб, расположенный в пригороде. Тамаз, как и в мирное время, педантично выполнял свою новую работу: сидел в окопе, посменно готовил супы и каши с тушенкой для собратьев по оружию в закопченном вагончике или дежурил ночами на баррикаде из бетонных плит и скелетов машин, укрепленных мешками с песком. Прежде краснощекий и круглый, он похудел и стал носить уродливую рыжую бороду. После ввода миротворческих сил, 14 июля 1992 года, Тамаз, освободившийся от воинской повинности, перестал показываться на людях, почти не выходил из дому, говорили, что он запер. Спустя пару лет он умер, а еще через некоторое время от тяжелой болезни скончалась его супруга. Я не сразу узнала о том, что его не стало... Наверно, дядя Тамаз не смог пережить перемены, вызвавшей внутренний конфликт. Взяв в руки оружие, он, скорее всего, просто сломался. Это была не его война, хотя он был цхинвальцем, защищавшим родной город и свою мирную жизнь, которую надеялся вернуть...

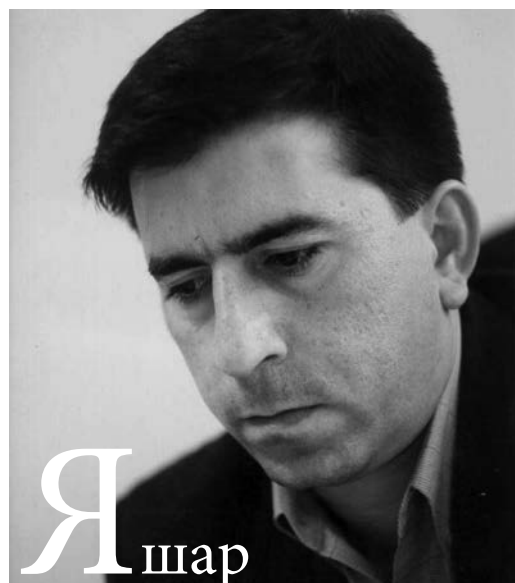
Его шестеро рыжих детей и сегодня живут в Цхинвале. Ни один не унаследовал красивый грудной голос отца, его полноту и краснощекость, они худые и бледные, как их покойная мать. Никто из Тамазиных отпрысков не занимается сапожным делом. Недавно встретила на рынке во Владикавказе одного из них – Малхаза, он носит длинные волосы, и эта прическа делает его смешным, потому что соломенные вихры торчат в разные стороны. Малхаз сказал, что собирается переезжать в Ставропольский край, где недавно приобрел ферму и участок под строительство дома, поговорили на общие темы. Прощаясь, он неожиданно назвал меня «сестричкой» и сказал, что отец часто упрекал маму за то, что рождает одних сыновей, а хорошо бы иметь и девочку, такую же, как Миленка.

Когда я приехала в Цхинвал в 2009-м, все показалось чужим...

Сапожничья покосилась и поржавела, дом как-то сжался в размерах, улица была пыльной и запущенной, напротив дома появился новый памятник – подорванный танк, который руководство города решило не убирать. В детстве эти места были широкими, с массой тайных и вызывающих трепет мест, теперь же стали убогими и неспособными вызвать никаких приятных чувств – только ныть под ложечкой... Эта перемена была чудовищной и несправедливой! Потухло что-то светлое и теплое... Но потом я стала оправдывать увиденное. Я постаралась обвинить во всем зло, которое вынудило Цхинвал надеть латы, взять оружие в руки и поражать всех без разбору – чужих и своих. От этого милый некогда городок высох и одряхлел, его скрючило, как старика, страдающего подагрой и склерозом...

Я прошла по привокзальной площади, села в автобус на Владикавказ, у окна с видом на мою «хрущевку» с нелепой сапожничьей на углу. Водитель читал газету, накрапывал унылый дождик, черня серый асфальт и подпитывая сыростью воздух, двери автобуса были открыты, пока он наполнялся пассажирами. Я ежилась в своей тонкой ветровке, но, не отрываясь, глядела в сторону дома, где прошло мое детство. И неожиданно сердце тронуло подобие безотчетной надежды на неясное и уже по-новому прекрасное будущее этого пейзажа. Мне полегчало, и я перестала мерзнуть. Надежда с каждой секундой превращалась в радугу, и вот уже цветной мостик раскинулся над площадью, прогнав уныние и серость. Я очень захотела скорее ехать, запечатлев в сердце это вновь обретенное светлое чувство,

и, словно отвечая на мой порыв, двери автобуса шумно закрылись, и мы отправились во Владикавказ. По дороге я думала, что если неминуемо второе пришествие Господа и Воскресение мертвых, и новое Небо, и новая Земля, то, может быть, вернутся и спокойный зеленый город, и улица Привокзальная, и мастерская дяди Тамаза с портретами инопланетянок на стенах...



Родился в 1963 году. Окончил факультет журналистики Бакинского Государственного Университета. Прозаик, публицист, переводчик. Автор сборника рассказов «Семь», многие рассказы переведены на иностранные языки. По сценарию Яшара, написанного на основе его же рассказа «Стена», снят одноименный художественный фильм. Живет в Баку.

Мать и сын вышли в путь ранним утром и сейчас еле ноги передвигали, устали еще и оттого, что за всю дорогу даже словечком не перекинулись, каждый в одиночестве переносил тяготы пути.

Мать из последних сил старалась ускорить шаги, надо бы дойти засветло, чтобы сын, возвращаясь обратно в темноте, не стал добычей хищников. И сын нервничал, хотел побыстрее, раз и навсегда, избавиться от этой женщины, из-за которой в последнее время пришлось столько выстрадать. Не мог на люди показаться, язык короткий перед друзьями. Ну почему из такого количества людей в селе именно его мать была армянкой? За какие такие грехи наказал его Бог? Нет, не Бог приговорил его к таким мукам, во всем виновато это безжизненное тело, как сонная муха, мелькающее перед глазами с утра и до вечера, отец. Если бы в свое время отец не позарился на эту армянку, а, как все остальные соседские парни, женился бы на одной из добропорядочных девушек своего же села, и он бы сейчас так не мучился.

Он вдруг заметил, что лицо матери исказилось. Видимо, покалеченная нога настолько болела, что каждый шаг отпечатывался не только на земле, но и на лице.

Когда прошлым летом привезли с войны тело сына соседки, та с горя, от безысходности, бросилась к ним во двор и первой попавшейся под руку железякой изо всех сил ударила мать по ноге. Несмотря на адскую боль, мать тогда даже не пикнула. Да и смысла не было, ни муж, ни сын все равно не заступились бы. Целую неделю с маленькой дочкой на руках, просидела она



дома, забившись в угол. И сейчас, наступая на больную ногу, она вспоминала оставшуюся дома, заболевшую дочурку.

Уже несколько дней ребенок огнем горел от температуры. Врач приходил, осмотрел, сказал, что простуды нет, ребенок чего-то сильно испугался. И уходя, строго наказал матери, чтобы при ней даже голос не повышали.

Матери, до сих пор молча шагающей впереди сына, вдруг захотелось что-то сказать, всего одну фразу, “берегите моего ребенка”, - сказала бы она, но сдержалась и пошла быстрее, сильней наступая на больную ногу.

Вспомнил о девочке и брат. Напрасно так поторопился, надо было подождать, пока сестренка выздоровеет. Наверное, она сейчас проснулась и бредит в горячке, мать зовет...

Ну и черт с ней, пусть бредит, да хоть умрет! Разве не с ней пришла беда в их дом? Такая тяжелая нога, как родилась, все вокруг перевернулось. Разве кто-нибудь до сих пор попрекал его матью армянкой? Наоборот, все женщины ставили ее в пример друг другу. Не было другой такой женщины, от души плачущей на похоронах и больше всех танцующей на свадьбах.

– Иди быстрее, сучья дочь!

Он сам не понял, как вырвались эти слова. Ведь на самом деле он хотел спросить у матери, не болит ли нога.

Мать, хоть и с трудом, но ускорила шаг. Господи, как же он, ее первенец, любил свою младшую сестру. Она всегда чувствовала эту робкую любовь. До рождения девчужки, сын был каким-то отчужденным, покорным, рожденным наполовину, что ли... После рождения сестры он окреп. Будто чего-то не хватало в мальчишке, а пришла эта девочка и заполнила пустоту в душе брата. Подумав об этом, мать почувствовала какое-то облегчение. Нет, ее дети уже не нуждаются в ней, их души, заботясь друг о друге, выживут.

Да и муж как-нибудь проживет без нее. На самом деле этому мужику все равно, рядом жена или нет. Только ли жена? Если бы бог дал ему десятерых детей и семеро из них неожиданно пропали, он и тогда бы не поинтересовался, куда они делись. За те двадцать лет, которые они прожили под одной крышей, он никогда ничего у нее не спрашивал. Только в первые годы, когда они ложились спать, он иногда тихо спрашивал: “Начнем?”, но и тогда не дожидался ответа. Она была уверена, что он даже не заметит ее исчезновения. И не только теперь, через три, пять, даже через десять лет, если жив будет, не станет выяснять, куда, так неожиданно, пропала жена. Да он ведь так и не понял, как же она вообще стала его женой. Просто однажды увидел, что рядом есть еще кто-то. А завтра утром увидит, что место рядом снова пусто, вот и все. Как будто в этом безжизненном, сухом теле все чувства отключены, как лампочки, ни намека на желание что-либо увидеть или услышать. Она поняла это еще с той первой ночи.

– Отца береги.

Какой к черту отец? До отца разве сейчас?

Дороге не было конца. Рано утром, когда он, торопя мать, вышел из дома, думал вернуться засветло. Видать, ошибся в расчетах. Уже и солнце давно село, а деревни матери все еще не видно. Вдруг и сына обуял страх. Как же он будет возвращаться один ночью? Нет, ведь на самом деле эта дорога не должна быть такой длинной. Он знал ее как свои пять пальцев. Было время, когда они вдвоем с матерью часто ходили этой дорогой навещать деда. И каждый раз доходили засветло. А до наступления темноты успевали не только пообщаться с дедом, но и поужинать, и со стола убрать. Что же сейчас так удлиняет эту дорогу?

– Пошла быстрее, сучья дочь!

На этот раз голос сына звучал уже не так бодро, настолько устал, что и говорить сил не было. А может, еще не поздно,

вдруг мелькнуло в его голове. Ну и что, что такой путь проделали, может, остановиться прямо здесь, и вдвоем с матерью вернуться назад. Как раньше. Он чуть было не сказал вслух, “мама, давай вернемся”, но опять вспомнил вчерашние ее слова, слова, которые вывели его из себя и на этот путь.

“Зачем не даете этим несчастным спокойно жить в своем доме?”

Сын в ответ ничего не сказал, но всю ночь ворочался в постели, глаз не сомкнул, дожидаясь утра.

Кто несчастные?..

В чьем доме?..

А когда чуть рассвело, и он пошел будить мать, то увидел ее раскрытые глаза. Видимо, она, не проронившая за вечер ни звука после того, что сказала, почувствовала, что сын придет будить ее на рассвете и тоже не сомкнула глаз. Увидев сына, она даже не растерялась, просто тихо поднялась, расправила помявшуюся одежду и молча вышла.

“Зачем не даете этим несчастным спокойно жить в своем доме?” Одной этой вырвавшейся фразой она, мать, желающая восстановить спокойствие и порядок в собственном доме, вернуть все на свое место, наоборот, все перевернула. Она поняла это еще вчера вечером и всю ночь себя ругала. Но случившееся не исправишь, после этого уже ничто не подействовало бы на сына, чаша его терпения переполнилась. Вот так и шли они с раннего утра от самого дома: мать впереди, сын сзади, ни разу не нарушив этого порядка.

Сын понял, что поздно, он уже не может вернуться обратно с матерью. Уже и дорога устала, расплылась, размякла. Точь-в-точь, как море. И сейчас мать с сыном дошли как раз до середины этого моря. Их беспокойные души вконец обессилили, пуститься обратно вплавь с задыхающейся матерью на спине у сына просто мочи не было.

– Иди быстрее, – сказал сын, но на этот раз обругать мать язык не повернулся. Кажется, гнев его поостыл.

И сразу после этого он очнулся, как от страшного сна. Что это, куда ведет он мать? Как это ему в голову пришло?

Его тело охватила странная дрожь, как будто душа, замерз-

шая до сих пор, начала потихоньку оттаивать.

Потом до его слуха издалека, как будто с другого конца света, донеслись слова: “Верни мою маму!”

Это был слабый голос сестры.

Что-то неожиданно сломалось у него внутри. Как он мог услышать здесь голос сестры?

Приостановился. И мать остановилась. Кажется, она тоже услышала голос своего ребенка.

– И сестру береги.

Потом она исчезла в темноте дороги, ведущей к деревне с мерцающими там и тут огоньками.

\*\*\*

Мать пропала, а темнота осталась, сын за всю свою жизнь не видел темноты чернее. Значит, все кончилось, теперь, проведив мать в свою деревню – к своим несчастным, освободившись от этой женщины навсегда, он мог спокойно вернуться назад. Сын и на самом деле почувствовал на душе какое-то облегчение. Будто не только от матери избавился, но и, отодвинув от себя все прошлое, остался нагишом. О боже, как в одно мгновение может стать легко, спокойно, опустошенно.

О, боже, безгранично великодушие твое, избавил душу мою.

Слава тебе, господи!

Сын хотел отряхнуться, освободиться внутренне и внешне от всего, чтобы вернуться уже совсем в другом обличье. Только повернулся, чтобы идти обратно, как прямо перед собой увидел волка. Странно, но во взгляде животного не было ничего волчьего. Видно, зверь шел за ними по пятам с того самого момента, когда они с матерью вышли в дорогу, и, преследуя добычу, настолько привык к этим двум существам, что теперь сын, как мясо, больше не интересовал его.

В покинутый на рассвете дом он вернулся поздно ночью.

Все огни в деревне были потушены, не видно было ни единой души. Но ворота их дома были открыты настежь. Вдруг он вспомнил про сестру, которую оставил утром дома с температурой.

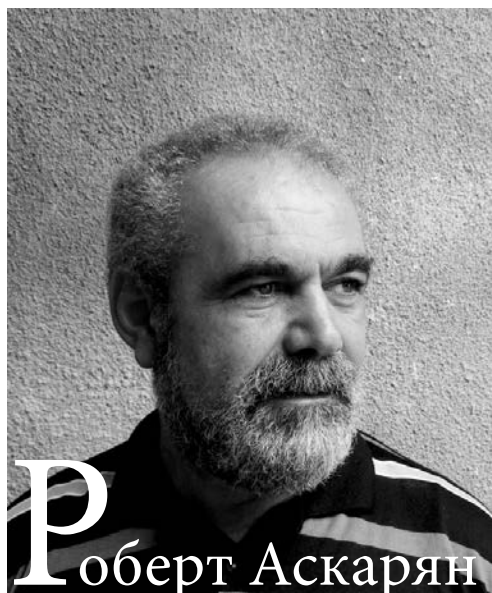
Что было дальше, он уже не помнил.

2005

*Перевод с азербайджанского Наири Алиевой*

# Х

УДОЖНИКИ



Художник, скульптор.. Живет в городе Степанакерт.



*«Древо жизни»*





## Нигяр Бабаева

Художник-иллюстратор, график, живописец. Окончила Азербайджанскую Государственную Академию Искусств, Член Союза Художников Азербайджана, участница многочисленных международных и республиканских выставок. Ее работы находятся в частных коллекциях Азербайджана, России, Франции, Германии, США.



*«Путь к свободе»*



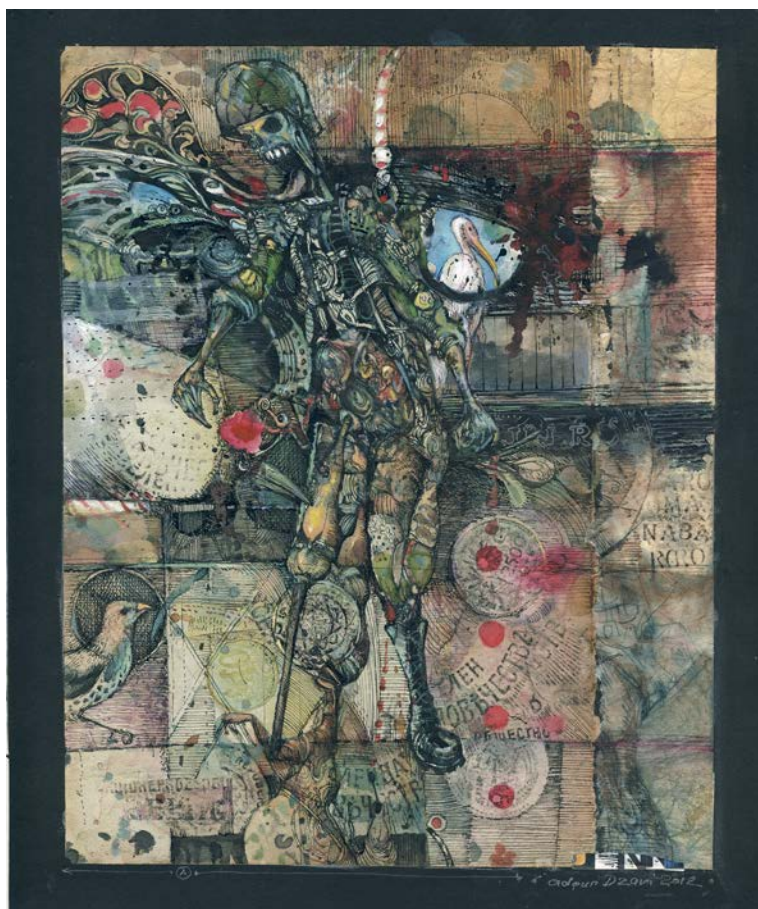
Окончила Тбилисскую художественную академию. Выставляется в разных странах мира, принимает участие во многих культурных проектах.  
Живет в Тбилиси.



*«Дыхание войны»*

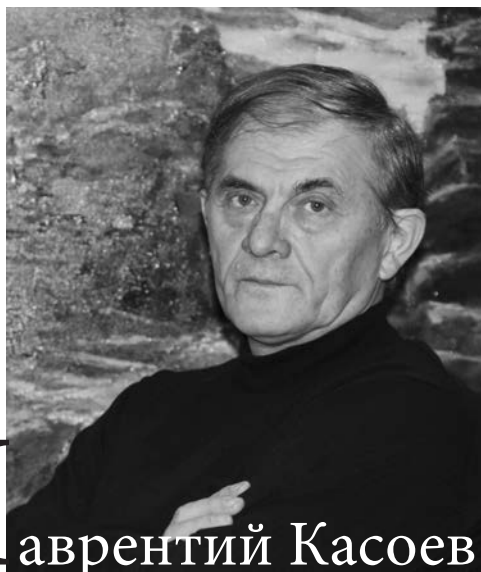


Родился в 1953 году. Член Международной ассоциации художников ЮНЕСКО, с 2008 – постоянный карикатурист журнала «Русский Newsweek». С 2011 года председатель Союза художников Абхазии. 11 персональных выставок и 17 групповых – от Сухума до Мексики и Италии. Увлекается фотографией. Живет в Сухуме.



*«Неужели нельзя иначе?»*





## Лаврентий Касоев

Лаврентий Касоев. Народный художник РЮО, член Союза художников СССР. Основал лицей искусств имени Аксо Колиева и возглавляет его уже более двадцати лет. Участник многих выставок, его картины экспонируются в Третьяковской галерее и Музее Востока.

Живет в Цхинвале.



*«Берег»*





Гор Мехакян родился в 1974 году. В 2010-2011 годах брал частные уроки в Художественной студии профессора Грайра Григоряна. 2011 – персональная выставка в Ереване. Работы находятся в частных коллекциях Швеции, Норвегии, России и Армении. Живет в Ереване.



*«Времена года»*

# Інтервью

На летней встрече в Фарнхаме (Великобритания) ее участники договорились сделать интервью с ведущими деятелями культуры своих стран, чтобы узнать, что думает интеллигенция о сложных процессах, протекающих на современном Южном Кавказе. Одни, например, пять азербайджанских авторов, ответили кратко, другие, например, армянский художник Роберт Аскарян, ответили более пространно. Некоторые интервьюеры подошли к опросу более творчески и дополнили общие четыре вопроса своими. В целом получилась интересная мозаика мнений, и все без исключения понимают, что нет альтернативы миру и переговорам.

# Вопросы

1. Прошло 20 лет после военных конфликтов, разделивших Южный Кавказ на непримиримые зоны. Как бы вы охарактеризовали этот исторический период, последовавший за распадом СССР?

2. Существует ли до сих пор этнокультурный феномен под названием «Южный Кавказ»? Или глобализация и разная геополитическая ориентация Южный Кавказ постепенно разъединят этот регион до культурного присоединения отдельных его частей к другим, более крупным этнокультурным ареалам?

3. Ваше личное отношение к этим процессам?

4. Если Вы считаете, что Южный Кавказ должен сохраниться как самостоятельная этно-культурная единица, несмотря на сложную политическую реальность в этом регионе, то какие, на Ваш взгляд, шаги могли бы предпринять деятели культуры в этом направлении?



## Фархад Бадалбейли

Ректор Национальной Музыкальной Академии

Баку

1. В принципе, Южный Кавказ на сегодняшний день мог бы быть совершенно другим: процветающим, и с материальной, и с духовной точки зрения. Но, видимо, кому-то очень не хочется, чтобы на Южном Кавказе царил мир.

2. Он существовал, и ярким тому примером является Параджанов – выдающийся мастер, который на основе азербайджанского мугама создавал свои грузинские фильмы, где играли армянские актеры. Во время нашего совместного проживания в Советском Союзе национализм не поощрялся. Симбиоз культур приносил хорошие плоды: это и постановки опер, и совместное музицирование многих наших

музыкантов, и многое другое. Тогда были заложены принципы дружбы и взаимоуважения. Сейчас же идет процесс самоизоляции стран Южного Кавказа. И, если эта тенденция продолжится, то, конечно в культуру и жизнь народов Южного Кавказа будут врываться чужеродные элементы.

У нас очень сильны генетические коды, сильна самобытная культура. Никакая американская пропаганда не сможет нас заставить забыть, например, наш Новруз байрам.

Но определенные процессы американизации все же происходят. Я, например, не понимаю, зачем нам нужны Макдональдсы, когда у нас есть своя изумительная национальная кухня.

С другой стороны, наша молодежь прекрасно знает английский язык, многие наши соотечественники живут в Лондоне, в Америке и прекрасно себя чувствуют там. Есть хороший обмен молодыми художниками, деятелями театров. И это очень позитивные тенденции. Я считаю, что надо уметь сохранить свое, не отгораживаясь при этом от нового и интересного.

3. Мне очень больно наблюдать все эти процессы. У меня много друзей и в Армении, и в Грузии. Это очень грустно, что нас так умело разьединили. Я не буду вдаваться в подробности относительно того, кто и как это сделал, но то, что мы сейчас пешки в большой общемировой игре, где гигантские страны тешат свои амбиции за счет жертв Южного Кавказа, это факт. И это очень больно. У нас не хватило мудрости перейти через личные амбиции, мы стали очень узко мыслить и нас разбили на общины, в которых мы, к сожалению, многое теряем.

Нам нужно исходить из своих национальных прагматических интересов и понять, что война не нужна никому.

4. Они должны стать выше националистических амбиций. Идеологическая подготовка конфликтов, к сожалению, была инспирирована именно интеллигенцией: историками, писателями, этнографами. Они несут ответственность за обработку народов в националистическом духе. Надо помнить, что у каждого из народов есть свои духовные ценности и богатства, надо не кичиться ими, а делиться и развивать их.

На дворе XXI век, Европа объединилась, а мы все еще играем в какие-то княжества и государства. Это смешно.

И, конечно же, конфликт инспирируется, искусственным образом постоянно подогревается. Оружие продается то той, то другой стороне, то с одной стороной дружат, то с другой, инспирируются внутренние распри.

Даже сами европейцы смотрят на все происходящее скептически, потому что когда – то очень близкие страны, народы никак не могут понять друг друга.



## Тельман Джафаров (Велиханлы)

Доктор филологических наук, профессор Бакинского славянского университета, переводчик Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, русских евразийцев, специалист по древнерусской литературе, главный редактор литературно-переводческого журнала «Мута джим».

1. Я бы не сказал, что это сплошь и рядом «непримиримые зоны». Давайте, не будем терять из виду совместные азербайджано-грузинские социально-экономические проекты, которые с привлечением Турции приобрели европейское и мировое значение, способствовали энергетической безопасности региона, превратили его в часть общеевропейского дома. Я уже не говорю о социально-культурной и межнациональной значимости этих проектов. В целом, эти крупные экономические проекты сыграли незаменимую роль в обеспечении политической стабильности в Грузии и Азербайджане, в сохранении и развитии их суверенитета. Южный Кавказ должен освободиться от политического и социально-экономического давления и зависимости от своих больших соседей. Без участия какой-либо из трёх закавказских республик этого просто невозможно добиться.

2. Я не историк и не этнограф, но как кавказец и литератор по профессии твёрдо знаю одно: несмотря на религиозный фактор, этот культурно-исторический ареал является неделимым. Это не из-за того, что

эти страны (их территории) в разные исторические периоды находились в составе одних и тех же империй. В данном случае культура (быт и нравы, обряды, музыка, фольклор, образ жизни и мышления) выступает доминантой. Ведь этот древнейший очаг человеческой цивилизации сформировался до нынешнего этнического и национального самоопределения азербайджанцев, грузин и армян. Я вполне уверен, что эти народы при современном наступлении глобализации и разной геополитической ориентации всё-таки сумеют сохранить свою самобытность и не растворятся в более крупных этнокультурных ареалах.

3. Очень переживаю за исход военных конфликтов на территории Южного Кавказа. Ведь мало надежды на благоразумие некоторых политических руководителей, которые всё ещё верят в счастье извне, лишены политической зрелости и воли для разрешения своих проблем собственными силами, подвергают свой народ самоизоляции. И самое опасное то, что они с посторонней подачи создают возможность для превращения Южного Кавказа в зону долговременных военных и этнических конфликтов, каковым, к примеру, десятилетиями представляется Афганистан.

4. Конечно, огромное значение имеет деятельность представителей культуры. Народы Южного Кавказа не могут вечно враждовать и подвергать своё будущее опасности. И православная, и мусульманская мораль отвергают убийство людей, вредительство им. А сколько крови пролито и сколько материальных и духовных ценностей погублено? Слава Богу, спустя более 20-ти лет люди полностью всё это осознали. А как пропустить эту «правду» через себя, как сделать шаг друг к другу, осознать свои промахи? Может быть, деятелям культуры целыми группами объехать пустые, заминированные территории, подумать о будущей участи этих земель. Войны здесь не помогут. Здесь поможет слово завоевавших доверие и уважение своего народа политических лидеров, писателей и учёных. И еще, у всех перед глазами горькая участь разбросанных по чужим краям беженцев: грузин, азербайджанцев, осетин, армян и других. О них никому никогда нельзя забывать.



## Чингиз Абдуллаев

Президент ПЕН-клуба Азербайджана, народный писатель.

1. Возможно, это были самые «бессовестные годы» в истории наших народов. Если в 1917 году на одной шестой части земного шара отменили Бога, то в 1991 году отменили совесть. И все двадцать лет мы жили без Бога и без совести. Возведенная в ранг официальной политики национальная демагогия: абсолютная коррупция, бесчинства уголовных банд, тысячи погибших, постоянные перевороты. В Азербайджане два первых Президента покинули свои посты в результате государственных переворотов. В Грузии началась гражданская война, в результате которой был свергнут Гамсахурдия, а затем вынуждено покинул свой пост Шеварднадзе. В Армении просто убили прямо в Верховном Совете премьера и спикера. И это не говоря уже о международных конфликтах в Нагорном Карабахе, Осетии, Абхазии.

2. Полагаю, что многообразие этнокультур всегда было заметным явлением в таком регионе, как Южный Кавказ. Религиозное и этническое многообразие отличало этот регион. Православная Грузия, апостольская Армения и мусульманский Азербайджан всегда тяготели к разным союзникам и к разным культурам. Что не мешало им жить рядом и даже часто вместе выступать против общих врагов. Только после появления большого игрока на Южном Кавказе, каким была Россия, все народы Южного Кавказа оказались втянутыми в ее орбиту. Сейчас, разумеется, каждый народ и каждое государство выбирает своих союзников и свои предпочтения. Полагаю, что это процесс уже необратим.

3. Крайне негативное. Если счастье и независимость народов строится на такой большой крови и на такой бессовестной лжи, то ничего хорошего построить не удастся. Царство Божье не строят на «слезе ребенка». Возможно, когда-нибудь мы это начнем понимать.



4. Именно в силу своего многообразия культур Южный Кавказ может быть так интересен всему миру. Процесс глобализации идет повсюду, но этнокультурное многообразие наших народов это скорее плюс, чем минус. А вот от деятелей культуры зависит очень многое. В конце восьмидесятых-начале девяностых мы сделали все, чтобы натравить народы друг на друга. И в этом есть часть нашей вины. Настало «время собирать камни». Нужно понимать, что только в процессе мирного сотрудничества, мирного сосуществования мы сможем договориться и жить вместе, возрождая наши государства. Иного пути у нас нет.



## Солмаз Ибрагимова

Главный редактор журнала «Литературный Азербайджан»

1. Время перемен, каковым, несомненно, является прошедший период, всегда бывает достаточно сложным и не всегда предсказуемым... Однако, окинув взглядом всю историю человечества, можно ли сказать, что она отличалась простотой и ясностью? Мне кажется, что любой отрезок времени характеризуется своими сложностями, трудно решаемыми проблемами, как и любая человеческая судьба.

2. Несомненно, существует и будет существовать; судьбы народов, живущих в одном ареале, их мировоззрение, традиции, культура, неразрывно развивавшиеся на протяжении долгих веков, сплелись настолько прочно, что не верится в их разобщение.

3. ...

4. Не являясь сторонником «революционных» преобразований, считаю, что необходимо всегда искать разумную почву для диалога, а не идти к взаимному ожесточению.



## Явер Рза

Режиссер-постановщик трех художественных фильмов: «Сары гялин» («Невеста в белом»), «Хадж» («Поломничество») и «Илахи-мехлуг» («Божественное животное»). Автор четырех документальных

фильмов. Участник престижных фильм-фестивалей.

Живет в Баку

1. Исторический постсоветский период я бы охарактеризовал, как поиск свободы и идентификация себя во времени и пространстве. Желание сказать всему миру, что мы не придаток чего-то огромного, что и у нас есть своя история и свои культурно-исторические устремления. Конечно же распад и разрушение империи всегда и во все времена проходил болезненно и кроваво. Мы не исключение. Хорошо это или плохо, вам никто не скажет, Нам немного не повезло, мы оказались в самой гуще эпохи перемен.

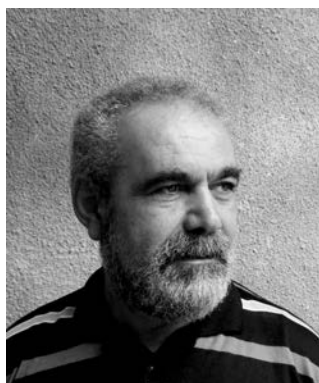
2. Считаю, что неправильно называть желание наших народов обрести свою идентичность, этнокультурным феноменом. Другое дело, что в современном мире, при существующих тенденциях к глобализации, при религиозных противоречиях, небольшим народам трудно отстаивать и утверждать свою государственность. Южный Кавказ, я думаю, еще долго будет оставаться разменной монетой в большой игре супердержав. И единственный выбор, оставленный нам, это быть монетой как можно большего достоинства.

3. Мое личное отношение ко всему происходящему примерно, как у человека в лодке без весел, плывущей к водопаду, но утешающего себя тем, что дети остались на берегу.

4. Деятели культуры, наверное, могли бы что-то делать для улучшения ситуации. Но ведь культура, являясь составной частью любой государственной идеологии, имеет свои и культурные и политические цели, а они зачастую у народов разные. Тем не менее, существуют, мировые, общечеловеческие ценности, на которых и можно

было бы сосредоточиться. Создавать совместные проекты, где пропагандировались бы общечеловеческие ценности. Искать в истории Южного Кавказа моменты, где проявлялись миролюбивые и добропорядочные черты наших народов. Возродить классические произведения.

*Опрос провела Ляман Намазова*



## Роберт Аскарян

художник, скульптор. Степанакерт.

*– Прошло 20 лет после войны. Как ты сегодня осмысливаешь это время? Что было, что стало? Что мы приобрели, что потеряли?*

– 20 лет... Для меня эта цифра как будто и не несет временной нагрузки, словно один миг... Словно вчера все произошло. Конфликт ведь начинается внутри человека. Такое маленькое землетрясение внутри тебя. Сначала толчки, слабые, потом сильнее, а потом землетрясение. А я художник, я, как фотопленка с высокой чувствительностью, проявляю на холст то, что увидел, зафиксировал. Когда я пишу, я не думаю об этнических типажах, а переношу то, что во мне, то, из чего я состою. Но как это было объяснить?! Вот и толчок. Потом еще один толчок. А в результате землетрясение. Конечно, большей частью это были издержки тоталитарной советской системы, но хорошо приправленной национальной политикой наших соседей. И для меня, главное из того, что произошло

это обретение свободы. Потери, жестокие, болезненные, невосполнимые, оправдываются обретением Свободы. Дух, язык, культура не выносят подавления. Человек легче перенесет физические лишения, но не подавление тех ценностей, из которых он состоит, из которых состоит любой народ. Сегодня я свободен, живу и творю на земле моих предков. И дело не в том, что я могу ездить по миру, выставляться в разных странах, участвовать в творческих симпозиумах, главное я есть тот, кто я есть.

*– Вот ты говоришь, дух, язык, культура... А есть ли нечто, что роднит культуры народов Кавказа? Существует ли вообще такое явление как этнокультурный феномен «Южный Кавказ»?*

– Трудно сказать... Даже при том, что есть много общего, это разные культуры. Кавказ в этом смысле – уникальный регион. Почти вся Западная Европа – это романо-германские языки. А на Кавказе сколько языковых групп? Западная Европа – христианская цивилизация, а Кавказ? Но, при всех различиях, есть общее в ментальности. И гораздо большее, как мне кажется, чем у немца с французом. Вот такой парадокс. Может, в этой уникальности и есть феномен?! Кавказцы в другой стране всегда земляки. А англичанин и испанец просто европейцы. Они не назовут себя земляками. Мы, безусловно, лучше понимаем друг друга, чем тех же европейцев или азиатов. Природа, география, общность исторических обстоятельств, отношение к земле, как к живому духу все это факторы, определяющие, формирующие, влияющие на менталитет. А значит и на культуру, как и наоборот.

Наше время это ведь новые исторические и геополитические обстоятельства. Регион разделен, кто-то стремится в Европу, кто-то тяготеет к России... Глобализация развивается. Люди везде, почти во всем мире, одинаково одеты, смотрят одни и те же голливудские фильмы... Повсеместны наднациональные политические структуры. С одной стороны, постоянно происходит какое-то объединение, стирание границ. С другой стороны, разделение становится более глубоким, цивилизационным...

Глобализация – это уничтожение идентичности. Уничтожение идентичности это уничтожение многообразия форм и содержаний. Но ведь в этом вся красота. Именно в многообразии форм красота. Я не верю, что грузин может стать американцем. Пока он поет свои грузинские песни, а он будет петь их всегда, пока он есть, он будет оставаться грузином, как бы он ни одевался. Пока они пекут пури и хачапури, а мы свой духовный «жингялав хац», мы будем теми, кто мы есть.

– Но, с другой стороны, именно стремление сохранить свою самобытность, идентичность, становится, в результате, причиной конфликтов. Может быть, пришло время формирования новой самобытности, не столь специфичной, но зато позволяющей жить в мире и согласии со всеми? Молодое поколение сегодня больше слушает европейскую, американскую музыку, чем свою национальную. Если есть читающие среди молодых, спроси, кого они читают, и они назовут тебе Коэльо, Мураками, но не своих национальных авторов. Может быть, в этом необходимость ощущения себя частью мира, а не частичкой маленького народа?

– Если это хорошая музыка и хорошая литература, а хорошая значит созидательная, несущая добро, свет, то это надо слушать и читать. Это только еще больше помогает осознавать себя и частью мира и частью своего народа. Другой вопрос, когда мы становимся потребителями продукта, который разрушает нас и нашу сущность, навязывает чуждое человеческой душе, но привлекательное, потому что отвечает каким-то поверхностным потребностям, уводя от глубины постижения, необходимости думать, развиваться. Происходит подмена ценностей. Человеку свойственно выбирать легко доступное. Как говорили древние хлеба и зрелищ. И тогда мир людей превращается в массу, толпу, стадо, которыми легко управлять, которых легко превратить в ничто. Человек опомнится. Он быстро насытится этими полуфабрикатами, поймет, что не этого искал, и вернется к себе. Однажды я гулял в лесу, в дубовой роще. Огромные дубы, с такими стволами, что не обхватить. Широоченные кроны почти полностью заслоняли небо, так что практически не видно было солнечного света. И вдруг я увидел четыре молодых дуба, с очень тонкими стволами, а кроны их были выше, чем у старых дубов. Для меня это было очень интересно. Молодая поросль, пожертвовала своей физиологией, отдала силы высоте, только чтобы пробиться к солнцу, к свету. Но корни-то оставались в земле, которая дала им жизнь, которая их питала. Вырви эти дубы с корнем, они, что превратятся в клены? Они высохнут, умрут. Пусть молодежь читает и слушает то, что ей нравится. Они все равно не оторвутся от корней. Человек не может отказаться от самого себя. Сейчас вообще кризис духовности. Но это временно. Когда люди поймут, что одними гамбургерами сыт и счастлив не будешь, они вернуться к тому, что питает их духовность. А это родная земля, язык. Жизнь в абсолютном согласии это утопия. Планета не так устроена, она еще не готова к этому. Все формируется в борьбе диалектика развития. Это реальность. И в ней ничего страшного. Лучше мы будем добрыми соседями, помогающими друг другу, чем братьями, готовыми убивать.

Мы и наши дети пережили войну, но раны войны еще не зажили. Это факт.

*– А политическая ситуация влияет на культуру, искусство? Враждебность, разделенность, угрозы насилия это отражается в современном искусстве?*

– Только опосредованно. Художник не может, не должен нести зло. Тогда он не художник. Из тех ребят, художников, что воевали, я не знаю никого, кто писал бы войну, насилие. Эмоции, вызванные войной, отражаются, но они не несут злобы или враждебности. Они затрагивают другие пласты. Как и любое искусство, это осмысление себя и своего мира в какой-то момент истории. Картина – это и мгновение жизни, и вечность. Конечно, коммунистическая власть использовала культуру как политический инструмент. Мы были свидетелями, как это делалось в советское время. Ну, и где все эти фильмы, картины, книги про героев социалистического труда? Осталось только то, что было настоящим.

*– Ты уверен, что народы на Кавказе никогда не потеряют своей самобытности, что для человека и народа сохранение национальной культуры это условие его выживания. Ты уверен, что настоящее искусство несет добро и созидание. В таком случае, что должны делать деятели культуры, чтобы способствовать развитию национальных культур, гармонично сосуществующих друг с другом? Что делать, чтобы сохранить наш регион как Южный Кавказ, а не превращаться в полу-Европу или полу-Азию? Что делать, чтобы добро и созидание победили враждебность и недоверие?*

– Быть собой, нести свет и добро, раскрывать красоту и величие собственных культурных традиций для молодого поколения. Но чтобы достичь цели, мало одних усилий деятелей культуры. Это серьезные вопросы, в решении которых должны участвовать и общество, и государство.

*– Если, например, организовать выставку современной живописи южно-кавказских художников, такое мероприятие может способствовать преодолению отчуждения между народами?*

– Все зависит от того, кто организует, где, какая идея заложена, насколько массовый интерес она вызовет. Но надо с чего-то начинать. Только не разовыми акциями, не формальными подходами для галочки. Восстановление доверия это процесс, по-моему, очень долгий. Современная политическая ситуация даже не позволяет ему начаться. Например, ваш литературный альманах это хороший проект. Надо продолжать. Надо сеять семена, рано или поздно они дадут всходы. Вот, я работаю в своей

мастерской. Каждый день. Я не думаю о результате: продается не продается, покорит зрителя, или не покорит. Я просто не могу не писать. Запечатленные на мою внутреннюю фото пленку мысли и чувства просятся наружу. Надо творить. Надо создавать красоту. С уверенностью могу сказать, что только это спасет мир.

*Беседовала Жанна Крикорова*



## Лариса Кацья

преподаватель истории.

Сухум

1. Национальная политика в СССР была в значительной степени авантюрой. Утопическая идея создания «новой этнической общности советский народ» не учитывала реалий. Глубокие противоречия и проблемы в сфере национальных отношений подавлялись и камуфлировались могучим государством, поэтому ослабление этого давления в эпоху перестройки не могло не вывести национальные проблемы на поверхность. В некоторых регионах конфликт принял форму разрушительных гражданских войн.

2. Не думаю, что такой этнокультурный феномен, когда-либо существовал. Южный Кавказ – чисто географическое понятие. Это территория, заселенная этносами с различной материальной и духовной культурной спецификой. Естественно, как и у всех соседствующих народов, в их культурах имеют место схожие элементы, но именно элементы, не определяющие ментальность и дух этой культуры.

Вряд ли кто либо станет утверждать, что азербайджанец, армя-



нин, грузин и абхаз это одно и то же. А что касается присоединения к другим этнокультурным единицам, думаю, в Азербайджане да, исторически обусловленное тяготение к Ирану. Грузины, с их, как выразился бы П. Сорокин, «идеалистической цивилизационной суперсистемой» явно тяготеют к Европе. А армянам собственно некуда податься. Да к тому же этот этнос обладает очень мощной иммунной системой и менее других склонен к ассимиляции (аккультурации). Для абхазов и осетин тяготение к России предрешено современной геополитической ситуацией.

3. Принимаю их как горькую досадную закономерность. По-другому и быть не могло. вспомните, ведь наши народы «встраивались» в социализм прямо из патриархального состояния, а советское государство, основанное на насилии, лживой пропаганде и макиавеллистских методах управления, не могло привить людям цивилизованной политической культуры, то есть способности к рациональному, взвешенному политическому поведению. Поэтому проверенный временем принцип «Разделяй и властвуй» и популистские лозунги до сих пор легко подвигают толпу на звериную агрессию, неизбежно направленную против ее собственных интересов.

4. Разумеется, огромную, ибо культура – это здравый смысл и толерантность, а эти свойства неизбежно подталкивают к осознанию того, что сотрудничество гораздо выгоднее и полезнее войны, что единственный путь к миру это компромисс и взаимное уважение интересов.

По поводу неверия в существование такого феномена я уже высказалась. Не сомневаюсь в том, что мир наш движется к единообразию, однако на пути к нему человечеству предстоит еще немало военных катастроф, в которых, как обычно, война за экономические и политические ресурсы будет маскироваться этническими и религиозными причинами. Конечно, деятели культуры могли бы в значительной степени способствовать если не предотвращению, то смягчению этих катастроф, формируя в людях понимание механизмов социальных конфликтов и чувство идентичности со всем человечеством.

**Личное.** Что же случилось в два послевоенных десятилетия, т. е. 90-ые 2000-ые годы? В основном то, что худо-бедно обустроенный мир общества, которое пройдя через мясорубку революций, войн и сталинского террора, наконец, обрело стабильность и упорядоченность, начав разваливаться в конце 80-х, разрушилось окончательно. Мы оказались «бездомными» без государства, без элиты, без ав-



торитетов и даже без ясных представлений о нравственных началах бытия. Произошла девальвация понятий, которые наделяли жизнь каждого смыслом и целью, становились опорой нашего внутреннего и центром общественного сосуществования. Все это стало очевидным в послевоенные годы.

Война отразилась на моей судьбе такими же неисчислимыми потерями, страданиями, страхами и крушением мира, как и на судьбах большинства наших соотечественников. И этот ущерб необратим.

Но испытываю ли я ностальгию по «застойному» благополучию 60х пер. пол. 80-х годов? По самому детству, юности, одухотворенной родителями, некоторыми прекрасными учителями, редкими яркими встречами да. То есть по тому, что составляло внутренний мир, что являлось проявлением скорее девиации, чем олицетворением эпохи =да, я испытываю ностальгию.

Но несколько по атмосфере времени, в которой, за внешним по-детски-мещански украшенным антуражем, царили абсурд и фальшь, происходила девальвация нравственных устоев, что и привело в итоге к «смутному времени» 90-х годов.

Если говорить о том, что мы утратили, кроме иллюзий «обустроенности», это, конечно, дух романтического оптимизма, которым компенсировалась убогость несвободного уравнилельного существования. Впрочем, каждый социум обладает своим набором сакрализованной спецификации, значение и смысл которой в полной мере осознается лишь после ее утраты.

Сухум до последних послевоенных лет был городом со сравнительно богатой духовной жизнью и сравнительно высокой культурой общежития. Многонациональная, многоконфессиональная пестрота обогащалась потоками эмигрантов.

После российских революций здесь оказалось немало представителей бывшей знати носителей блистательной культуры серебряного века. Сюда съезжалась репрессированная интеллигенция, освободившаяся из сталинских лагерей и не имевшая права возвращаться в свои города. Здесь было создано много научно-исследовательских центров, аккумулировавших научную элиту. Все это вкупе с традициями взаимной почтительности, а также праздной спецификой курортного города, предрасполагавшей к философской созерцательности и «тусовкам», создавало ту самую уникальную сухумскую атмосферу, которую так точно выразил своей скульптурной метафорой «Пингвин» Архип Лабахуа и которую, как мне кажется, мы утратили безвозвратно.



## Гурам Одишария

писатель, министр культуры Республики Грузия

*– Прошло 20 лет после того, как начались конфликты в Абхазии и в Южной Осетии. За два десятилетия многое изменилось и в Грузии и на Кавказе. Как бы Вы могли охарактеризовать этот период? Важно то, что на протяжении этих 20 лет людям удавалось вести диалог. Все кавказские конфликты начинались в тот момент, когда люди переставали разговаривать друг с другом. Прерывался диалог, и именно тогда и раздавался первый выстрел. Но потом диалог все равно велся, люди и сейчас умудряются общаться друг с другом, у нас ведь очень сильны родственные связи. Людям удается не рвать нити, которые все-таки протянуты между ними. Это очень важно.*

*Если удавалось поддерживать связь друг с другом, почему никому не удалось помириться? 20 лет разве не достаточный срок для того, чтобы понять ошибки и попытаться что-то наладить...*

*– Представьте себе минное поле – это то, что остается после конфликта. Среди нас есть редкие люди, которые умеют по нему ходить. Это не всем дано, большинство наступит на мину и сразу подорвется. Люди, которые умеют по специальным тропинкам обходить взрывоопасные места – это народные дипломаты. Народная дипломатия большая сила, но, к сожалению, она не может быть решающей, потому что действует в своих рамках, а решения принимают политики. Народные дипломаты могут делать свои выводы и рекомендации, но для того, чтобы что-нибудь изменилось, их должны услышать политики. Народные дипломаты пока не выработали в себе такой силы,*

которой они могли бы убедить своих правителей прислушаться к себе.

За минувшие 20 лет наши конфликты стали хроническими, как настоящая болезнь. Так получилось потому, что политики высшего ранга не говорили между собой, и все те хорошие результаты, которых добивались народные дипломаты, рушились из-за новой вспышки войны. Для того чтобы попытаться урегулировать конфликт, нужно хоть минимальное понимание проблем друг друга, а этого, к сожалению, нет.

*– А как Вы считаете, общество готово к тому, чтобы понять противоположную сторону, пусть минимально?*

– Общество не готово к диалогу. И многое изменилось бы, если бы общество согласилось на какую-то форму диалога. Но в наших постконфликтных обществах есть много внутренних проблем, которые не дают нам сконцентрироваться взять хотя бы политическое противостояние перед выборами. Нам нужна добрая воля с одной и с другой стороны, нам нужно доверие друг к другу. И потом, нам по-прежнему нужны лидеры, настроенные на диалог. Этот период еще будет продолжаться, и нам всем надо будет пережить это.

*– Может быть, есть конкретные болезни в обществе, которые препятствуют взаимопониманию? В грузинском обществе есть национализм?*

– В той или иной степени национализм есть практически везде. Как с ним бороться? Должно состояться гражданское общество, у него должен быть авторитет и высокий рейтинг. Надо чтобы стали по-настоящему популярными европейские ценности. Этого добиться тоже непросто, опять же политическое противостояние внутри препятствует этому, экономические проблемы, безработица. Мы сейчас такое очень нервное общество из-за этих проблем.

*– А деятели культуры, они ведь могут помочь обществу лечиться от неприязни противоположной стороны?*

– Деятели культуры тоже разные, среди них есть такие, кто как раз поддерживает конфликтную ситуацию. Если провести анализ кавказских конфликтов, окажется, что иногда разжигателями становились люди науки и люди искусства. Историки, писатели они нередко стоят у истоков кавказских конфликтов. К счастью, есть и другие. Искусство и культура в целом, несомненно, способствуют диалогу. Я много ездил по Кавказу и никогда не забуду, как люди смотрели филь-

мы, слушали музыку с той, другой стороны... Я работал в проекте, в котором представители пяти народов Южного Кавказа выпускали сборники рассказов. В одной книге выходили абхазские, грузинские, осетинские, азербайджанские и армянские рассказы. Знаете, с каким интересом знакомились люди с тем, что пишут на противоположной стороне! Это потому, что после наших конфликтов мы оказались в изоляции. Мы сейчас стоим спиной друг к другу, а ведь мы не можем себе этого позволить – во имя будущего наших детей. Сейчас мы пока не можем вести политический диалог, и у нас слишком резкие разногласия относительно общей истории. И если где-то и существует гармония, то это искусство и культура, они должны стать выше любого противостояния.

Я вам приведу такой пример. Мой отец был военнослужащим, он был офицер высокого ранга, воевал во Второй Мировой войне. Так вот он рассказывал мне, что на фронте они слушали радио, когда была такая возможность. И вот сначала они слушали голос Левитана, сводку о положении фронта, а в перерывах между сводками транслировалась музыка. Отец вспоминал, что очень часто это была музыка немецких композиторов, даже Вагнера, которого очень любил Гитлер. Тут был такой очень важный посыл: мы воюем не с немецкой культурой, мы воюем с фашизмом.

*– Этно-культурная общность Кавказа по-прежнему актуальна, или она сдает свои позиции под влиянием глобализации?*

– Конечно, глобализация делает свое дело. Есть на Кавказе маленькие народности, которые еще 25 лет назад хорошо знали свои языки, а сейчас их вытеснил, например, русский. Многие разучились читать на своем языке, 25 лет назад умели, а сейчас уже нет. Надо беречь не только свой язык, а языки друг друга. Сегодня исчезнет язык твоего соседа, а завтра очередь дойдет и до твоего собственного. Поэтому мы должны помогать друг другу беречь культурное наследие. Потеряв его, мы потеряем все, останется одна глобализация.

*– А как можно ей противостоять? Это как лавина, сметающая любую самобытность и оставляющая после себя голливудские фильмы и кока-колу...*

– Во Франции, например, четко регулируется показ голливудских фильмов. Это облагается особым налогом, а собранные средства перечисляются в фонд развития французского кино. Это не настолько трудно, как представляется на первый взгляд, хранить свои традиции.

– Вы сейчас работаете в правительстве, наверняка у Вас есть конкретные планы...

– Мы прямо сейчас рассматриваем новую политику культуры, и в ней этот вопрос обязательно будет приоритетным. Сейчас есть программы, разработанные специально для того, чтобы сохранить культурное наследие народов Грузии.

– Как по Вашему могла бы выглядеть ситуация, в которой можно было бы сказать: «Конфликт разрешен»?

– Где-то в пространстве существует одна маленькая точка, в которой сходятся интересы грузин и абхазов, грузин и осетин, армян и азербайджанцев. Я верю в то, что она существует, эта точка совместных интересов, как верю и в то, что нет таких проблем, которые нельзя было бы решить без войны, за столом переговоров. Мы просто пока плохо ее ищем. Надо действовать сообща, а не по одиночке. Формула спасения наших отношений, несомненно, в нас самих, но мы должны к ней прийти. Уверяю вас, она существует.

## Встреча в Фарнхаме

11-14 июня 2012 года под Лондоном прошла встреча «Диалог деятелей культуры Южного Кавказа», организованная британской НПО «International Alert» и профинансированная Евросоюзом.



Н Надежда Венедиктова

Автор четырех книг, обозреватель общественной телестудии «Asarkia».

Живет в Сухуме.

Фарнхам всего в шестидесяти километрах от Лондона, но это уже почти сельская Англия настолько пасторальны зеленые поля и рощи вокруг этого небольшого городка. Значительная часть жителей ездит на работу в столицу, но на их образе жизни трудовая деятельность в мегаполисе почти не сказывается в любое время суток городок тих и несуетлив, и только автомобили придают ему легкий налет современной мобильности.

Farnham-castle, Фарнхамский замок, в котором проходила наша встреча, начали строить в двенадцатом веке, и все последующие столетия здесь постепенно что-то пристраивалось, изменялось в настоящее время это целый, замкнутый на внутренней жизни комплекс, в котором не только гостиница полумонастырского типа, но и небольшой музей, конференц-залы и библиотека.

В средние века это была резиденция епископа Винчестерского, занимавшего в иерархии средневековой Англии третью ступень после короля и епископа Кентерберийского. Висящие во всех крупных помещени-

ях парадные портреты епископов хорошо передают дух современной им эпохи роскошные тяжелые одежды, препоясанные веревкой, символом их служения Богу, умные, зачастую надменные лица – это скорее знатные лорды, чем смиренные служители Христа. Темный колорит картин подчеркивает значительность владельцев епископского замка. Легче представить их в блестящей толпе придворных, чем на коленях перед распятием.

Замок, переделанный в гостиницу, продолжает сохранять аромат прошлого, даже находясь в номере, невольно помнишь, что раньше здесь была келья. Окно моей кельи выходило на огород, где по утрам работал мужчина лет сорока несложно было представить, что точно так же пятьсот лет назад монах или приходящий с воли работник сажал овощи для епископского стола. Под утро без усталости часто кричала кукушка. Дожди, сопровождавшие нас в первые дни встречи, и свежая июньская зелень создавали чарующую иллюзию погружения в традиционный английский быт, хотя, наверное, даже специалисты уже затрудняются определить, что же это такое.

Конечно, в Великобритании есть свои сложные проблемы мировой экономической кризис не обошел ее стороной, но нам, приехавшим из раздираемого острыми национальными противоречиями Кавказа, казалось, что мы окунулись в сельскую идиллию. Само обстоятельство, что в таком многонациональном составе мы не можем встретиться в собственных странах и вынуждены выезжать за рубеж, подчеркивало нестабильность нашего региона.

В бывшем епископском замке собрались люди, равнодушные к дальнейшей судьбе Южного Кавказа – каждый из нас понимал, что политические игры, к сожалению, не привели ни к какому осязаемому миротворческому результату и нужны совместные гуманитарные акции, которые помогли бы народам и личностям выйти на тропу здравого смысла.

А здравый смысл предполагает, что решение любого спора силовыми методами лишь провоцирует дальнейшие разборки в будущем.

Развал советской империи вызвал такой взрыв национальных энергий, часто противоречащих друг другу, что уже более двух десятилетий Южный Кавказ разделен, и, несмотря на то, что отдельные государства, кто удачнее, кто не очень, развиваются, регион в целом не стал той комфортной средой обитания, о которой мы мечтали, когда перестройка в СССР уже стала необратимой.

Неурегулированность конфликтов продолжает коверкать судьбы



многих и мешает Южному Кавказу полноценно включиться в мировую экономику и добиться устойчивого развития.

Четыре дня, расположившись в бывшей библиотеке епископа, мы обсуждали наши ожидания от встречи, стратегические цели, роль и потенциал деятелей культуры в построении мира и доверия между народами, разделенными застарелыми конфликтами.

Справиться с таким количеством своих равных деятелей культуры, тем более что встреча совпала с чемпионатом мира по футболу, и мужчины были в осязаемом спортивном ажиотаже, не так-то просто модераторы встречи, Джульет Скофилд и Лариса Сотиева, мужественно вели корабль вперед, лавируя среди подводных камней. Джульет, сдержанная лондонская леди, в лице которой в минуты затруднений прорывались вопросительно-иронические гримасы, правила мягкой рукой. Лариса, выросшая в кольце юго-осетинских снежных вершин и пережившая войну и бегство, своевременно натягивала вожжи и ловко переводила дискуссию в другую плоскость.

К сожалению, из-за болезни не смог приехать тбилисский писатель Гурам Одишария, один из авторов проекта альманаха «Южный Кавказ». Временами его мягкости и врожденного умения не конфликтовать явно не хватало. Но другой автор проекта, неутомимый сухумский общественный деятель Батал Кобахия, взрывами своего темперамента заполнял отсутствие коллеги и повышал тонус высокого собрания.

Многочасовые обсуждения наших общих проблем и поиски новых совместных инициатив, честно говоря, зачастую изматывали может быть, потому, что многолетняя неопределенность в регионе ставит под вопрос любой общий порыв. На фоне замороженных конфликтов все наши предложения казались прекраснотушными мечтаниями оторванных от реальности идеалистов.

И все равно мы упрямо бросали одну идею за другой в общий котел стремления построить общекавказское культурное пространство, которое позволило бы простым людям ощутить необходимость мира и взаимодействия. И не только необходимость, но и человеческую емкость и прелесть межнационального общения, раздвигающего границы до всего человечества.

Вот этот роскошный ворох наших безумных предложений:

- общий диск с народными песнями на всех языках Южного Кавказа;
- передвижные художественные выставки;
- Кавказские «Олимпийские игры»;



- общий автопробег по Кавказу, а может быть, и региональные гонки, которые выплеснули бы излишек агрессии в бешеную скорость;
- общекавказские вечера поэзии, на которых звучали бы все языки сразу;
- издание антологии армянской поэзии в Баку в переводе на армянский язык;
- сайт «Южный Кавказ», на котором писатели, блоггеры, фотографы, художники и другие желающие могли бы создать позитивный образ Южного Кавказа как региона со своеобразной утонченной культурой и многовековыми традициями общежития;
- создание совместного армяно-азербайджанского произведения;
- общая многонациональная библиотека Кавказа;
- театральная постановка на русском языке с абхазскими и грузинскими актерами;
- совместные поездки деятелей культуры по регионам и написание общей статьи, резюмирующей впечатления;
- постоянное вовлечение других деятелей культуры в построение общего культурного пространства.

И так далее.

По вечерам к нашим услугам был просторный холл с двухэтажным рядом окон, где помимо мягких диванов и кресел стоял рояль, и задумчивый прозаик Вартан Ферешетьян баловал нас джазовыми импровизациями под суровым взглядом темных епископских портретов.

На один день нас вывезли в Лондон, где с утра в Лондонском университете состоялась встреча с экспертами-кавказоведами и представителями неправительственных организаций, занимающихся миротворчеством. Идея издания альманаха «Южный Кавказ» и ее воплощение встретили горячую заинтересованность, были острые вопросы и дружественные комментарии.

Потом нам подарили двухчасовую автобусную экскурсию по британской столице разглядывать со второго этажа автобуса известные и неизвестные достопримечательности было так увлекательно, что даже холодный встречный ветер не мог охладить наш энтузиазм. Почти все, изгибаясь в разные стороны, щелкали фотоаппаратами и лавировали видеокамерами, чтобы не упустить выгодный ракурс.

Несколько раз мы выходили, чтобы познакомиться с достопримечательностями вплотную. И снова садились в автобус по тем же билетам очень удобная услуга для туриста! Вестминстерское аббатство, которое начали строить в XII веке, потрясает своей возвышенной монументаль-

ностью готика всегда хватает за сердце и пронзает дух, но эта громада еще и внушает уважение к столь далекому по времени строительному азарту.

Недавно в Англии прошел шестидесятилетний юбилей правления британской королевы помимо сувениров в честь этой даты, которыми пестрели прилавки магазинов и лавок, дизайнеры умудрились оставить знаки события почти везде. Так, например, корона трехметровой высоты, выполненная из красочных растений, почти затмила своей популярностью Букингемский дворец, на фоне которого она красовалась в знаменитом Сент-Джеймском парке, где в девятнадцатом веке фланировали лондонские денди.

Сейчас, уже из сухумского сквозняка, фарнхамская встреча видится как слабый язычок пламени, зажженный очень далеко от Южного Кавказа, но ради его будущего мир неизбежен как самая оптимальная форма существования, рано или поздно он придет в наш измученный регион, но ожидать его прихода пассивно не в наших интересах. Фарнхам останется как очередной шаг, который мы сделали вместе.



Жанна Крикорова  
Филолог, журналист, общественный деятель.  
Проректор Университета Месроп Маштоц.  
Живет в Степанакерте.

Вы, знаете, сэр, честно говоря, такого мужчины, как вы, у меня никогда еще не было. Какого-такого? Ну, если бы я рассказывала о вас моим подругам, то сказала бы так:

«Истинный британец, чинный, благородный, напоминающий рыцаря в отставке. Его зовут Фарнхам. Он немолод, но держится с достоинством, и, в отличие от многих, еще помнит, что такое честь и хорошие манеры. Рыцарство умерло, да здравствует Фарнхам.

Он ухожен, и, тем не менее, позволяет себе некоторую аристократическую небрежность. Его почти военная выправка не угнетает, позволяя оставаться собой и не падать ниц перед его величием. Он примет флирт, кокетство, игривость, но не моветон.

Он сдержан в выражениях и не обещает более того, что ты способна у него взять».

Ну, примерно так... Вы улыбаетесь. Я произвела на Вас впечатление? Да, иногда у меня это получается, особенно, когда я влюблена.

Нет, сэр, то, что я испытываю по отношению к Вам – еще не любовь, но уже симпатия.

Конечно, в моей жизни были и есть глубокие привязанности, любовь к мужчинам-городам, любовь без условий и обязательств, просто любовь.

Баку, Сухум, Цхинвал, Тбилиси, Ереван, Степанакерт – дорогие сердцу мужчины. Они южане. В том смысле, что живут на южном склоне кавказского хребта. Вы просите рассказать о них? Нет, меня это не удивляет – мужчинам всегда интересно знать о тех, кто были до него. Но я рада, что вы – не исключение.

С кого же начать? Пожалуй, начну с **Баку**. Общение с Вами располагает к толерантности, и, несмотря на болезненный разрыв и сложности в отношениях, я расскажу об этом городе с любовью. Мой

Баку это воспоминание. Он единственный восточный мужчина, которого я хорошо знала. Я так давно его не видела... Помню его испепеляющий взгляд, жаркие руки, порывистое дыхание. Щедрый, распахнутый, шумный, порою даже крикливый, но не злобно, а так, по-домашнему, по-свойски. С ним я впервые поняла, чем север отличается от юга, когда из «белого безмолвия» родного заполярья шагнула в его пляжные объятия кричащим белизной телом в красном купальнике, что вызвало стихийный молчаливый митинг, сидячую забастовку на мирном морском побережье. «Дикий город», – возмутилось наивное и непосредственное девичье сознание, «ну, я же с Севера, там все такие белые». Так, куда-то меня занесло... Вы просили о мужчинах, а я вдруг о себе... Вы правы, сэр: женщина, о чем бы она ни говорила, всегда рассказывает о себе. Я постараюсь больше не отвлекаться. Восточный красавец Баку в далеком прошлом. Но... с остальными я по-прежнему в отношениях.

Вот этот... смотрите... Вальяжно растянувшийся на черноморском шезлонге. Да, он тоже морячок - мой Сухум. Мужчина-романтик. Он кажется вам беспечным? В таком месте живет, где просто неприлично выглядеть иначе. Всегда влюблен, всегда любим. Да, говорлив, но галантен. Неоднозначен, ненавязчив, несуетлив, неозадачен. Одним словом, душа компании. Я не всегда понимаю, что у него на душе, но зато с ним всегда светло. На чей-то вкус красив, на чей-то вкус типичен для этих мест, но обаятелен, бесспорно. Он может вызывать страсть, он может обдать холодом. Но ты этого никогда не поймешь, потому что он романтик и сделает это красиво. Ты можешь возвращаться к нему бесконечно, он никогда не бросает, он лишь слегка остывает. А когда романтический пыл достигает критической массы, он примет тебя так, будто и не расставался с тобой. Он не будет тратить время на изысканность, и просто покажет тебе закат на своей набережной, а потом, иногда прерываясь на нежные поцелуйчики, до утра будет читать поэтов эпохи декаданса и петь романсы Вертинского.

«Тени двух мгновений – две увядших розы...»

И ты поймешь, что рано или поздно все увядает, как белая и алая розы в песнях старого Пьеро, и лишь романтизм Сухума делает любовь вечной в постоянстве ее повторений.

Фарнхам, ты терпелив к моим рассказам, и, даже более, ты не

ревнуешь меня к моим прежним и настоящим привязанностям. Потрепанный временем и страстями, надежно сокрытыми в неведомых лабиринтах твоего крепкого тела и непознанной души, готов ли ты услышать правду, что не ты один даешь ощущение надежности и защиты.

Да, у меня есть и такой мужчина. **Цхинвал** – надежность и преданность. Его дом там, меж острых и вызывающих скал и пугающих бездной ущелий. Ты считаешь его неброским? Возможно. Он чтит величие гор, он понимает, что может быть только малой, незаметной частью этого величия. Ибо невозможно превзойти красоту, в нее можно только вписаться. У него это хорошо получилось. Он скромн, но, не волнуйся, вполне знает себе цену. Поэтому никогда не расшаркивается, не соблазняет, но никто не умеет так показать свое уважение, и даже более – почтение, как это делает он. Он мужчина традиция. Ты можешь иронизировать, не принимать всерьез, делать вид, что это тебе интересно. Думаешь, он не видит? Все видит, все понимает, но он выше любой иронии, он все равно будет оставаться традицией, потому что это его суть. Конечно, он многое растерял и часто – печален, но тебе не даст грустить. Если замерзнешь, он зажжет свое сердце, чтобы ты согрелся. Если оставишь его, он никогда не обидится и примет в любое время, и не упрекнет, и не спросит, и только улыбнется сдержанно, и возьмет под защиту в мускулистые объятия. В шершавых ладонях пульсирует нежность прохладных родников. Что я чувствую? Тепло, спокойно, надежно...

Сэр Фарнхам, Вы согласны, что мои мужчины ни в чем Вам не уступают? О, да... Вы слишком интеллигентны, чтобы с этим не согласиться.

И правы, конечно - я не объективна. Естественно, я не могу быть объективна к моим мужчинам. Если Вы хотите объективную картину, обратитесь... нет, не к женам, и не персональным биографам – в небесную канцелярию. Там, наверное, сохранились свидетельства о рождении, данные о предках, дипломы и свидетельства, трудовые книжки с записями о свершениях, победах и поражениях, воспоминания современников...

Лучше послушать меня? Наконец, сэр Фарнхам, Вы начинаете рассуждать по-кавказски. Давайте выпьем вина – сейчас я расскажу о Тбилиси. Нет, когда я буду рассказывать о Ереване, мы выпьем ко-

ньяк. Только не усните, придется еще выпить тутовки, а потом и сами спать не захотите.

Тбилиси... Вы только взгляните на него... При чем здесь Брэд Питт? Сэр, Вам не идет рассуждать на уровне сопливой девчонки... У красавца **Тбилиси** нет ничего общего с этим кумиром Анджелины Джоли... Ну, сказали бы, Бандерас, или Том Круз... Но лучше Бандерас. Потому что Тбилиси это мужчина – мечта. Я бы добавила – неосуществимая мечта. Почему неосуществимая? Потому что если осуществится, есть опасность, что перестанет быть мечтой. Вот и его родственники меня все время пугают: «Будь осторожна, он не такой, каким кажется». Поэтому я расскажу Вам о Тбилиси, каким, как мне кажется, я его знаю. То, что он красив как Бог, Вы уже поняли. Он стильный, и, не смотря на то, что много есть и пьет, прекрасно сложен. Влюблен в самого себя и настолько уверен в себе, что в него влюбляются все. Всегда выглядит уважаемым и успешным. Тбилиси не так расточителен в ласках, как Баку, и откровенно переменчив в чувствах. О, как это всегда завораживает нас, женщин. Мы начинаем ломать голову, предпринимать попытки вернуть его любовь и расположение... Классический мужчина из хороших женских романов, когда днем он неспешно-деловит, великодушен и гостеприимен, а ночью, после роскошных посиделок с друзьями и подругами, кипит сладострастием и негой, да так, что Кама и Сутра горько рыдают, глядя как жалок их Кхаджурахо по сравнению с Тбилиси.

Сэр, Вы уверены, что не ослышались? Вам сказали, что все наоборот? Я не могу спорить с этим, мы не были так близки с этим городом. Но я уже говорила, что это мужчина-мечта. Таков ли он, как я описала, или совсем другой... В конце концов, женщины должны верить, что идеальные мужчины существуют не только в романах. И когда бесстрашный Зорро-Бандерас снимает маску, он еще более прекрасен... вот бы и с Тбилиси было так...

Не спешите с выводами, сэр, а я Вам еще не рассказала о мужчине, с которым живу много лет. Правда, и сейчас знаю его не лучше, чем десятилетия назад. Он непостижим для меня. **Ереван**. Мужчина-гора. Почему гора? Потому что ты никогда не узнаешь, что внутри. Он всегда выглядит горой, простирая к тебе свои красивые склоны-руки, оранжево-розовый камень-лицо, ласково журчит маленькими родниками – родинками, но не всех подпускает близко. Он позволяет быть с ним, но далеко не всем позволяет жить с ним. Крепкий, коренастый, одноликий, он открывает свою красоту только тем, кто любит



его беззаветно. Тогда он подскажет секретное слово «Гора, откройся» и позволит найти в своем каменном сердце несметные сокровища. Он не похож ни на кого. Он дорог мне запахом юности, осязанием дружбы, он - моя семья, он новорожденный крик моих детей, он моя благодарность и покаяние. Но до сих пор Ереван не сказал мне секретного слова. Наверное, потому, что у меня слишком много связей на стороне, а сердце в трехстах километрах от него.

Да, сэр Фарнхам, мое сердце принадлежит **Степанакерту**. Это мужчина-любовь. Всегда был моей единственной любовью. Правда, сейчас он больше память о любви. Но это же почти одно и то же. Он скромненький, невероятно мил, сдержан, но великодушен. Всегда приветлив, даже в дождь. В этом Вы с ним очень похожи. Знаете, сэр, в нем есть понемножечку от всех моих мужчин-городов. Нет, он, конечно, не Бандерас, он Аль Пачино. Не моряк и живет в окружении безумно женственных нагорий, таинственно-лиловых в предзакатный час. Он не похож на романтика, но живет романтическими фантазиями, мечтая вернуть времена рыцарей и культ благородства. Он невероятно дружелюбен с гостями и суров с членами семьи. Но и тем, и другим спокойно и надежно. Он очарователен, мой Степанакерт, сэр Фарнхем. Вы не верите? Налить вам тутовочки?

Что Вы? На этом рассказ о моих возлюбленных не заканчивается. Но о тех, что живут по северную сторону хребта, я вам расскажу на следующем свидании. Нет, сэр, что Вы? О каком комплексе неполноценности вы говорите? Вы почти уже завоевали мое сердце. Да, я любвеобильна, но это не повод пить так много тутовки. Не переборщите. Нам предстоит еще много интересных и захватывающих открытий.



